

VEcordia

Извлечение R-MONTE2

Открыто: 2007.04.20 19:16
Закрито: 2007.04.30 16:31
Версия: 2017.06.08 17:35

ISBN 9984-9395-5-3

Дневник «VECORDIA»

© Valdis Egle, 2017

ISBN

А. Дюма. «Граф Монте-Кристо»

© public domain



Александр Дюма

Александр Дюма

Граф Монте-Кристо

Части 3–4

Impositum

Grīziņkalns 2017

Talis hominis fuit oratio,
qualis vita

Граф Монте-Кристо II

Часть третья

I. Гости Альбера

В доме на улице Эльдер, где виконт де Морсер, еще в Риме, назначил свидание графу Монте-Кристо, утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей.

Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора, напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу; три других были обращены во двор, а остальные два – в сад.

Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное в дурном вкусе наполеоновских времен.

Во всю ширину владения, вдоль улицы, тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посредине большими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов; маленькая калитка, рядом с помещением привратника, предназначалась для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком.

В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась нежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм виконта, любившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птице клетку.

Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром; ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания.

Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом, забросили навсегда: так она была незаметна и запылена; но ее замок и петли, заботливо смазанные, указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над привратником, ускользая от его бдительного ока и открываясь, как пещера из «Тысячи и одной ночи», как волшебный «Сезам» Али-Бабы, с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голосом, или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете.

В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь, и служившего как бы прихожей, находились: справа – столовая Альбера, окнами во двор, а слева – его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и из сада, потому что они находились в нижнем этаже.

Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар.

Гостиная в нижнем этаже представляла собою нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков.

Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты.

Весь третий этаж занимала обширная студия – капище не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера: охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр, ибо Альбер одно время чувствовал если не

влечение, то некоторую охоту к музыке; мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возмнил себя художником; наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо, следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами, завершающими воспитание светского льва, а именно – фехтованием, боксом и владением палицей, и по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше.

Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лукка делла Роббиа и тарелками Бернара де Палисси; кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французских лилии, увенчанные королевской короной, несомненно вышли из кладовых Лувра или во всяком случае какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии или расцветшие под руками калькуттских или чандернагорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать: услаждая взоры, они дожидались назначения, неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотом и шелковистым блеском.

На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпори.

И везде по стенам, над дверьми, на потолке – шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой; гербарии, глыбы минералов, чучела птиц, распластавшие в недвижимом полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы.

Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера.

Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского; здесь был и мэриленд, и порторико, и латакие. Рядом с ними, в ящиках из благовонного дерева, были разложены, по длине и достоинству, пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распорядился устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости, после хорошего завтрака и чашки кофе, любят созерцать сквозь дым, причудливыми спиралями поднимающийся к потолку.

Без четверти десять вошел камердинер. Это был, если не считать пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца.

Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем.

Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал.

– Как получены эти письма? – спросил он.

– Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар.

– Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу...

Постойте... Потом вы пойдете к Розе; скажете ей, что после оперы я заеду к ней и отнесете ей шесть бутылок лучшего вина, кипрского, хереса и малаги, и бочонок остендских устриц... Устрицы возьмите у Бореля и не забудьте сказать, что это для меня.

– В котором часу прикажете подавать завтрак?

– А который теперь час?

– Без четверти десять.

– Подайте ровно в половине одиннадцатого. Дебрэ, может быть, будет спешить в министерство... И, кроме того (Альбер заглянул в записную книжку), я так и назначил графу:

двадцать первого мая, в половине одиннадцатого, и хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала?

– Если господину виконту угодно, я пойду узнаю.

– Хорошо... попросите у нее погребец с ликерами, мой не полон. Скажите, что я буду у нее в три часа и прошу разрешения представить ей одного господина.

Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидав, что дают оперу, а не балет, тщательно поискал среди объявлений новое средство для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все три самые распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув, пробормотал:

– Право, газеты становятся день ото дня скучнее.

В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене Дебрэ. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный, с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему, при содействии бровного и зигоматического мускула, время от времени удавалось вставлять в правый глаз.

– Здравствуйте, Люсьен! – сказал Альбер. – Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью! Я ожидал вас последним, а вы являетесь без пяти минут десять, тогда как завтрак назначен только в половине одиннадцатого! Чудеса! Уж не пал ли кабинет?

– Нет, дорогой, – отвечал молодой человек, опускаясь на диван, – можете быть спокойны, мы вечно шатаемся, но никогда не падаем, и я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы, не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочат наше положение.

– Ах, да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании.

– Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже.

– В Бурже?

– Да. Ему не на что жаловаться, черт возьми! Бурж – столица Карла Седьмого. Как! Вы этого не знали? Со вчерашнего дня это известно всему Парижу, а третьего дня этот слух уже проник на биржу. Данглар (не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами) сыграл на повышение и заработал миллион.

– А вы, по-видимому, новую ленточку? На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было.

– Да, мне прислали звезду Карла Третьего, – небрежно сказал Дебрэ.

– Не притворяйтесь равнодушным, сознайтесь, что вам приятно ее получить.

– Не скрою, очень приятно. Как дополнение к туалету» звезда отлично идет к застегнутому фрак; это изящно.

– И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Рейхштадтского, – сказал, улыбаясь, Морсер.

– Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой.

– То есть потому, что вы получили звезду Карла Третьего и вам хотелось сообщить мне эту приятную новость?

– Нет, не потому. Я провел всю ночь за отправкой писем: двадцать пять дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова; тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе, но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде карлистско-республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден, накормите меня; мне скучно, развлеките меня.

– Это мой долг хозяина, дорогой друг, – сказал Альбер, звонком вызывая камердинера, между тем как Люсьен кончиком своей тросточки с золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты, – Жермен, рюмку хереса и бисквитов. А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется; советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости.

– Да, как бы не так! Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается министерства

внутренних дел, это по части министерства финансов; обратитесь к господину Юман, департамент косвенных налогов, коридор А, номер двадцать шесть.

– Вы меня поражаете своей осведомленностью, – сказал Альбер. – Но возьмите же сигару!

Люсьен закурил манилу о розовую свечу в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван.

– Какой вы счастливец, что вам нечего делать, – сказал он, – право, вы сами не признаете своего счастья!

– А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать? – с легкой иронией возразил Морсер. – Вы – личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей и, что еще приятнее, королей, учреждаете партии, руководите выборами, у себя в кабинете, при помощи пера и телеграфа, достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы – обладатель двадцати пяти тысяч ливров годового дохода, не считая жалованья, владеете лошадью, за которую Шато-Рено предлагал вам четыреста луидоров и которую вы ему не уступили. К вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон. Опера, Жокей-клуб и театр Варьете – и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас.

– Чем же это?

– Новым знакомством.

– С мужчиной или с женщиной?

– С мужчиной.

– Я и без того их знаю много.

– Но такого вы не знаете.

– Откуда же он? С конца света?

– Быть может, еще того дальше.

– Черт возьми! Надеюсь, не он должен привезти ваш завтрак?

– Нет, будьте спокойны; завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны?

– Да, сознаюсь, как это ни унижительно. Но я вчера обедал у господина де Вильфор; а заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучат угрызения совести.

– Браните, браните чужие обеды, а как едят у ваших министров?

– Да, но мы, по крайней мере, приглашаем порядочных людей, и если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смерти боялись бы обедать дома, смею вас уверить.

– В таком случае выпейте еще рюмку хереса и возьмите бисквит.

– С удовольствием, ваше испанское вино превосходно; вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой стране.

– Да, но как же дои Карлос?

– Ну что ж! Дон Карлос будет пить бордо, а через десять лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой.

– За что вы получите Золотое Руно, если к тому времени еще будете служить.

– Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами.

– Что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Бошана; вы с ним поспорите, и это вас отвлечет.

– О чем же спорить?

– О том, что пишут в газетах.

– Да разве я читаю газеты? – презрительно произнес Люсьен.

– Тем больше оснований спорить.

– Господин Бошан! – доложил камердинер.

– Входите, входите, грозное перо! – сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. – Вот Дебрэ говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, и не читает ваших статей.

– Он совершенно прав, – отвечал Бошан, – я тоже браню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор.

– А, вы уже знаете? – сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку.

– Еще бы!

- А что говорят об этом в свете?
- В каком свете? В лето от рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое их много.
- В свете критике-политическом, где вы – один из львов.
- Говорят, что это вполне заслуженно и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого.
- Недурно сказано, – заметил Люсьен. – Почему вы не наш, дорогой Бошан? С вашим умом вы в три-четыре года сделали бы карьеру.
- Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету: министерства, которое могло бы продержаться полгода. Теперь одно слово, Альбер, тем более что надо же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтракать или обедать? Ведь мне надо в Палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы.
- Мы только завтракаем и ждем еще двоих; как только они приедут, мы сядем за стол.
- А кого именно вы ждете? – спросил Бошан.
- Одного аристократа и одного дипломата, – отвечал Альбер.
- Ну, так нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в Палате.
- Бросьте, Бошан; даже если бы аристократа звали Монморанси, а дипломата – Меттерних, мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого; а пока последуйте примеру Дебрэ, возьмите хереса и бисквит.
- Хорошо, я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься.
- Ну, вот, и вы, как Дебрэ! А по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела.
- Да, но вы не знаете, что мне грозит! Сегодня днем, в Палате депутатов, я буду слушать речь Данглара, а вечером, у его жены, трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй! Ведь говорят, что мы могли выбирать; так как же мы выбрали Данглара?
- Я понимаю: вам надо запастись веселостью.
- Не пренебрегайте речами Данглара, – сказал Дебрэ. – Ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции.
- Вот в том-то и беда! И я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец, тогда уж я посмеюсь вволю.
- Сразу видно, что в Испании дела налажены, – сказал Альбер Бошану. – Вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазель Эжени Данглар. Не могу же я по совести, позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью два миллиона».
- Этой свадьбе не бывать, – прервал его Бошан. – Король мог сделать его бароном, может возвести его в пэры, но аристократа он из него не сделает. А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за два жалких миллиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может жениться только на маркизе.
- Два миллиона! Это все-таки недурно, – возразил Морсер.
- Это акционерный капитал какого-нибудь театра на Бульварах или железнодорожной ветки от Ботанического сада до Рапэ.
- Не слушайте его, Морсер, – лениво заговорил Дебрэ, – женитесь. Ведь вы сочетаетесь браком с денежным мешком. Так не все ли вам равно! Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше; в вашем гербе семь мерлеток; три из них вы уделите жене, и вам еще останется четыре. Это все ж одной больше, чем у герцога Гиза, и он чуть не сделался французским королем, и его двоюродный брат был германским императором.
- Да, пожалуй, вы правы, – рассеянно отвечал Альбер.
- Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит, как незаконнорожденный.
- Шш! Замолчите, Дебрэ, – сказал, смеясь, Бошан, – вот идет Шато-Рено, он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтобана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам.
- Он этим унижит свое достоинство, – отвечал Люсьен, – ибо я происхождения весьма низкого.
- Ну вот! – воскликнул Бошан. – Министерство запело на мотив Беранже; господа, куда мы идем!

– Господин де Шато-Рено! Господин Максимилиан Моррель! – доложил камердинер.

– Значит, все налицо! – сказал Бошан. – И мы сядем завтракать; ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альбер?

– Моррель! – прошептал удивленно Альбер. – Кто это – Моррель?

Но не успел он договорить, как г-н де Шато-Рено, красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью Гиша и умом Мортемара, взял его за руку.

– Разрешите мне, Альбер, – сказал он, – представить вам капитана спаги Максимилиана Морреля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. Приветствуйте моего героя, виконт.

Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку, с широким лбом, пронизательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом Почетного легиона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен.

– Господин Моррель, – радушно сказал Альбер, – барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами; вы его друг – надеюсь, вы станете и нашим другом.

– Отлично, – сказал Шато-Рено, – и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня.

– А что он сделал? – спросил Альбер.

– Барон преувеличивает, – сказал Моррель, – право, не стоит об этом говорить!

– Как не стоит говорить? – воскликнул Шато-Рено. – Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить?.. Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Моррель... Вы можете так говорить, вы рискуете жизнью каждый день, но я, на чью долю это выпало совершенно случайно...

– Во всем этом, барон, для меня ясно только одно: что капитан Моррель спас вам жизнь.

– Да, только и всего, – сказал Шато-Рено.

– А как это случилось? – спросил Бошан.

– Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду! – воскликнул Дебрэ. – Не надо длинных рассказов.

– Да разве я вам мешаю сесть за стол?.. – сказал Бошан. – Шато-Рено все расскажет нам за завтраком.

– Господа, – сказал Морсер, – имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого и мы ждем последнего гостя.

– Ах, да, дипломата, – сказал Дебрэ.

– Дипломата или что-нибудь еще, это мне неизвестно. Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и Золотое Руно и Подвязка.

– В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, – сказал Дебрэ, – налейте себе рюмку хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон.

– Вы все знаете, что недавно мне вздумалось съездить в Африку.

– Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шато-Рено, – любезно вставил Морсер.

– Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба господня.

– Вы правы, Бошан, – сказал молодой аристократ, – я просто хотел по-любительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей... бедному Францу д'Эпине, вы все его знаете.

– Ах, да, верно, – сказал Дебрэ, – вы с ним когда-то дрались... А из-за чего?

– Хоть убейте, не помню, – отвечал Шато-Рено. – Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области, я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Оран, из Орана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое

суток я кое-как сносил днем дождь, а ночью снег; но на третье утро моя лошадь околела от холода: бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне... Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с десятиградусным морозом.

– Так вот почему вы хотите купить моего английского скакуна, – сказал Дебрэ. – Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод.

– Вы ошибаетесь, я поклялся никогда больше не ездить в Африку.

– Вы так струхнули? – спросил Бошан.

– Да, признаюсь, – отвечал Шато-Рено, – и было от чего! Итак, лошадь моя околела; я шел пешком; на меня во весь опор налетели шесть арабов, чтобы отрубить мне голову; двоих я застрелил из ружья, двоих – в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы, – вот почему я теперь стригу их так коротко: как знать, что может случиться, – а другой приставил мне к шее свой ятаган, и я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин в свою очередь налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь; случаю угодно было, чтобы это оказалась моя; когда я буду богат, я закажу Клагману или Марокетти статую Случая.

– Это было пятого сентября, – сказал, улыбаясь, Моррель, – в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец; и каждый год, по мере моих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь...

– Героическое, не правда ли? – прервал Шато-Рено. – Короче говоря, мне повезло, но это еще не все. После того как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком; а затем и от голода, разделив со мной... угадайте что?

– Паштет от Феликса? – спросил Бошан.

– Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску; это было нелегко!

– Съесть кусок лошади? – спросил, смеясь, Морсер.

– Нет, пойти на такую жертву, – отвечал Шато-Рено. – Спросите у Дебрэ, пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца?

– Для незнакомца – нет, – сказал Дебрэ, – а для друга – может быть.

– Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон, – сказал Моррель. – Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас.

– Эта история, на которую намекает Моррель, – продолжал Шато-Рено, – совершенно изумительна, и, когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет; а пока что довольно воспоминаний, займемся нашими желудками. В котором часу вы завтракаете, Альбер?

– В половине одиннадцатого.

– Точно? – спросил Дебрэ, вынимая часы.

– Вы подарите мне еще пять минут льготных, – сказал Морсер, – ведь я тоже жду спасителя.

– Чьего?

– Моего собственного, черт возьми, – отвечал Морсер. – Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, и только одни арабы рубят головы? Наш завтрак – завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля человечества.

– Как же быть? – сказал Дебрэ. – У нас ведь только одна Монтионовская премия?

– Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить, – сказал Бошан.

– Обычно Академия так и выходит из затруднения.

– А откуда явится ваш спаситель? – спросил Дебрэ. – Прошу прощения за свою настойчивость; я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас.

– По правде сказать, я и сам не знаю, – отвечал Альбер, – три месяца тому назад, когда я его приглашал, он был в Риме; но кто может сказать, где он успел побывать за это время?

– И вы думаете, он способен быть пунктуальным? – спросил Дебрэ.

– Я думаю, что он способен на все.

– Имейте в виду, что даже с пятью минутами льготы остается ждать только десять минут.

– Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя.

– Простите, – сказал Бошан, – а можно из вашего рассказа сделать фельетон?

– Даже очень, – отвечал Морсер, – и прелюбопытный.

– Так рассказывайте; надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в

Палату.

– Я был в Риме во время последнего карнавала.

– Это мы знаем, – прервал Бошан.

– Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками.

– Разбойников нет, – заметил Дебрэ.

– Нет, есть, существуют, и еще какие страшные, я хочу сказать – восхитительные.

Они показались мне до ужаса прекрасными.

– Послушайте, дорогой Альбер, – сказал Дебрэ, – сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марени или Остенде и что вы, по примеру госпожи де Ментенон, хотите заменить еду сказкой. Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была.

– А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала до конца.

Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неудобное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно.

– Я их знаю, – сказал Шато-Рено, – я там чуть было не схватил лихорадку.

– А я на самом деле схватил, – продолжал Альбер. – Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется выкуп – пустяки, четыре тысячи римских пиастров, двадцать шесть тысяч турецких ливров. К несчастью, у меня оставалось только полторы тысячи, путешествие мое подходило к концу и кредит истощился. Я написал Францу... Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в шесть часов утра он не привезет четырех тысяч пиастров, то в десять минут седьмого я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа – так звали атамана разбойников – честно сдержал бы свое обещание.

– Но Франц привез четыре тысячи пиастров? – сказал Шато-Рено. – Еще бы! Достать четыре тысячи пиастров не хитрость, когда зовешься Францем д'Эпине или Альбером де Морсер.

– Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить.

– Так этот господин – Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду?

– Нет, он с меня ростом.

– Вооружен до зубов?

– С ним не было и вязальной спицы.

– Но он заплатил выкуп?

– Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили.

– Перед ним даже извинились, что задержали тебя, – прибавил Бошан.

– Вот именно, – подтвердил Альбер.

– Уж не Ариосто ли он?

– Нет, просто граф Монте-Кристо.

– Такого имени нет, – сказал Дебрэ.

– По-моему тоже, – прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы, – кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?

– Может быть, он родом из Святой земли, – сказал Бошан, – вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары – Мертвым морем.

– Простите, господа, – сказал Максимилиан, – но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо – островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца; песчинка на Средиземном море, атом в бесконечности.

– Вы совершенно правы, – сказал Альбер, – и человек, о котором я вам рассказываю, – господин и повелитель этой песчинки, этого атома. Он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане.

– Так он богат, ваш граф?

– Думаю, что богат.

– Да ведь это должно быть видно?

– Ошибаетесь, Дебрэ.

– Я вас не понимаю.

– Читали вы «Тысячу и одну ночь»?

– Что за вопрос!

– А разве можно сказать, кто там перед вами – богачи или бедняки? Что у них: пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется – это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, – и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию.

– Ну и что же?

– А то, что мой граф Монте-Кристо один из таких рыбаков; у него даже имя оттуда; его зовут Синдбад-Мореход, и у него есть пещера, полная золота.

– А вы видели эту пещеру, Морсер? – спросил Бошан.

– Я – нет, а Франц видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем! Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра – просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашишу; так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи.

Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось: «С ума ты сошел или просто нас дурачишь?»

– В самом деле, – задумчиво сказал Моррель, – я слышал от одного старого моряка, по имени Пенелон, нечто похожее на то, о чем говорит господин де Морсер.

– Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает, – сказал Альбер. – Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную пать в мой лабиринт?

– Простите, дорогой друг, – сказал Дебрэ, – но вы рассказываете такие невероятные вещи...

– Невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут; им некогда, они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников.

– Вот вы и рассердились и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание; дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь.

– Вот еще! Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета-Али, прислал мне шнурок и чтобы мои же секретари меня удушили!

– Ну вот видите, – сказал Дебрэ.

– Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует...

– Все на свете существуют! Нашли диковину!

– Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценою в шесть тысяч франков, наложницы гречанки.

– А вы ее видели, наложницу гречанку?

– Да, и видел и слышал; видел в театре Балле, а слышал однажды, когда завтракал у графа.

– Так он ест, ваш необыкновенный человек?

– По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит.

– Увидите, он окажется вампиром.

– Смейтесь, если хотите, но то же сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена.

– Поздравляю, Альбер, это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой, – воскликнул Бошан. – Стоит пресловутой морской змеи в «Конституционалисте». Вампир – просто великолепно!

– Глаза красноватые с расширяющимися и суживающимися, по желанию, зрачками, – произнес Дебрэ, – орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная борода, зубы блестящие и острые, и такие же манеры.

– Так оно и есть, Люсьен, – сказал Морсер, – все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже; а один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок, не столько от работы палача

и от криков осужденного, как от вида графа, так его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни.

– А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Морсер? – спросил Бошан.

– А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородство?

– Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно, – сказал Морсер, слегка обиженный. – Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатаи Гантского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, это, право, мне кажется, что мы люди разной породы.

– И я этим горжусь! – сказал Бошан.

– Во всяком случае, – добавил Шато-Рено, – ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками.

– Никаких итальянских разбойников нет! – сказал Дебрэ.

– И вампиров тоже нет! – поддержал Бошан.

– И графа Монте-Кристо тоже нет, – продолжал Дебрэ. – Слышите, Альбер: бьет половина одиннадцатого.

– Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать, – сказал Бошан.

Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась и Жермен доложил:

– Его сиятельство граф Монте-Кристо!

Все присутствующие невольно вздрогнули и этим показали, насколько проник им в души рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения.

Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей; даже дверь отворилась бесшумно.

На пороге появился граф; он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу, все – платье, шляпа и белье – было сделано руками самых искусных поставщиков.

Ему было на вид не более тридцати пяти лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом; который набросал Дебрэ.

Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку.

– Точность – вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, – сказал Монте-Кристо, – но путешественники, при всем своем желании, не всегда могут соблюсти это правило. Все же я надеюсь, дорогой виконт, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те две или три секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. Пятьсот лье не всегда можно проехать без препятствий, тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров.

– Граф, – отвечал Альбер, – я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить: граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к двенадцати перам и чьи предки сидели за Круглым столом; господин Люсьен Дэбре – личный секретарь министра внутренних дел; господин Бошан – опасный журналист, гроза французского правительства; он широко известен у себя на родине, но вы, в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена; наконец, господин Максимилиан Моррель – капитан спаги.

При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но с чисто английским бесстрашием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как Молния, на его бледных щеках.

– Вы носите мундир французов-победителей, – сказал он Моррелю. – Это прекрасный мундир.

Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало.

– Вы никогда не видели наших африканцев? – спросил Альбер.

– Никогда, – отвечал граф, снова вполне овладев собою.

– Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии.

– О виконт! – прервал Моррель.

– Позвольте мне договорить, капитан... И мы сейчас узнали, – продолжал Альбер, – о таком геройском поступке господина Морреля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга.

И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо.

– Вот как! – сказал он. – Значит, капитан – благородный человек. Тем лучше!

Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Моррелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться.

– Какие у него могли быть основания в этом сомневаться? – спросил Бошан у Шато-Рено.

– В самом деле, – отвечал тот, своим наметанным и зорким глазом аристократа сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению, – Альбер нас не обманул, и этот граф – необыкновенный человек; как вам кажется, Моррель?

– По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет.

Господа, – сказал Альбер, – Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу.

Все молча прошли в столовую и заняли свои места.

– Господа, – заговорил, усаживаясь, граф, – разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности: я здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже. Поэтому с французской жизнью я совершенно незнаком; до сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. И я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А засим – приступим к завтраку.

– Как он говорит! – прошептал Бошан. – Положительно это вельможа!

– Чужеземный вельможа, – добавил Дебрэ.

– Вельможа всех стран света, господин Дебрэ, – заключил Шато-Рено.

II. Завтрак

Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень умерен в еде. Поэтому Альбер выразил опасение, что парижский образ жизни с самого начала произведет на него дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя в то же время наиболее необходимой стороной.

– Дорогой граф, – сказал он, – я сильно опасаюсь, что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни Пьяцца-ди-Спанья. Мне следовало заранее осведомиться о ваших вкусах и заказать блюда, которые вы предпочитаете.

– Если бы вы знали меня ближе, – ответил, улыбаясь, граф, – вас не заботили бы такие пустяки. В моих путешествиях мне приходилось питаться макаронами в Неаполе, полентой в Милане, оллаподридой в Валенсии, пилавом в Константинополе, карриком в Индии и ласточкиными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я, вопроса о кухне не существует. Где бы я ни был, я ем все, только ем понемногу; а как раз сегодня, когда вы сетуете на мою умеренность, у меня волчий аппетит, потому что со вчерашнего утра я ничего не ел.

– Как, со вчерашнего утра? – воскликнули все. – Неужели вы ничего не ели целые сутки?

– Да, – отвечал Монте-Кристо. – Мне пришлось свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения в окрестностях Нима, это несколько задержало меня, и я не хотел нигде останавливаться.

– И вы пообедали в карете? – спросил Морсер.

– Нет, я спал; я всегда засыпаю, когда мне скучно и нет охоты развлекаться или когда я голоден и нет охоты есть.

– Так вы, значит, можете заставить себя заснуть? – спросил Моррель.

– Почти что так.

– И у вас есть для этого какое-нибудь средство?

– Самое верное.

– Вот что пригодились бы нам, африканцам, – сказал Моррель, – у нас ведь не всегда бывает пища, а питье – и того реже.

– Несомненно, – сказал Монте-Кристо, – но, к сожалению, мое средство, чудесное для такого человека, как я, живущего совсем особой жизнью, было бы опасно применить в армии; она не проснулась бы в нужную минуту.

– А можно узнать, что это за средство? – спросил Дебрэ.

– Разумеется, – сказал Монте-Кристо, – я не делаю из него тайны: это смесь отличнейшего опиума, за которым я сам ездил в Кантон, чтобы быть уверенным в его качестве, и лучшего гашиша, собираемого между Тигром и Евфратом; их смешивают в равных долях и делают пилюли, которые вы и глотаете, когда нужно. Действие наступает через десять минут. Спросите у барона Франца д'Эпине; он, кажется, пробовал их однажды.

– Да, – сказал Альбер, – он говорил мне; он сохранил о них самое приятное воспоминание.

– Значит, – сказал Бошан, который, как полагается журналисту, был очень недоверчив, – это снадобье у вас всегда при себе?

– Всегда, – отвечал Монте-Кристо.

– Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить вас показать нам эти драгоценные пилюли? – продолжал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох.

– Извольте.

И граф вынул из кармана очаровательную бомбоньерку, выточенную из цельного изумруда, с золотой крышечкой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленоватого цвета величиною с горошину. Этот шарик издавал острый, вьедливый запах. В изумрудной бомбоньерке лежало четыре или пять шариков, но она могла вместить и дюжину.

Бомбоньерка обошла стол по кругу, но гости брали ее друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на великолепный изумруд, чем чтобы посмотреть или понюхать пилюли.

– И это угощение вам готовит ваш повар? – спросил Бошан.

– О, нет, – сказал Монте-Кристо, – я не доверяю лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я неплохой химик и сам приготавливаю эти пилюли.

– Великолепный изумруд! – сказал Шато-Рено. – Такого крупного я никогда не видал, хотя у моей матери есть недурные фамильные драгоценности.

– У меня их было три таких, – пояснил Монте-Кристо, – один я подарил падишаху, который украсил им свою саблю; второй – его святейшему папе, который велел вставить его в свою тиару, против почти равноценного ему, но все же не такого красивого изумруда, подаренного его предшественнику Пию Седьмому императором Наполеоном; третий я оставил себе и велел выдолбить. Это наполовину обесценило его, но так было удобнее для того употребления, которое я хотел из него сделать.

Все с изумлением смотрели на Монте-Кристо; он говорил так просто, что ясно было: его слова либо чистая правда, либо бред безумца; однако изумруд, который он все еще держал в руках, заставлял придерживаться первого из этих предположений.

– Что же дали вам эти два властителя взамен вашего великолепного подарка? – спросил Дебрэ.

– Падишах подарил свободу женщине, – отвечал граф, – святейший папа – жизнь мужчине. Таким образом, раз в жизни мне довелось быть столь же могущественным, как если бы я был рожден для трона.

– И тот, кого вы спасли, был Пеппино, не правда ли? – воскликнул Морсер. – Это к нему вы применили ваше право помилования?

– Все может быть, – ответил, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Граф, вы не можете себе представить, как мне приятно слушать вас, – сказал Альбер. – Я уже рекомендовал вас моим друзьям как человека необыкновенного, чародея из «Тысячи и одной ночи», средневекового колдуна; но парижане так склонны к парадоксам, что принимают за плод воображения самые бесспорные истины, когда эти истины не укладываются в рамки их повседневного существования. Вот, например, Бошан ежедневно печатает, а Дебрэ читает, что на Бульваре остановили и ограбили запоздавшего члена Жокей-клуба; что на улице Сен-Дени или в Сен-Жерменском предместье убили четырех человек; что поймали десять, пятнадцать, двадцать воров в кафе на Бульваре Тампль или в Термах Юлиана; а между тем они отрицают существование разбойников в Мареммах, в римской Кампанье или Понтийских болотах. Пожалуйста, граф, скажите им сами, что я был взят в плен этими разбойниками и что, если бы не ваше великодушное вмешательство, я, по всей вероятности, в настоящую минуту

ждал бы в катакомбах Сан-Себастьяно воскресения мертвых, вместо того чтобы угощать их в моем жалком домишке на улице Эльдер.

– Полноте, – сказал Монте-Кристо, – вы обещали мне никогда не вспоминать об этой безделице.

– Я не обещал, – воскликнул Морсер. – Вы смешиваете меня с кем-нибудь другим, кому оказали такую же услугу. Наоборот, прошу вас, поговорим об этом. Может быть, вы не только повторите кое-что из того, что мне известно, но и расскажете многое, чего я не знаю.

– Но, мне кажется, – сказал с улыбкой граф, – вы играли во всей этой истории достаточно важную роль, чтобы знать не хуже меня все, что произошло.

– А если я скажу то, что знаю, вы обещаете рассказать все, чего я не знаю? – спросил Морсер.

– Это будет справедливо, – ответил Монте-Кристо.

– Ну, так вот, – продолжал Морсер, – расскажу, хотя все это очень не лестно для моего самолюбия. Я воображал в течение трех дней, что со мной заигрывает некая маска, которую я принимал за аристократку, происходящую по прямой линии от Туллии или Поппей, между тем как меня просто-напросто интриговала сельская красотка, чтобы не сказать крестьянка. Скажу больше, я оказался совсем уже простофилей и принял за крестьянку молодого бандита, стройного и безбородого мальчишку лет пятнадцати. Когда я настолько осмелел, что попытался запечатлеть на его невинном плече поцелуй, он приставил к моей груди пистолет и с помощью семи или восьми товарищей повел или, вернее, поволок меня в катакомбы Сан-Себастьяно. Там я увидел их атамана, чрезвычайно ученого человека. Он был занят тем, что читал «Записки Цезаря», и соблаговолит прервать чтение, чтобы заявить мне, что если на следующий день, к шести часам утра, я не внесу в его кассу четырех тысяч пиастров, то в четверть седьмого меня не будет в живых. У Франца есть мое письмо с припиской маэстро Луиджи Вампа. Если вы сомневаетесь, я напишу Францу, чтобы он дал засвидетельствовать подписи. Вот и все, что я знаю; но я не знаю, каким образом вам, граф, удалось снискать столь глубокое уважение римских разбойников, которые мало что уважают. Сознаюсь, мы с Францем были восхищены.

– Всё это очень просто. Я знаю знаменитого Луиджи Вампа уже более десяти лет. Как-то, когда он был мальчишкой-пастухом, я дал ему золотую монету за то, что он указал мне дорогу, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, отдал мне кинжалом с резной рукояткой собственной работы; этот кинжал вы, вероятно, видели в моей коллекции оружия. Впоследствии он не то забыл этот обмен подарками – залог дружбы между нами, – не то не узнал меня и пытался взять в плен; но вышло наоборот: я захватил его и еще десяток разбойников. Я мог отдать его в руки римского правосудия, которое всегда действует проворно, а для него особенно постаралось бы, но я не сделал этого: я отпустил их всех с миром.

– С условием, чтобы они больше не грешили, – засмеялся журналист. – И я с удовольствием вижу, что они честно сдержали слово.

– Нет, – возразил Монте-Кристо, – только с тем условием, чтобы они никогда не трогали ни меня, ни моих друзей. Может быть, мои слова покажутся вам странными, господа социалисты, прогрессисты, гуманисты, но я никогда не забочусь о ближних, никогда не пытаюсь защищать общество, которое меня не защищает и вообще занимается мною только тогда, когда может повредить мне. Если я отказываю и обществу и ближнему в уважении и только сохраняю нейтралитет, они все-таки еще остаются у меня в неоплатном долгу.

– Слава богу! – воскликнул Шато-Рено. – Наконец-то я слышу храброго человека, который честно и неприкрыто проповедует эгоизм. Прекрасно, браво, граф!

– По крайней мере, откровенно, – сказал Моррель, – но я уверен, что граф не раскаивался, однажды изменив своим принципам, которые он сейчас так решительно высказал.

– В чем же я изменил им? – спросил Монте-Кристо, который время от времени так внимательно взглядывал на Морреля, что бесстрашный молодой воин уже несколько раз опускал глаза под светлым и ясным взором графа.

– Но мне кажется, – возразил Моррель, – что, спасая господина де Морсер, вам совершенно незнакомого, вы служили и ближнему и обществу.

– Коего он является лучшим украшением, – торжественно заявил Бошан, залпом осушая бокал шампанского.

– Вы противоречите себе, граф, – воскликнул Альбер, – вы, самый логичный человек, какого я знаю; и сейчас вам докажу, что вы далеко не эгоист, а напротив того – филантроп. Вы называете себя сыном Востока, говорите, что вы левантинец, малаец, индус, китаец, дикарь; ваше

имя – Синдбад-Мореход, граф Монте-Кристо; и вот, едва вы попали в Париж, в вас сказывается основное достоинство, или основной недостаток, присущий нам, эксцентричным парижанам: вы приписываете себе не свойственные вам пороки и скрываете свои добродетели.

– Дорогой виконт, – возразил Монте-Кристо, – в моих словах или поступках я не вижу ничего достойного такой похвалы. Вы были не чужой для меня: я был знаком с вами, я уступил вам две комнаты, угощал вас завтраком, предоставил вам один из моих экипажей, мы вместе любовались масками на Корсо и вместе смотрели из окна на Пьяцца-дель-Пополо на казнь, так сильно взволновавшую вас, что вам едва не сделалось дурно. И вот, я спрашиваю вас всех, мог ли я оставить моего гостя в руках этих ужасных разбойников, как вы их называете? Кроме того, как вам известно, когда я спасал вас, у меня была задняя мысль, что вы окажете мне услугу и, когда я приеду во Францию, введете меня в парижский свет. Прежде вы могли думать, что это просто мимолетное предположение, но теперь вы видите, что это чистейшая реальность, и вам придется покориться, чтобы не нарушить вашего слова.

– И я сдержу его, – сказал Морсер, – по боюсь, дорогой граф, что вы будете крайне разочарованы, – ведь вы привыкли к живописным местностям, необычным приключениям, к фантастическим горизонтам. У нас нет ничего похожего на то, к чему вас приучила ваша богатая событиями жизнь. Монмартр – наш Чимборазо, Мопвалериен – паши Гималаи; Грпельская равнина – наша Великая Пустыня, да и тут роют артезианский колодец для караванов. У нас есть воры, и даже много, хоть и не так много, как говорят; но эти воры боятся самого мелкого сыщика куда больше, чем самого знатного вельможи; словом, Франция – страна столь прозаическая, а Париж – город столь цивилизованный, что во всех наших восьмидесяти пяти департаментах (разумеется, я исключаю Корсику из числа французских провинций), – во всех наших департаментах вы не найдете даже небольшой горы, на которой не было бы телеграфа и сколько-нибудь темной пещеры, в которую полицейский комиссар не провел бы газ. Так что я могу оказать вам лишь одну услугу, дорогой граф, и тут я весь в вашем распоряжении: ввести вас всюду, или лично, или через друзей. Впрочем, вам для этого никто не нужен: с вашим именем, с вашим богатством и вашим умом (Монте-Кристо поклонился с легкой иронической улыбкой) человек не нуждается в том, чтобы его представляли, и будет везде хорошо принят. В сущности я могу быть вам полезен только в одном. Если вам может пригодиться мое знакомство с парижской жизнью, кое-какой опыт в вопросах комфорта и знание магазинов, то я всецело в вашем распоряжении, чтобы помочь вам прилично устроиться. Не смею предложить вам разделить со мной эту квартиру, как вы в Риме разделили со мной свою (хоть я и не проповедую эгоизма, я все же эгоист до мозга костей): здесь, кроме меня самого, не поместилась бы и тень, разве что женская.

– Эта оговорка наводит на мысль о супружестве, – сказал граф. – В самом деле, в Риме вы мне намекали на некие брачные планы; должен ли я поздравить вас с наступающим счастьем?

– Это все еще только планы.

– И весьма неопределенные, – вставил Дебрэ.

– Нисколько, – сказал Морсер, – мой отец очень желает этого, и я надеюсь скоро познакомить вас если не с моей женой, то с невестой: мадемуазель Эжени Данглар.

– Эжени Данглар! – подхватил Монте-Кристо. – Позвольте, ее отец – барон Данглар?

– Да, – отвечал Морсер, – но барон новейшей формации.

– Не все ли равно, – возразил Монте-Кристо, – если он оказал такие услуги государству, что заслужил это отличие.

– Огромные, – сказал Бошан. – Хоть он и был в душе либерал, но в тысяча восемьсот двадцать девятом году провел для Карла Десятого заем в шесть миллионов; за это король сделал его бароном и кавалером Почетного легиона, так что он носит свою награду не в жилетном кармане, как можно было бы думать, но честь честью, в петличке фрака.

– Ах, Бошан, Бошан, – засмеялся Морсер, – поберегите это для «Корсара» и «Шаривари», но при мне пощадите моего будущего тестя.

Потом он обратился к Монте-Кристо:

– Вы сейчас произнесли его имя так, как будто вы знакомы с бароном.

– Я с ним не знаком, – небрежно сказал Монте-Кристо, – по, вероятно, скоро познакомлюсь, потому что мне в его банке открыт кредит банкирскими домами Ричард и Блаунт в Лондоне, Арштейн и Эскелес в Вене и Томсон и Френч в Риме.

Произнося два последних имени, граф искоса взглянул на Морреля.

Если чужестранец думал произвести на Максимилиана Морреля впечатление, то он не ошибся. Максимилиан вздрогнул, как от электрического разряда.

– Томсон и Френч? – сказал он. – Вы знаете этот банкирский дом, граф?

– Это мои банкиры в столице христианского мира, – спокойно ответил граф. – Я могу быть вам чем-нибудь полезен у них?

– Быть может, граф, вы могли бы помочь нам в розысках, оставшихся до сих пор бесплодными. Этот банкирский дом некогда оказал нашей фирме огромную услугу, но почему-то всегда отрицал это.

– Я в вашем распоряжении, – ответил с поклоном Монте-Кристо.

– Однако, – заметил Морсер, – заговорив о господине Данглар, мы слишком отвлеклись. Речь шла о том, чтобы подыскать графу Монте-Кристо приличное помещение. Давайте подумаем, где поселиться новому гостю великого Парижа?

– В Сен-Жерменском предместье граф может найти недурной особняк с садом, – сказал Шато-Рено.

– Вы только и знаете что свое несносное Сен-Жерменское предместье, Шато-Рено, – сказал Дебрэ. – Не слушайте его, граф, и устройтесь на Шоссе д'Антен: это подлинный Париж.

– Бульвар Оперы, – заявил Бошан, – второй этаж, дом с балконом. Граф велит там положить подушки из серебряной парчи и, дымя чубуком или глотая свои пилюли, будет любоваться дефилирующей перед ним столицей.

– А вам разве ничего не приходит в голову, Моррель, что вы ничего не предлагаете? – спросил Шато-Рено.

– Нет, напротив, – сказал, улыбаясь, молодой человек, – у меня есть одна мысль, но я ждал, не соблазнится ли граф каким-нибудь из ваших блестящих предложений. А теперь я возьму на себя смелость предложить ему небольшую квартирку в прелестном помпадуровском особняке, который вот уже год снимает на улице Меле моя сестра.

– У вас есть сестра? – спросил граф.

– Да, граф, и прекрасная сестра.

– Замужем?

– Уже девятый год.

– И счастлива? – снова спросил граф.

– Так счастлива, как только вообще возможно, – отвечал Максимилиан, – она вышла замуж за человека, которого любила, за того, кто не покинул нас в нашем несчастье – за Эмманюэля Эрбо.

Монте-Кристо чуть заметно улыбнулся.

– Я живу у нее, когда нахожусь в отпуску, – продолжал Максимилиан, – и готов служить вам, граф, вместе с моим зятем, если вам что-либо понадобится.

– Одну минуту! – прервал Альбер, раньше чем Монте-Кристо успел ответить. – Подумайте, что вы делаете, Моррель. Вы хотите заточить путешественника, Синдбада-Морехода в семейную обстановку. Человека, который приехал посмотреть Париж, вы хотите превратить в патриарха.

– Вовсе нет, – улыбнулся Моррель, – моей сестре двадцать пять лет, зятю – тридцать, они молоды, веселы и счастливы. К тому же граф будет жить отдельно и встречаться с ними, только когда сам пожелает.

– Благодарю вас, благодарю, – сказал Монте-Кристо, – я буду рад познакомиться с вашей сестрой и зятем, если вам угодно оказать мне эту честь, по я не приму ни одного из всех ваших предложений просто потому, что помещение для меня уже готово.

– Как! – воскликнул Морсер. – Неужели вы будете жить в гостинице? Вам будет слишком неудобно!

– Разве я так плохо жил в Риме? – спросил Монте-Кристо.

– Еще бы, в Риме вы истратили на обстановку ваших комнат пятьдесят тысяч пиастров; но не намерены же вы каждый раз идти на такие расходы.

– Меня не это остановило, – отвечал Монте-Кристо, – но я хочу иметь в Париже дом, свой собственный. Я послал вперед своего камердинера, и он, наверное, уже купил дом и велел обставить.

– Так, значит, у вас есть камердинер, который знает Париж? – воскликнул Бошан.

– Он, как и я, в первый раз во Франции; он чернокожий и к тому же немой, – отвечал Монте-Кристо.

– Так это Али? – воскликнул Альбер среди всеобщего удивления.

– Вот именно, Али, мой немой нубиец, которого вы, кажется, видели в Риме.

– Ну, конечно, – отвечал Морсер, – я прекрасно его помню. Но как же вы поручили нубийцу купить дом в Париже и немому – его обставить? Несчастный, наверное, все напутал.

– Напрасно вы так думаете; напротив, я уверен, что он все устроил по моему вкусу; а у меня, как вам известно, вкус довольно необычный. Он уже с неделю как приехал; должно быть, он обегал весь город, проявляя чутье хорошей собаки, которая охотится одна; он знает мои прихоти, мои вкусы, мои потребности; он, наверное, все уже устроил, как надо. Он знал, что я приеду сегодня в десять часов утра, и ждал меня с девяти у заставы Фонтенбло. Он передал мне эту бумажку; это мой новый адрес; вот, прочтите.

И Монте-Кристо передал Альберу листок.

– «Елисейские Поля, номер тридцать», – прочел Морсер.

– Вот это оригинально! – вырвалось у Бошана.

– И чисто по-княжески! – прибавил Шато-Рено.

– Как, вы еще не знаете вашего дома? – спросил Дебрэ.

– Нет, – ответил Монте-Кристо, – я уже говорил, что не хотел опаздывать к назначенному часу. Я оделся в карете и вышел из нее у дверей виконта.

Молодые люди переглянулись: они не могли понять, не разыгрывает ли Монте-Кристо комедию, но все слова этого человека, несмотря на их необычайность, дышали такой простотой, что нельзя было предполагать в них лжи, да и зачем ему было лгать?

– Стало быть, – сказал Бошан, – придется нам довольствоваться теми маленькими услугами, которые мы можем оказать графу. Я как журналист открою ему доступ во все театры Парижа.

– Благодарю вас, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – я уже велел моему управляющему абонировать в каждом театре по ложе.

– А ваш управляющий тоже нубиец и немой? – спросил Дебрэ.

– Нет, он просто ваш соотечественник, если только корсиканец может считаться чьим-либо соотечественником; вы его знаете, господин де Морсер.

– Наверно, это достойный синьор Бертуччо, который так мастерски нанимает окна?

– Вот именно; и вы видели его, когда оказали мне честь позавтракать у меня. Это славный малый, который был и солдатом и контрабандистом – словом, всем понемногу. Я даже не поручусь, что у него не было когда-нибудь неладов с полицией из-за какого-нибудь пустяка, вроде удара ножом.

– И этого честного гражданина мира вы взяли к себе в управляющие, граф? – спросил Дебрэ. – Сколько он крадет у вас в год?

– Право же, не больше всякого другого, я в этом уверен; но он мне подходит, не признает невозможного, и я держу его.

– Таким образом, – сказал Шато-Рено, – у вас налажено все хозяйство: у вас есть дом на Елисейских Полях, прислуга, управляющий, и вам недостает только любовницы.

Альбер улыбнулся: он вспомнил о прекрасной не то албанке, не то гречанке, которую видел в ложе графа в театре Балле и в театре Арджентина.

– У меня есть нечто получше: у меня есть невольница, – сказал Монте-Кристо. – Вы нанимаете ваших любовниц в Опере, в Водевиле, в Варьете, а я купил свою в Константинополе; мне это обошлось дороже, но зато мне больше не о чем беспокоиться.

– Но вы забываете, – заметил, смеясь, Дебрэ, – что мы вольные франки и что ваша невольница, ступив на французскую землю, стала свободна?

– А кто ей это скажет? – спросил Монте-Кристо.

– Да первый встречный.

– Она говорит только по-новогречески.

– Ну, тогда другое дело!

– Но мы, надеюсь, увидим ее? – сказал Бошан. – Или вы, помимо немого, держите и евнухов?

– Нет, – сказал Монте-Кристо, – я еще не дошел до этого в своем ориентализме: все, кто меня окружает, вольны в любую минуту покинуть меня и, сделав это, уже не будут нуждаться ни во мне, ни в ком-либо другом; вот поэтому, может быть, они меня и не покидают.

Собеседники уже давно перешли к десерту и к сигарам.

– Дорогой мой, – сказал, вставая, Дебрэ, – уже половина третьего; ваш гость очарователен, но нет такого приятного общества, с которым не надо было бы расставаться, иногда его приходится даже менять на неприятное; мне пора в министерство. Я поговорю о графе с министром, надо же нам узнать, кто он такой.

– Берегитесь, – отвечал Морсер, – самые проникательные люди отступили перед этой загадкой.

– Нам отпускают три миллиона на полицию; правда, они почти всегда оказываются израсходованными заранее, но на это дело пятьдесят тысяч франков во всяком случае наберется.

– А когда вы узнаете, кто он, вы мне скажете?

– Непременно. До свидания, Альбер; господа, имею честь кланяться.

И, выйдя в прихожую, Дебрэ громко крикнул:

– Велите подавать!

– Очевидно, – сказал Бошан Альберу, – я так и не попаду в Палату, но моим читателям я преподнесу коечто получше речи господина Данглара.

– Ради бога, Бошан, – отвечал Морсер, – ни слова, умоляю вас, не лишайте меня привилегии показать его. Не правда ли, занятный человек?

– Больше того, – откликнулся Шато-Рено, – это поистине один из необыкновеннейших людей, каких я когда-либо встречал. Вы идете, Моррель?

– Сейчас, я только передам мою карточку графу, он так любезен, что обещает заехать к нам, на улицу Меле, четырнадцать.

– Могу вас заверить, что не премину это сделать, – с поклоном отвечал граф.

И Максимилиан Моррель вышел с бароном Шато-Рено, оставив Монте-Кристо вдвоем с Морсером.

III. Первая встреча

Оставшись наедине с Монте-Кристо, Альбер сказал:

– Граф, разрешите мне приступить к моим обязанностям чичероне и показать вам образчик квартиры холостяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет интересно высчитать, на пространстве скольких квадратных футов может поместиться молодой парижанин, который, по здешним понятиям, живет не так уж плохо. Переходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна, чтобы вы не задохнулись.

Монте-Кристо уже видел столовую и нижнюю гостиную. Альбер прежде всего повел его в свою студию; как читатель помнит, это была его любимая комната.

Монте-Кристо был достойный ценитель всего того, что в ней собрал Альбер: старинные лари, японский фарфор, восточные ткани, венецианское стекло, оружие всех стран; все это было ему знакомо, и он с первого же взгляда определял век, страну и происхождение вещи. Морсер думал, что ему придется давать объяснения, а вышло так, что он сам, под руководством графа, проходил курс археологии, минералогии и естественной истории. Они спустилась во второй этаж. Альбер ввел своего гостя в гостиную. Стены здесь были увешаны произведениями современных художников. Тут были пейзажи Дюпре: высокие камыши, стройные деревья, ревущие коровы и чудесные небеса; были арабские всадники Делакура в длинных белых бурнусах, с блестящими поясами, с вороненым оружием; кони бешено грызлись, а люди бились железными палицами; были акварели Буланже – «Собор Парижской Богоматери», изображенный с той силой, которая равняет живописца с поэтом; были холсты Диаса, цветы которого прекраснее живых цветов и солнце ослепительнее солнца в небе; были тут и рисунки Декана, столь же яркие, как и у Сальватора Розы, но поэтичнее; были постели Жиро и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головками и женщин с девственными лицами; были страницы, вырванные из восточного альбома Доза, – карандашные наброски, сделанные им в несколько секунд, верхом на верблюде или под куполом мечети, – словом, все, что современное искусство может дать взамен погибшего и отлетевшего искусства прошлых веков.

Альбер надеялся хоть теперь чем-нибудь поразить странного чужеземца, но, к немалому его удивлению, граф, не читая подписей, к тому же иногда представленных только инициалами, сразу же называл автора каждой вещи, и видно было, что он не только знал каждое из этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого мастера.

Из гостиной перешли в спальню; это был образец изящества и вместе с тем строгого вкуса: здесь сиял в матово-золотой раме всего лишь один портрет, но он был подписан Леопольдом Робером.

Портрет тотчас же привлек внимание графа Монте-Кристо; он поспешно подошел и остановился перед ним.

Это был портрет женщины лет двадцати пяти, смуглой, с огненным взглядом из-под полуопущенных век; она была в живописном костюме каталонской рыбаки, в красном с черным корсаже и с золотыми булавками в волосах; взор ее обращен был к морю, и ее стройный силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн.

В комнате было темно, иначе Альбер заметил бы, какая смертельная бледность покрыла лицо графа и как нервная дрожь пробежала по его плечам и груди.

Прошла минута молчания, Монте-Кристо не отрывал взгляда от картины.

– Ваша возлюбленная прелестна, виконт, – сказал он наконец совершенно спокойным голосом, – и этот костюм, очевидно маскарадный, ей очень идет.

– Я не простил бы вам этой ошибки, – сказал Альбер, – если бы возле этого портрета висел какой-нибудь другой. Вы не знаете моей матери, граф; это ее портрет, он сделан, по ее желанию, лет шесть или восемь тому назад. Костюм, по-видимому, придуман, но сходство изумительное, – я как будто вижу свою мать такой, какой она была в тысяча восемьсот тридцатом году. Графиня заказала этот портрет в отсутствие моего отца. Она, вероятно, думала сделать ему приятный сюрприз, но отцу портрет почему-то не понравился; и даже мастерство живописца не могло победить его антипатии, – а ведь это, как вы сами видите, одно из лучших произведений Леопольда Робера. Правда, между нами говоря, господин де Морсер – один из самых ревностных пэров, заседающих в Люксембургском дворце, известный знаток военного дела, но весьма посредственный ценитель искусств. Зато моя мать понимает живопись и сама прекрасно рисует; она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно реже попадалось на глаза отцу. Его портрет, кисти Гро, я вам тоже покажу. Простите, что я передаю вам эти домашние мелочи; но так как я буду иметь честь представить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы невзначай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он пагубно действует на мою мать: когда она приходит ко мне, она не может смотреть на него без слез. Впрочем, недоразумение, возникшее из-за этого портрета между графом и графиней, было единственным между ними; они женаты уже больше двадцати лет, но привязаны друг к другу, как в первый день.

Монте-Кристо кинул быстрый взгляд на Альбера, как бы желая отыскать тайный смысл в его словах, но видно было, что молодой человек произнес их без всякого умысла.

– Теперь, граф, – сказал Альбер, – вы видели все мои сокровища; разрешите предложить их вам, сколь они ни ничтожны; прошу вас, будьте здесь как дома. Чтобы вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину де Морсер. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для меня сделали, и о вашем обещании меня посетить; мои родители с нетерпением ждут возможности поблагодарить вас. Я знаю, граф, вы человек пресыщенный, и семейные сцены не слишком трогают Синдбада-Морехода; вы столько видели. Но примите мое предложение и смотрите на него как на вступление в парижскую жизнь: она вся состоит из обмена любезностями, визитов и представлений.

Монте-Кристо молча поклонился; он, по-видимому, принимал это предложение без радости и без неудовольствия, как одну из светских условностей, исполнять которые надлежит всякому воспитанному человеку. Альбер позвал своего камердинера и велел доложить графу и графине де Морсер о том, что к ним желает явиться граф Монте-Кристо.

Альбер и граф последовали за ним.

Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит, который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, какое владелец дома придавал этому гербу.

Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его.

– По лазоревому полю семь золотых мерлеток, расположенных снопом. Это, конечно, ваш фамильный герб, виконт? – спросил он. – Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами и поэтому кое-как разбираюсь в гербах, я плохой знаток геральдики; ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана, и, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что, когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос.

– В нем нет ничего нескромного, – отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. – Вы угадали: это наш герб, то есть родовой герб моего отца; но он, как видите, соединен с другим гербом – серебряная башня в червленом поле; это родовой герб моей матери. По женской линии я испанец, но род Морсеров – французский и, как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции.

– Да, – сказал Монте-Кристо, – это и показывают мерлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправлявшиеся на завоевание Святой земли, избрали своим гербом или крест – знак их миссии, или перелетных птиц – знак дальнего пути, который им предстоял и который они надеялись совершить на крыльях веры. Ктонибудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно, участвовал в одном из крестовых походов; если даже это был поход Людовика Святого, то и тогда мы придем к тринадцатому веку, что вовсе неплохо.

– Очень возможно, – сказал Морсер, – у моего отца в кабинете есть наше родословное древо, которое нам все это объяснит. Я когда-то составил к нему комментарии, в которых даже Дюзье и Жокур нашли бы для себя немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но должен вам сказать, как чичероне, что у нас, при нашем демократическом правительстве, начинают сильно интересоваться этими вещами.

– В таком случае ваше правительство должно было выбрать в своем прошлом что-нибудь получше тех двух вывесок, которые я видел на ваших памятниках и которые лишены всякого геральдического смысла. Что же касается вас, виконт, вы счастливее вашего правительства, потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение. Да, вы и провансалец и испанец; этим и объясняется, – если портрет, который вы мне показывали, похож, – чудесный смуглый цвет лица благородной каталонки, который так восхитил меня.

Надо было быть Эдипом или даже самим сфинксом, чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти слова, казалось бы проникнутые самой изысканной учтивостью; так что Морсер поблагодарил его улыбкой и, пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул дверь, находившуюся под гербом и ведущую, как мы уже сказали, в гостиную.

На самом видном месте в этой гостиной висел портрет мужчины лет тридцати пяти – восьми, в генеральском мундире, с эполетами жгутом – знак высокого чина, с крестом Почетного легиона на шее, что указывало на командорский ранг, и со звездами на груди: справа – ордена Спасителя, а слева – Карла III, из чего можно было заключить, что изображенная на этом портрете особа сражалась в Греции и Испании или, что в смысле знаков отличия равносильно, исполняла в этих странах какую-либо дипломатическую миссию.

Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно, как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отворилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер.

Это был мужчина лет сорока пяти, но на вид ему казалось по меньшей мере пятьдесят; его черные усы и брови выглядели странно в контрасте с почти совсем белыми волосами, остриженными по-военному; он был в штатском, и полосатая ленточка в его петлице напоминала о разнообразных пожалованных ему орденах. Осанка его была довольно благородна, и вошел он с очень радушным видом. Монте-Кристо не сделал ни шагу ему навстречу; казалось, ноги его приросли к полу, а глаза впились в лицо графа де Морсер.

– Отец, – сказал Альбер, – имею честь представить вам графа Монте-Кристо, великодушного друга, которого, как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную минуту.

– Граф у нас желанный гость, – сказал граф де Морсер, с улыбкой приветствуя Монте-Кристо. – Он сохранил нашей семье ее единственного наследника, и мы ему безгранично благодарны.

С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо на кресло и сел против окна.

Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему кресло, постарался остаться в тени широких бархатных занавесей, чтобы незаметно читать на усталом и озабоченном лице графа повесть тайных страданий, запечатлевшихся в каждой из его преждевременных морщин.

– Графиня одевалась, когда виконт прислал ей сказать, что она будет иметь удовольствие познакомиться с вами, – сказал Морсер. – Через десять минут она будет здесь.

– Для меня большая честь, – сказал Монте-Кристо, – в первый же день моего приезда в Париж встретиться с человеком, заслуги которого равны его славе и к которому судьба, в виде исключения, была справедлива; но, быть может, на равнинах Митиджи или в горах Атласа она готовит вам еще и маршальский жезл?

– О, нет, – возразил, слегка краснея, Морсер, – я оставил службу, граф. Возведенный во время Реставрации в звание пэра, я участвовал в первых походах и служил под началом

маршала де Бурмон; я мог, следовательно, рассчитывать на высшую командную должность, и кто знает, что произошло бы, оставаясь на тропе старшая ветвь! Но, как видно, Июльская революция была столь блестяща, что могла позволить себе быть неблагодарной по отношению ко всем заслугам, не восходившим к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось подать в отставку; кто, как я, добыл эполеты на поле брани, тот не умеет маневрировать на скользком паркете гостиных. Я бросил военную службу, занялся политикой, промышленностью, изучал прикладные искусства. Я всегда интересовался этими вещами, но за двадцать лет службы не имел времени всем этим заниматься.

– Вот откуда превосходство вашего народа над ними, граф, – отвечал Монте-Кристо. – Вы, потомок знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли добывать первые чины, служа простым солдатом; это случается редко; и, став генералом, пэром Франции, командором Почетного легиона, вы начинаете учиться чему-то новому не ради наград, но только для того, чтобы принести пользу своим ближним... Да, это прекрасно; скажу больше, поразительно.

Альбер смотрел и слушал с удивлением: такой энтузиазм в Монте-Кристо был для него неожиданностью.

– К сожалению, мы, в Италии, не таковы, – продолжал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную тень, которую вызвали его слова на лице Морсера, – мы растем так, как свойственно нашей породе, и всю жизнь сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же бесполезность.

– Но для такого человека, как вы, Италия – подходящее отечество, – возразил граф де Морсер. – Франция раскрывает вам свои объятия; ответьте на ее призыв. Она не всегда неблагодарна; она дурно обходится со своими детьми, но по большей части радостно встречает иностранцев.

– Видно, что вы не знаете графа Монте-Кристо, отец, – прервал его с улыбкой Альбер. – То, что может его удовлетворить, находится за пределами нашего мира; он не гонится за почестями и берет от них только то, что умещается в паспорте.

– Вот самое верное суждение обо мне, которое я когда-либо слышал, – заметил Монте-Кристо.

– Граф имел возможность устроить свою жизнь, как хотел, – сказал граф де Морсер со вздохом, – и выбрал дорогу, усеянную цветами.

– Вот именно, – ответил Монте-Кристо с улыбкой, которой не передал бы ни один живописец и не объяснил бы ни один физиономист.

– Если бы я не боялся вас утомить, – сказал генерал, явно очарованный обращением гостя, – я повел бы вас в Палату; сегодняшнее заседание любопытно для всякого, кто не знаком с нашими современными сенаторами.

– Я буду вам очень признателен, если вы мне это предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть представленным графине, и я подожду.

– А вот и матушка! – воскликнул виконт.

И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на пороге гостиной г-жу де Морсер; она стояла в дверях, противоположных тем, в которые вошел ее муж, неподвижная и бледная; когда Монте-Кристо повернулся к ней, она опустила руку, которою почему-то опиралась на золоченый наличник двери. Она стояла там уже несколько секунд и слышала последние слова гостя.

Тот встал и низко поклонился графине, которая молча, церемонно ответила на его поклон.

– Что с вами, графиня? – спросил граф де Морсер. – Вы нездоровы? Может быть, здесь слишком жарко?

– Матушка, вам дурно? – воскликнул виконт, бросаясь к Мерседес.

Она поблагодарила их улыбкой.

– Нет, – сказала она, – просто меня взволновала встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь погружены в печаль и траур. Граф, – продолжала она, подходя к нему с величием королевы, – я обязана вам жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего сердца благословляю вас. Я счастлива, что могу, наконец, высказать вам свою благодарность.

Граф снова поклонился, еще ниже, чем в первый раз, и был еще бледнее, чем Мерседес.

– Вы слишком великодушны, графиня, – сказал он необычайно мягко и почтительно. – Я ничего необыкновенного не сделал. Спасти человека, избавить отца от мучений, а женщину от слез – вовсе не доброе дело, это человеческий долг.

– Как счастлив мой сын, что у него такой друг, как вы, граф, – с глубоким чувством ответила г-жа де Морсер. – Я благодарю бога, что он так судил.

И Мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза с выражением бесконечной благодарности; графу даже показалось, будто в них блеснули слезы.

Г-н де Морсер подошел к ней.

– Я уже просил у графа прощения, что должен оставить его, – сказал он. – Надеюсь, вы также попросите его извинить меня. Заседание открывается в два часа, теперь три, а я должен выступать.

– Поезжайте, я постараюсь, чтобы наш гость не скучал в ваше отсутствие, – сказала графиня все еще взволнованным голосом. – Граф, – продолжала она, обращаясь к Монте-Кристо, – не окажете ли вы нам честь провести у нас весь день?

– Я очень благодарен вам, графиня, поверьте мне. Но я вышел у ваших дверей из дорожной кареты. Я еще не знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного беспокоюсь.

– Но вы обещаете по крайней мере доставить нам это удовольствие в другой раз? – спросила графиня.

Монте-Кристо поклонился молча, и его поклон можно было принять за знак согласия.

– В таком случае я вас не удерживаю, – сказала графиня, – я не хочу, чтобы моя благодарность обращалась в не деликатность или назойливость.

– Дорогой граф, – сказал Альбер, – если вы разрешите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу любезность в Риме и предоставлю в ваше распоряжение мою карету, пока вы еще не обзавелись выездом.

– Весьма благодарен, виконт, – сказал Монте-Кристо, – но я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы четыре с половиной часа, которыми он располагал, и что у ваших дверей меня ждет какой-нибудь экипаж.

Альбер привык к повадкам графа, знал, что тот, как Нерон, всегда гонится за невозможным, и потому уже ничему не удивлялся; он только хотел лично удостовериться в том, как исполнены приказания графа, и проводил его до дверей.

Монте-Кристо не ошибся: как только он вышел в прихожую графа де Морсер, лакей, тот самый, который в Риме приносил Альберу и Францу визитную карточку графа, бросился вон, и когда знатный путешественник показался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж. Это была двухместная карета работы Келлера и в нее была запряжена та самая пара, которую Дрэй накануне, как то было известно всем парижским щеголям, отказался уступить за восемнадцать тысяч франков.

– Виконт, – сказал граф Альберу, – я не приглашаю вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наскоро, а, как вы знаете, я дорожу репутацией человека, умеющего устроиться с удобством даже во временном жилище. Дайте мне день сроку, и затем позвольте пригласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не нарушу законов гостеприимства.

– Если вы просите один день, граф, то я могу быть уверен, что вы покажете мне не дом, а дворец. Положительно вам служит какой-нибудь добрый гений.

– Что ж, пусть думают так, – отвечал Монте-Кристо, ставя ногу на обитую бархатом подножку своей великолепной кареты, – это обеспечит мне некоторый успех У дам.

Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади понеслись галопом, но все же он успел заметить, как чуть заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где он оставил г-жу де Морсер.

Когда Альбер вернулся к матери, то застал ее в будуаре, в глубоком бархатном кресле; комната была погружена в полумрак, только кое-где мерцали блики на вазах и по углам золоченых рам.

Альбер не мог рассмотреть лицо графини, терявшееся в дымке газа, который она накинула на голову; но ему показалось, что голос ее дрожит; к благоуханию роз и гелиотропов, наполнявших жардиньерку, примешивался острый и едкий запах нюхательной соли; и в самом деле Альбер с беспокойством заметил, что флакон графини вынут из шагренового футляра и лежит в одной из плоских ваз, стоящих на камине.

– Вы больны? – воскликнул он, подходя к матери. – Вам стало дурно, пока я уходил?

– Нисколько, Альбер; но все эти розы, туберозы и померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда настали жаркие дни...

– В таком случае надо их вынести, – сказал Морсер, дергая шпур звонка. – Вам в самом деле нездоровится; уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны.

– Очень бледна?

– Это вам к лицу, по мы с отцом испугались.

– Отец сказал тебе об этом? – быстро спросила Мерседес.

– Нет, но он сказал вам самой, помните?

– Не помню, – сказала графиня.

Вошел лакей; он явился на звонок Альбера.

– Вынесите цветы в переднюю, – сказал виконт, – они беспокоят графиню.

Лакей повиновался.

Пока он переносил цветы, длилось молчание.

– Что это за имя – Монте-Кристо? – спросила графиня, когда лакей унес последнюю вазу. – Фамилия или название поместья, или просто титул?

– Мне кажется, это только титул. Граф купил остров в Тосканском архипелаге и, судя по тому, что он говорил сегодня утром, учредил командорство. Вы ведь знаете, что это принято относительно ордена святого Стефана во Флоренции, святого Георгия в Парме и даже для Мальтийского креста. Впрочем, он и не чванится своим дворянством, называет себя случайным графом, хотя в Риме все убеждены, что он очень знатный вельможа.

– У него прекрасные манеры, – сказала графиня, – по крайней мере так мне показалось в то несколько минут, что я его видела.

– О, его манеры безукоризненны, они превосходят все, что я видел наиболее аристократического среди представителей трех самых гордых дворянств Европы: английского, испанского и немецкого.

Графиня задумалась, по после короткого колебания продолжала:

– Ведь ты видел, дорогой... я спрашиваю, как мать, ты понимаешь... ты видел графа Монте-Кристо у него в доме; ты проникателен, знаешь свет, у тебя больше такта, чем обычно бывает в твоём возрасте; считаешь ли ты графа тем, чем он кажется?

– А чем он кажется?

– Ты сам сейчас сказал: знатным вельможей.

– Так о нём думают.

– А что думаешь ты?

– Я, признаться, не составил себе о нём определенного мнения; думаю, что он мальтиец.

– Я спрашиваю не о его происхождении, а о нём самом как о человеке.

– А, это другое дело; мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда, или Лару, или Вернера, – словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишенный наследия своих отцов и вновь обретший богатство силою своего предприимчивого гения, вознесшего его выше законов общества.

– Ты хочешь сказать...

– Я хочу сказать, что Монте-Кристо – остров на Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство?

– Это возможно, – сказала графиня в раздумье.

– Но контрабандист он или нет, – продолжал Альбер, – во всяком случае граф Монте-Кристо человек замечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостиных. Не далее как сегодня утром у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шато-Рено.

– А сколько ему может быть лет? – спросила Мерседес, видимо придавая этому вопросу большое значение.

– Лет тридцать пять – тридцать шесть.

– Так молод! Не может быть! – сказала Мерседес, отвечая одновременно и на слова Альбера и на свою собственную мысль.

– А между тем это так. Несколько раз он говорил мне, и, конечно, непреднамеренно: «Тогда мне было пять лет, тогда-то десять, а тогда-то двенадцать». Я из любопытства сравнивал числа, и они всегда совпадали. Очевидно, этому странному человеку, возраст которого не поддается определению, в самом деле тридцать пять лет. К тому же, припомните, какие у него живые глаза, какие черные волосы; он бледен, но на лбу его нет ни одной морщины; это не только сильный человек, но и молодой еще.

Графиня опустила голову, словно поникшую от тяжести горьких дум.

– И этот человек дружески относится к тебе, Альбер? – с волнением спросила она.

– Мне кажется, да.

– А ты... ты тоже любишь его?

– Он мне нравится, что бы ни говорил Франц д'Эпине, который хотел уверить меня, что это – выходец с того света.

Графиня вздрогнула.

– Альбер, – сказала она изменившимся голосом, – я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Теперь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы; однако я повторяю: будь осторожен.

– И все-таки, для того чтобы ваш совет мог принести мне пользу, дорогая, мне следовало бы заранее знать, чего остерегаться. Граф не играет в карты, пьет только воду, подкрашенную каплей испанского вина; он, по всей видимости, так богат, что, если бы он попросил у меня взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему в лицо; чего же мне опасаться с его стороны?

– Ты прав, – отвечала графиня, – мои опасения вздорны, тем более что дело идет о человеке, который спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его принял? Нам надо быть исключительно внимательными к графу. Твой отец часто занят, озабочен делами и, может быть, невольно...

– Он был безукоризнен, – прервал Альбер. – Скажу больше: ему, по-видимому, очень польстились чрезвычайно удачные комплименты, которые граф сказал ему так кстати, как будто знает его лет тридцать. Все эти лестные замечания, несомненно, были приятны отцу, – прибавил Альбер, смеясь, – так что они расстались наилучшими друзьями, и отец даже хотел повезти графа в Палату, чтобы тот послушал его речь.

Графиня ничего не ответила; она так глубоко задумалась, что даже закрыла глаза. Альбер, стоя перед нею, смотрел на нее с той сыновней любовью, которая бывает особенно нежна и проникновенна, когда мать еще молода и красива; увидав, что она закрыла глаза, и прислушавшись к ее ровному дыханию, он решил, что она заснула, на цыпочках вышел и осторожно прикрыл за собою дверь.

– Это не человек, а дьявол, – прошептал он, качая головой, – я еще в Риме предсказывал, что его появление произведет сенсацию в обществе; теперь меру его влияния показывает непогрешимый термометр: если моя мать обратила на него внимание, значит – он бесспорно замечательный человек.

И он отправился в свою конюшню не без тайной досады на то, что граф Монте-Кристо, не пошевелив пальцем, получил запряжку, перед которой, в глазах знатоков, его собственные гнедые отодвигались на второе место.

– Положительно, – сказал он, – равенства людей не существует; надо будет попросить отца развить эту мысль в Верхней палате.

IV. Господин Бертуччо

Между тем граф прибыл к себе; на дорогу ушло шесть минут. Этих шести минут было достаточно, чтобы па него обратили внимание десятка два молодых людей, знавших цену этой запряжки, которую им было не под силу приобрести самим. Они пустили в галоп своих лошадей, чтобы хоть мельком взглянуть на великолепного вельможу, позволяющего себе покупать лошадей по десять тысяч франков каждая.

Дом, выбранный Али для городской квартиры Монте-Кристо, находился на правой стороне Елисейских Полей, если ехать в гору, и был расположен между двором и садом. Густая группа деревьев, возвышавшаяся посреди двора, закрывала часть фасада; по правую и по левую сторону этой группы простирались, подобно двум рукам, две аллеи, служившие для проезда экипажей от ворот к двойному крыльцу, на каждой ступени которого по углам стояли фарфоровые вазы, полные цветов. Дом одиноко стоял посреди большого открытого пространства; кроме парадного крыльца, был еще и другой выход, на улицу Понтье.

Прежде чем кучер успел кликнуть привратника, тяжелые ворота распахнулись; графа увидели издали, а в Париже, так же как и в Риме, да и вообще всюду, ему прислуживали с молниеносной быстротой. Так что кучер, не умеряя бега лошадей, въехал во двор и описал полукруг, ворота за ним захлопнулись раньше, чем замер скрип колес на песке аллеи.

Карета остановилась с левой стороны крыльца, и у ее дверцы очутились два человека: один из них был Али, с самой искренней радостью улыбавшийся своему господину и вознагражден-

ный всего только взглядом Монте-Кристо; второй почтительно поклонился и протянул руку, как бы желая помочь графу выйти из кареты.

– Благодарю вас, Бертуччо, – сказал граф, легко соскакивая с трех ступенек подножки. – А нотариус?

– Ждет в маленькой гостиной, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо.

– А визитные карточки, которые вы должны были заказать, как только узнаете номер дома?

– Ваше сиятельство, они уже готовы; я был у лучшего гравера в Пале-Рояле, и он сделал их при мне; первая изготовленная карточка была немедленно же, как вы приказали, отнесена к господину барону Данглару, депутату, улица Шоссе д'Антен, номер семь, остальные лежат в спальне вашего сиятельства на камине.

– Хорошо. Который час?

– Четыре часа.

Монте-Кристо отдал перчатки, шляпу и трость тому лакею-французу, который кинулся из передней графа де Морсер позвать экипаж, затем он прошел в маленькую гостиную следом за Бертуччо, который указывал ему дорогу.

– Какие жалкие статуи в этой передней, – сказал Монте-Кристо. – Я надеюсь, что их уберут отсюда.

Бертуччо молча поклонился.

Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в маленькой гостиной.

Это был человек с достойной внешностью столичного конторщика, возвысившегося до блестящего положения пригородного нотариуса.

– Вам поручено вести переговоры о продаже загородного дома, который я собираюсь купить? – спросил Монте-Кристо.

– Да, господин граф, – ответил нотариус.

– Купчая готова?

– Да, господин граф.

– Она у вас с собой?

– Вот она.

– Превосходно. А где этот дом, который я покупаю? – небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь не то к Бертуччо, не то к нотариусу.

Управляющий жестом показал, что не знает.

Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо.

– Как? – сказал он. – Господин граф не знает, где находится тот дом, который он покупает?

– Признаться, не знаю, – отвечал граф.

– Граф не видал его?

– Как я мог его видеть? Я только сегодня утром приехал из Кадикса, никогда раньше не бывал в Париже, и даже во Франции я в первый раз.

– Это другое дело, – сказал нотариус. – Дом, который граф собирается купить, находится в Отейле.

Бертуччо побледнел, услышав эти слова.

– А где это Отейль? – спросил граф.

– В двух шагах отсюда, граф, – отвечал нотариус. – Сейчас же за Пасси; прелестное место, посреди Булонского леса.

– Так близко? – сказал Монте-Кристо. – Какой же это загородный дом? Какого же вы черта, Бертуччо, выбрали мне дом у самой заставы?

– Я! – воскликнул Бертуччо с необычной поспешностью. – Помилуйте! Ваше сиятельство никогда не поручали мне выбирать вам загородный дом; может быть, ваше сиятельство соизволит вспомнить.

– Да, правда, – сказал Монте-Кристо, – теперь припоминаю; я прочел в газете объявление, и меня соблазнили обманчивые слова: «загородный дом».

– Еще не поздно, – живо заговорил Бертуччо, – и, если вашему сиятельству будет угодно поручить мне поискать в другом месте, я найду что-нибудь лучшее, либо в Ангеле, либо в Фонтенэ-Роз, либо в Бельвю.

– В общем это не важно, – небрежно возразил Монте-Кристо, – раз уж есть этот дом, пусть он и остается.

– И ваше сиятельство совершенно правы, – подхватил нотариус, боявшийся лишиться вознаграждения, – это прелестная усадьба: проточная вода, густые рощи, уютный дом, хоть и давно заброшенный, не говоря уж об обстановке; она хоть и не новая, но представляет довольно большую ценность, особенно в наше время, когда старинные вещи в моде. Прошу меня извинить, но мне кажется, что ваше сиятельство тоже разделяет современный вкус.

– Продолжайте, не стесняйтесь, – сказал Монте-Кристо. – Так это приличный дом?

– Граф, он не только приличен, он прямо-таки великолепен.

– Что ж, не следует упускать такой случай, – сказал Монте-Кристо. – Давайте сюда купчую, господин нотариус.

И он быстро подписал бумагу, бросив только взгляд на тот пункт, где были указаны местонахождение дома и имена владельцев.

– Бертуччо, – сказал он, – принесите господину нотариусу пятьдесят тысяч франков.

Управляющий нетвердым шагом вышел и возвратился с пачкой банковых билетов; нотариус пересчитал их с тщательностью человека, знающего, что в эту сумму включен его гонорар.

– Теперь, – спросил граф, – мы покончили со всеми формальностями?

– Со всеми, господин граф.

– Ключи у вас?

– Они у привратника, который стережет дом; но вот приказ, по которому он введет вас во владение.

– Очень хорошо.

И Монте-Кристо кивнул нотариусу головою, что означало: «Вы мне больше не нужны, можете идти».

– Но мне кажется, – решился сказать честный нотариус, – господин граф ошибся; мне, со всеми издержками, следует только пятьдесят тысяч.

– А ваше вознаграждение?

– Входит в эту сумму, господин граф.

– Но вы приехали сюда из Отейля?

– Да, конечно.

– Так надо же заплатить вам за беспокойство, – сказал граф.

И движением руки он отпустил его.

Нотариус вышел, пятясь задом и кланяясь до земли; в первый раз, с тех пор как он был внесен в списки нотариусов, встречал он такого клиента.

– Проводите господина нотариуса, – сказал граф управляющему.

Бертуччо вышел.

Оставшись один, граф тотчас же вынул из кармана запирающийся на замок бумажник и отпер его ключиком, который он носил на шее и с которым никогда не расставался.

Порывшись в бумажнике, он остановился на листке бумаги, на котором были сделаны кое-какие заметки, и сличил их с лежавшей на столе купчей, словно проверяя свою память.

– Отейль, улица Фонтен, номер двадцать восемь; так и есть, – сказал он. – Теперь вопрос: насколько можно верить признанию, сделанному под влиянием религиозного страха или страха физического? Впрочем, через час я все узнаю.

– Бертуччо! – крикнул он, ударяя чем-то вроде маленького молоточка со складной ручкой по звонку, который издал резкий, протяжный звук, похожий на звук там-тама. – Бертуччо!

На пороге появился управляющий.

– Господин Бертуччо, – сказал граф, – вы мне когда-то говорили, что вы бывали во Франции?

– Да, ваше сиятельство, в некоторых местах бывал.

– Вы, вероятно, знакомы с окрестностями Парижа?

– Нет, ваше сиятельство, нет, – ответил управляющий с нервной дрожью, которую Монте-Кристо, отлично разбиравшийся в таких вещах, правильно приписал сильному волнению.

– Досадно, что вы не бывали в окрестностях Парижа, – сказал он, – потому что я хочу сегодня же вечером осмотреть свое новое владение, и, сопровождая меня, вы, наверно, могли бы дать мне ценные указания.

– В Отейль! – воскликнул Бертуччо, смуглое лицо которого стало мертвенно-бледным. – Мне – ехать в Отейль!

– Да что же удивительного в том, что вы поедете в Отейль, скажите на милость? Когда я буду жить в Отейле, вам придется бывать там, раз вы состоите при мне.

Под властным взглядом своего господина Бертуччо опустил голову и стоял неподвижно и безмолвно.

– Что это значит? Что с вами? Прикажете звонить два раза, чтобы мне подали карету? – сказал Монте-Кристо тем тоном, которым Людовик XIV произнес свое знаменитое: «Мне чуть было не пришлось дожидаться».

Бертуччо метнулся из гостиной в переднюю и глухим голосом крикнул:

– Карету его сиятельства!

Монте-Кристо написал несколько писем; когда он запечатывал последнее, управляющий оказался в дверях.

– Карета его сиятельства подана, – сказал он.

– Хорошо! Возьмите шляпу и перчатки, – сказал Монте-Кристо.

– Так я еду с вашим сиятельством? – воскликнул Бертуччо.

– Разумеется, ведь вам необходимо кое-чем распорядиться, раз я собираюсь там жить.

Не было примера, чтобы графу возражали, и управляющий беспрекословно последовал за ним; тот сел в карету и знаком предложил Бертуччо сделать то же.

Управляющий почтительно уселся на переднем сиденье.

V. Дом в Отейле

Монте-Кристо заметил, что Бертуччо, спускаясь с крыльца, перекрестился по-корсикански, то есть провел большим пальцем крест в воздухе, а садясь в экипаж, прошептал коротенькую молитву. Всякий другой, нелюбопытный, человек сжалился бы над странным отвращением, которое почтенный управляющий проявлял к задуманной графом загородной прогулке, но, видимо, Монте-Кристо был слишком любопытен, чтобы освободить Бертуччо от этой поездки.

Через двадцать минут они были уже в Отейле. Волнение управляющего все возрастало. Когда въехали в селение, Бертуччо, забившийся в угол кареты, начал с лихорадочным волнением вглядываться в каждый дом, мимо которого они проезжали.

– Велите остановиться на улице Фонтен, у номера двадцать восемь, – приказал граф, неумолимо глядя на управляющего.

Пот выступил на лице Бертуччо, однако он повиновался, высунулся из экипажа и крикнул кучеру:

– Улица Фонтен, номер двадцать восемь.

Этот дом находился в самом конце селения. Пока они ехали, совершенно стемнело – вернее, все небо заволочла черная туча, насыщенная электричеством и придававшая этим преждевременным сумеркам торжественность драматической сцены.

Экипаж остановился, и лакей бросился открывать дверцу.

– Ну что же, Бертуччо, – сказал граф, – вы не выходите? Или вы собираетесь оставаться в карете? Да что с вами сегодня?

Бертуччо выскочил из кареты и подставил графу плечо, на которое тот оперся, медленно спускаясь по трем ступенькам подножки.

– Постучите, – сказал граф, – и скажите, что я приехал.

Бертуччо постучал, дверь открылась, и появился привратник.

– Что нужно? – спросил он.

– Приехал ваш новый хозяин, – сказал лакей.

И он протянул привратнику выданное нотариусом удостоверение.

– Так дом продан? – спросил привратник. – И этот господин будет здесь жить?

– Да, друг мой, – отвечал граф, – и я постараюсь, чтобы вы не пожалели о прежнем хозяине.

– Признаться, сударь, – сказал привратник, – мне не приходится о нем жалеть, потому что мы его почти никогда не видали. Вот уже пять лет, как он у нас не был, и он хорошо сделал, что продал дом, не приносящий ему никакого дохода.

– А как звали вашего прежнего хозяина? – спросил Монте-Кристо.

– Маркиз де Сен-Меран. Я уверен, что ему не пришлось взять за дом то, что он ему стоил.

– Маркиз де Сен-Меран, – повторил Монте-Кристо. – Мне это имя как будто знакомо; маркиз де Сен-Меран...

И он сделал вид, что старается вспомнить.

– Старый дворянин, – продолжал привратник, – верный слуга Бурбонов. У него была единственная дочь, он выдал ее за господина де Вильфора, который служил королевским прокурором сперва в Ниме, потом в Версале.

Монте-Кристо взглянул на Бертуччо: тот был блее стены, к которой прислонился, чтобы не упасть.

– И дочь его умерла? – спросил граф. – Я припоминаю, что слышал про это.

– Да, сударь, тому уже двадцать один год, и с тех пор мы и трех раз не видели бедного маркиза.

– Так, благодарю вас, – сказал Монте-Кристо, рассудив, при взгляде на изнемогающего Бертуччо, что не следует больше натягивать струну, чтобы она не лопнула, – благодарю вас. А теперь дайте нам огня.

– Прикажете проводить вас?

– Нет, не нужно. Бертуччо мне посветит.

И Монте-Кристо присоединил к этим словам две золотые монеты, вызвавшие взрыв благословений и вздохов.

– Сударь, – сказал привратник, тщетно пошарив на выступе камина и на полках, – у меня здесь нет ни одной свечи.

– Возьмите с экипажа фонарь, Бертуччо, и пойдем посмотрим комнаты, – сказал граф.

Управляющий молча повиновался, но по дрожанию фонаря в его руке было видно, чего это ему стоило.

Они обошли довольно обширный нижний этаж, затем второй этаж, состоявший на гостиной, ванной и двух спален. Одна из этих спален сообщалась с винтовой лестницей, выходившей в сад.

– Посмотрите, вот отдельный выход, – сказал граф, – это довольно удобно. Посветите мне, Бертуччо. Идите вперед, и посмотрим, куда ведет эта лестница.

– В сад, ваше сиятельство, – сказал Бертуччо.

– А откуда вы это знаете, скажите на милость?

– Я хочу сказать, что она должна вести в сад.

– Ну что ж, проверим.

Бертуччо тяжело вздохнул и пошел вперед. Лестница точно вела в сад.

У наружной двери управляющий остановился.

– Ну что же вы? – сказал граф.

Но тот, к кому он обращался, не двигался с места, ошеломленный, остолбенелый, подавленный. Его блуждающие глаза как бы искали в окружающем следы ужасного прошлого, а его судорожно сжатые руки, казалось, отталкивали какие-то страшные воспоминания.

– Ну? – повторил граф.

– Нет, нет, – воскликнул Бертуччо, опуская фонарь и прислоняясь к стене, – нет, ваше сиятельство, я дальше не пойду, это невозможно!

– Что это значит? – произнес непреклонным голосом Монте-Кристо.

– Да вы же видите, ваше сиятельство, – воскликнул управляющий, – что тут какая-то чертовщина; собираясь купить в Париже дом, вы покупаете его именно в Отейле, и в Отейле попадаете как раз на номер двадцать восемь по улице Фонтен. Ах, почему я еще дома не сказал вам все! Вы, конечно, не потребовали бы, чтобы я ехал с вами. Но я надеялся, что вы все-таки купили не этот дом. Как будто нет в Отейле других домов, кроме того, где совершилось убийства!

– Что за мерзости вы говорите! – сказал Монте-Кристо, внезапно останавливаясь. – Ну и человек! Настоящий корсиканец. Вечно какие-нибудь тайны и суеверия! Берите фонарь и осмотрим сад: со мной вам не будет страшно, надеюсь.

Бертуччо поднял фонарь и повиновался. Дверь распахнулась, открывая тусклое небо, где луна тщетно боролась с целым морем облаков, которые застилали ее своими темными, на миг озаряемыми волнами и затем исчезали, еще более темные, в глубинах бесконечности.

Управляющий хотел повернуть налево.

– Нет, нет, – сказал Монте-Кристо, – зачем нам идти по аллеям? Вот отличная лужайка; пойдем прямо.

Бертуччо отер пот, струившийся по его лицу, но повиновался; однако он все-таки подвигался влево.

Монте-Кристо, напротив, шел вправо; подойдя к группе деревьев, он остановился.

Управляющий не мог больше сдерживаться.

– Уйдите отсюда, ваше сиятельство, – воскликнул он, – уйдите отсюда, умоляю вас, ведь вы как раз стоите на том самом месте!

– На каком месте?

– На том месте, где он свалился.

– Дорогой Бертуччо, – сказал граф смеясь, – придите в себя, прошу вас; ведь мы здесь не в Сартене или Корте. Здесь не лесная трущоба, а английский сад, очень запущенный, правда, но все-таки не к чему за это клеветать на него.

– Не стойте тут, сударь, не стойте тут, умоляю вас!

– Мне кажется, вы сходите с ума, маэстро Бертуччо, – холодно отвечал граф. – Если так, скажите, и я отправлю вас в лечебницу, пока не случилось несчастья.

– Ах, ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, трясая головой и всплескивая руками с таким потеряннным видом, что, наверное, рассмешил бы графа, если бы того в эту минуту не занимали более важные мысли, – несчастье уже произошло...

– Бертуччо, – сказал граф, – я считаю долгом предупредить вас, что, размахивая руками, вы их вдобавок отчаянно ломаете и вращаете белками как одержимый, в которого вселился бес; а я давно уже заметил, что самый упрямый из бесов – это тайна. Я знал, что вы корсиканец, я всегда знал вас мрачным и погруженным в размышления о какой-то вендетте, но в Италии я не обращал на это внимания, потому что в Италии такого рода вещи приняты; но во Франции убийство обычно считают поступком весьма дурного тона; здесь имеются жандармы, которые им интересуются, судьи, которые за него судят, и эшафот, который за него мстит.

Бертуччо с мольбой сложил руки, а так как он все еще держал фонарь, то свет упал на его искаженное страхом лицо.

Монте-Кристо посмотрел на него тем взглядом, каким он в Риме созерцал казнь Андреа; потом произнес шепотом, от которого бедного управляющего снова бросило в дрожь:

– Так, значит, аббат Бузони мне солгал, когда, после своего путешествия во Францию в тысяча восемьсот двадцать девятом году, прислал вас ко мне с рекомендательным письмом, в котором так превозносил вас? Что ж, я напишу аббату; он должен отвечать за свою рекомендацию, и я, вероятно, узнаю, о каком убийстве идет речь. Только предупреждаю вас, Бертуччо, что, когда я живу в какой-нибудь стране, я имею обыкновение уважать ее законы и отнюдь не желаю из-за вас ссориться с французским правосудием.

– Не делайте этого, ваше сиятельство! – в отчаянии воскликнул Бертуччо. – Разве я не служил вам верой и правдой? Я всегда был честным человеком и старался, насколько мог, делать людям добро.

– Против этого я не спорю, – отвечал граф, – но тогда почему же вы, черт возьми, так взволнованы? Это плохой знак; если совесть чиста, человек не бледнеет так и руки его так не трясутся...

– Но, ваше сиятельство, – нерешительно возразил Бертуччо, – ведь вы говорили мне, что аббат Бузони, которому я покался в нимской тюрьме, предупредил вас, направляя меня к вам, что на моей совести лежит тяжкое бремя?

– Да, конечно, но так как он мне рекомендовал вас как прекрасного управляющего, то я подумал, что дело идет о какой-нибудь краже, только и всего.

– Что вы, ваше сиятельство! – воскликнул Бертуччо с презрением.

– Или же что вы, по обычаю корсиканцев, не удержались и «сделали кожу»¹, как выражаются в этой стране, когда ее с кого-нибудь снимают.

– Да, ваше сиятельство, да, в том-то и дело! – воскликнул Бертуччо, бросаясь к ногам графа. – Это была месть, клянусь вам, просто месть.

– Я это понимаю; не понимаю только, почему именно этот дом приводит вас в такое состояние.

¹ То есть убили.

– Но это естественно, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо, – ведь именно в этом доме все и произошло.

– Как, в моем доме?

– Ведь он тогда еще не был вашим, – наивно возразил Бертуччо.

– А чей он был? Привратник сказал, кажется, маркиза де Сен-Меран? За что же вы, черт возьми, могли мстить маркизу де Сен-Меран?

– Ваше сиятельство, я мстил не ему – другому.

– Какое странное совпадение, – сказал Монте-Кристо, по-видимому, просто размышляя вслух, – что вы вот так, случайно, очутились в том самом доме, где произошло событие, вызывающее у вас такое мучительное раскаяние.

– Ваше сиятельство, – сказал управляющий, – это судьба, я знаю. Начать с того, что вы покупаете дом именно в Отейле, и он оказывается тем самым, где я совершил убийство; вы спускаетесь в сад именно по той лестнице, по которой спустился он; вы останавливаетесь па том самом месте, где я нанес удар; в двух шагах отсюда, под этим платаном, была яма, где он закопал младенца; нет, все это не случайно, потому что тогда случай был бы слишком похож на провидение.

– Хорошо, господин корсиканец, предположим, что это провидение; я всегда согласен предполагать все что угодно, тем более что надо же уступать людям с большим рассудком. А теперь соберитесь с мыслями и расскажите мне все.

– Я рассказывал это только раз в жизни, и то аббату Бузони. Такие вещи, – прибавил, качая головой, Бертуччо, – рассказывают только на исповеди.

– В таком случае, мой дорогой, – сказал граф, – я отошлю вас к вашему духовнику; вы можете стать, как он, картезианцем или бернардинцем и беседовать с ним о ваших тайнах. Что же касается меня, то я опасаюсь домоправителя, одержимого такими химерами; мне не нравится, если мои слуги боятся по вечерам гулять в моем саду. Кроме того, сознаюсь, я вовсе не хочу, чтобы меня навестил полицейский комиссар; ибо, имейте в виду, господин Бертуччо: в Италии правосудие получает деньги за бездействие, а во Франции, наоборот, – только когда оно деятельно. Я считал вас отчасти корсиканцем, отчасти контрабандистом, но чрезвычайно искусным управляющим, а теперь вижу, что вы гораздо более разносторонний человек, господин Бертуччо. Вы мне больше не нужны.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство! – воскликнул управляющий в ужасе от этой угрозы. – Если вы только поэтому хотите меня уволить, я все расскажу, во всем признаюсь; лучше мне взойти на эшафот, чем расстаться с вами.

– Это другое дело, – сказал Монте-Кристо, – но подумайте: если вы собираетесь лгать, лучше не рассказывайте ничего.

– Клянусь спасением моей души, я вам скажу все! Ведь даже аббат Бузони знал только часть моей тайны. Но прежде всего умоляю вас, отойдите от этого платана. Вот луна выходит из-за облака, а вы стоите здесь, завернувшись в плащ, он скрывает вашу фигуру, и он так похож на плащ господина де Вильфор...

– Как, – воскликнул Монте-Кристо, – так это Вильфор...

– Ваше сиятельство его знает?

– Он был королевским прокурором в Ниме?

– Да.

– И женился на дочери маркиза де Сен-Меран?

– Да.

– И пользовался репутацией самого честного, самого строгого и самого нелицеприятного судьи?

– Так вот, ваше сиятельство, – воскликнул Бертуччо, – этот человек с безупречной репутацией...

– Да?

– ...был негодяй.

– Это невозможно, – сказал Монте-Кристо.

– А все-таки это правда.

– Да неужели! – сказал Монте-Кристо. – И у вас есть доказательства?

– Во всяком случае были.

– И вы, глупец, потеряли их?

– Да, но, если хорошенько поискать, их можно найти.

– Вот как! – сказал граф. – Расскажите-ка мне об этом, Бертуччо. Это в самом деле становится интересно.

И граф, напевая мелодию из «Лючии», направился к скамейке и сел; Бертуччо последовал за ним, стараясь разобраться в своих воспоминаниях.

Он остался стоять перед графом.

VI. Вендетта

– С чего, ваше сиятельство, прикажете начать? – спросил Бертуччо.

– Да с чего хотите, – сказал Монте-Кристо, – ведь я вообще ничего не знаю.

– Мне, однако же, казалось, что аббат Бузони сказал вашему сиятельству...

– Да, кое-какие подробности; но прошло уже семь или восемь лет, и я все забыл.

– Так я могу, не боясь наскучить вашему сиятельству...

– Рассказывайте, Бертуччо, рассказывайте, вы мне замените вечернюю газету.

– Это началось в тысяча восемьсот пятнадцатом году.

– Вот как! – сказал Монте-Кристо. – Это старая история.

– Да, ваше сиятельство, а между тем все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат, он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом; мы остались сиротами, когда ему было восемнадцать лет, а мне – пять; он воспитывал меня как сына. В тысяча восемьсот четырнадцатом году, при Бурбонах, он женился. Император вернулся с острова Эльба, брат тотчас же вновь пошел в солдаты, был легко ранен при Ватерлоо и отступил с армией за Луару.

– Да вы мне рассказываете историю Ста дней, Бертуччо, – прервал граф, – а она, если не ошибаюсь, уже давно написана.

– Прошу прощения, ваше сиятельство, по эти подробности для начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня.

– Ну-ну, рассказывайте. Я дал слово и сдержу его.

– Однажды мы получили письмо, – надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рольяно, на самой оконечности мыса Коре, – письмо было от брата, он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатору, Клермон-Ферран, Пюи и Ним, и просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому трактирщику, с которым у меня были кое-какие дела.

– По контрабанде, – вставил Монте-Кристо.

– Ваше сиятельство, жить-то ведь надо.

– Разумеется; продолжайте.

– Я уже сказал, что горячо любил брата; я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня – было около тысячи франков; пятьсот я оставил Асеухгте, моей невестке, а с остальными отправился в Ним. Это было не трудно: у меня была лодка, мне предстояло переправить в море груз, – все складывалось благоприятно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и четыре дня мы не могли войти в Рону. Наконец, нам это удалось, и мы поднялись до Арля; лодку я оставил между Бельгардем и Бокером, а сам направился в Ним.

– Мы подходим к сути дела, не так ли?

– Да, ваше сиятельство; прошу прощения, но, как ваше сиятельство сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были три разбойника, их звали Трестальон, Трюфем и Граффан, – они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно, слышали об этих убийствах?

– Слышал кое-что; я был тогда далеко от Франции. Продолжайте.

– В Ниме приходилось буквально ступать по лужам крови; на каждом шагу валялись трупы; убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли.

При виде этой бойни я задрожал: не за себя, – мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться, напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время, – но я боялся за брата: он, императорский солдат, возвращался из Луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться.

Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют.

Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их, так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленом французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору.

– И королевского прокурора звали Вильфор? – спросил небрежно Монте-Кристо.

– Да, ваше сиятельство, он прибыл из Марсея, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона.

– Итак, вы пошли к нему, – прервал Монте-Кристо.

– «Господин прокурор, – сказал я ему, – моего брата вчера убили на улице Нима; кто убил – не знаю, но ваш долг отыскать убийцу. Вы здесь – глава правосудия, а оно должно мстить за тех, кого не сумело защитить».

«Кто был ваш брат?» – спросил королевский прокурор.

«Поручик корсиканского батальона».

«То есть солдат узурпатора?»

«Солдат французской армии».

«Ну что ж? – возразил он. – Он вынул меч и от меча погиб».

«Вы ошибаетесь, сударь; он погиб от кинжала».

«Чего же вы хотите от меня?» – спросил прокурор.

«Я уже сказал вам: чтобы вы за него отомстили».

«Кому?»

«Его убийцам».

«Да разве я их знаю?»

«Велите их разыскать».

«А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству; при императоре это сходило им с рук, но теперь – другое дело, а наши южане не любят ни вояк, ни буйства».

«Господин прокурор, – сказал я, – я прошу не за себя. Я буду горевать или мстить, – это мое дело. Но мой несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду: она жила только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть небольшую пенсию».

«Каждая революция влечет за собою жертвы, – отвечал Вильфор. – Ваш брат пал жертвой последнего переворота, – это несчастье, по правительству не обязано за это платить вашему семейству. Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно, – это закон возмездия».

«Что же это такое? – воскликнул я. – И так рассуждаете вы, представитель правосудия!..»

«Честное слово, все эти корсиканцы – сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император, – ответил Вильфор. – Вы упустили время, любезный; вам следовало так говорить со мною два месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, или я велю вас вывести».

Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы.

Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему:

«Ладно, – сказал я вполголоса, – если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы роялист. Хорошо же! Я тоже бонапартист, и я предупреждаю вас: я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь: в первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час».

И, прежде чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал.

– Вот как, Бертуччо, – сказал Монте-Кристо. – Вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору. Нехорошо! Знал ли он по крайней мере, что значит вендетта?

– Знал так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один и заперся дома, приказав искать меня повсюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня. Тогда ему стало страшно; он боялся оставаться в Ниме, просил, чтобы его перевели в другое место, а так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль; но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить врагу, расстояния не существует. Как

он ни спешил, его карета ни разу не опередила меня больше чем на полдня пути, хоть я и шел пешком.

Важно было не просто убить его – сто раз я имел возможность это сделать, – его надо было так убить, чтобы меня не заметили и не задержали. Ведь я больше не принадлежал себе: я должен был кормить невестку. Целых три месяца я подстерегал Вильфора; за эти три месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним. Наконец, я узнал, что он тайком ездит в Отейль; я продолжал следить и увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся; только он не входил в главные ворота, как все; он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку, видите?

Монте-Кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает Бертуччо.

– Мне больше нечего было делать в Версале, я переселился в Отейль и стал собирать сведения. Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку.

Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал привратник, маркизу де Сен-Меран, тестю Вильфора. Маркиз жил в Марселе, этот загородный дом ему был не нужен; маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы.

Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел в саду женщину, она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидел, что это молодая и красивая женщина лет восемнадцати, высокая и белокурая. На ней был простой капот, ничто не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна и что, по-видимому, роды уже близко.

Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина; молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу; они обнялись, нежно поцеловались и вместе вошли в дом.

Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад.

– А узнали вы потом имя этой женщины? – спросил граф.

– Нет, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо, – вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени.

– Продолжайте.

– В этот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его наповал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания и, чтобы лучше за всем следить, нанял комнатку, выходящую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада.

Три дня спустя, около семи часов вечера, я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону Севрской дороги; я догадался, что он поехал в Версаль, и не ошибся. Через три часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще минут десять, и пешеход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад и запер ее за собой.

Я бросился из дому. Я не видел лица Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад.

На этот раз я не удовольствовался наблюдением, а вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду.

Прежде всего я подбежал к калитке; он оставил ключ в замке и только из предосторожности два раза повернул его.

Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась ровная лужайка, по углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке или дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья.

Был конец сентября, дул сильный ветер; бледную луну все время закрывали несущиеся по небу черные тучи; она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметят.

Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор; едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Но вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся

глухие крики. Прошло два часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны. Пробило полночь.

Еще не замер унылый и гулкий отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились.

Дверь отворилась и снова появился человек в плаще.

Наступила страшная минута, но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло; я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове.

Человек в плаще шел прямо на меня; пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие; я испугался – не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ.

Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он ему не мешал, что-то спрятано.

Тут, признаться, к моей ненависти примешалось любопытство: мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял не шевелясь, затаив дыхание; я ждал.

Потом у меня мелькнула мысль; я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в два фута длиной и дюймов в семь шириной.

Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей; потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал:

«Я Джованни Бертуччо! За смерть моего брата ты платишь своей смертью, твой клад достанется его вдове; видишь, моя месть удалась даже лучше, чем я надеялся».

– Не знаю, слышал ли он мои слова; не думаю; он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо, но я опьянел, обезумел; эта кровь освежала меня, а не жгла. В одну минуту я заступом открыл ящик; потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой.

– Вот как, – сказал Монте-Кристо, – я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей.

– Нет, ваше сиятельство, – возразил Бертуччо, – это была вендетта с возвратом долга.

– По крайней мере сумма была значительная?

– Это были не деньги.

– Ах, да, – сказал Монте-Кристо, – вы что-то говорили о ребенке.

– Вот именно, ваше сиятельство. Я побежал к реке, уселся на берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом.

Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец; лицо у него было багровое, руки посинели, – видно, он умер оттого, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел, и я не решился бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач: принялся вдвигать ему в легкие воздух; и через четверть часа после невероятных моих усилий ребенок начал дышать и вскрикнул. Я и сам вскрикнул, но от радости. «Значит, бог не проклял меня, – подумал я, – раз он позволяет мне возвратить жизнь его созданию, взамен той, которую я отнял у другого!»

– А что же вы сделали с ребенком? – спросил Монте-Кристо. – Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать.

– Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя; но я знал, что в Париже есть Воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на дороге, и спросил, где Воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова; батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству; кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякою другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений; мне указали Воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Апфер. Я разрезал пеленку пополам, так что одна из двух букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня, потом положил мою

ношу у порога, позвонил и убежал со всех ног. Через две недели я уже был в Рольяно и сказал Ассунте:

«Утешься, сестра; Израэло умер, но я отомстил за него».

Тогда она спросила у меня, что это значит, и я рассказал ей все!

«Джованни, – сказала мне Ассунта, – тебе следовало взять ребенка с собой; мы заменили бы ему родителей, которых он лишился; мы назвали бы его Бенедетто², и за это доброе дело господь благословил бы нас».

Вместо ответа я подал ей половину пеленки, которую сохранил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем побогаче.

– А какими буквами были помечены пеленки? – спросил Монте-Кристо.

– Н и N, под баронской короной.

– Да вы, кажется, разбираетесь в геральдике, Бертуччо? Где это вы, черт возьми, обучались гербоведению?

– У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно научиться.

– Продолжайте; мне хочется знать две вещи.

– Какие, ваше сиятельство?

– Что случилось с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик.

– Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтобы я это говорил.

– Значит, мне послышалось. Я ошибся.

– Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. Но ваше сиятельство желали узнать две вещи: какая же вторая?

– Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника и к вам в нимскую тюрьму пришел аббат Бузони.

– Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ, ваше сиятельство.

– Так что же? Сейчас только десять часов; вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна.

Бертуччо поклонился и продолжал свой рассказ:

– Отчасти чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедной вдове на жизнь, я снова занялся контрабандой; это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось южное побережье из-за непрерывных волнений то в Авиньоне, то в Ниме, то в Юзесе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали сношения с жителями всего побережья. С тех пор как моего брата убили в Ниме, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, сам явился к нам и открыл отделение своего трактира (на дороге из Белгарда в Бокер, под вывеской «Гарский мост»). Мы имели на дорогах в Эг-Морт Мартиг и Бук с десятков складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков и жандармов. Ремесло контрабандиста очень выгодно, когда занимаешься им с умом и энергией. И жил в горах, – теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если бы меня поймали, то началось бы следствие; всякое следствие интересуется прошлым, а в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных беспощинно сигар или контрабандных бочонков спирта. Так что, тысячу раз предпочитая смерть аресту, я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения и отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей, или, лучше сказать, другие люди на тебя непохожи; кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт.

– Вы философствуете, Бертуччо! – прервал его граф. – Вы, по-видимому, занимались в жизни всем понемножку.

– Прошу прощения, ваше сиятельство.

– Пожалуйста, пожалуйста, но только философствовать в половине одиннадцатого ночи – поздновато. Впрочем, других возражений я не имею, потому что нахожу вашу философию совершенно справедливою, а это можно сказать не про всякую философскую систему.

² Благословенный (итал.).

– Мои поездки становились все более дальними и приносили мне все больше дохода. Ассунта была хорошая хозяйка, и наше маленькое состояние росло. Однажды, когда я собирался в путь, она сказала: «Поезжай, а к твоему возвращению я приготовлю тебе сюрприз».

Сколько я ее ни расспрашивал, она ничего не хотела говорить, и я уехал.

Я был в отсутствии больше полутора месяцев; мы взяли в Лукке масло, а в Ливорно – английские бумажные материн. Выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышом и, радостные, вернулись по домам.

Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате Ассунты, был младенец месяцев восьми, в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул от радости. С тех пор как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль – мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел.

Бедная Ассунта все угадала; он, воспользовавшись моим отсутствием и, захватив половину пеленки и записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге Воспитательного дома, явилась за ним в Париж. Ей без всяких возражений отдали ребенка.

Должен вам признаться, ваше сиятельство, что, когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился.

«Ассунта, – сказал я, – ты хорошая женщина, и бог благословит тебя».

– Вот это не так справедливо, как ваша философия, – заметил Монте-Кристо. – Правда, это уже вопрос веры.

– Вы правы, ваше сиятельство, – вздохнул Бертучо. – Господь избрал этого ребенка орудием моей кары. Я не знаю примера, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него, а между тем нельзя сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем, как о княжеском сыне. Это был прехорошенький мальчик, с глазами светлоголубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре и так гармонирует с молочной белизной кожи; только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны; к несчастью, пословица эта вполне оправдалась на Бенедетто, и с самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам; ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за пять лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсинам и генуэзским сушеным фруктам каштаны, украденные в саду у соседа, или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада.

Однажды, когда Бенедетто было не больше шести; лет, наш сосед Василио пожаловался нам, что у него из кошелька исчез луидор. По нашему корсиканскому обычаю, Василио никогда не запирает ни своего кошелька, ни своих драгоценностей, потому что, как его сиятельству известно, на Корсике нет воров. Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем, как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну; он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Рольяею, – у него было несколько обезьян, выделявавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них.

«В наших лесах нет обезьян, – сказал я ему, – особенно цепных. Признавайся, как ты ее достал».

Бенедетто настаивал на своем и рассказал целую кучу подробностей, делавших больше чести его изобретательности, чем правдивости; я вышел из себя, он рассмеялся; я пригрозил ему, он попятился от меня.

«Ты не смеешь меня бить, – сказал он, – не имеешь права: ты мне не отец».

Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было, этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опустилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал, и эта победа придала ему смелости. С этой минуты все деньги Ассунты, которая любила его тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей, которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно, но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось одиннадцать лет, а товарищей он выбирал себе среди

восемнадцатилетних парней, самых отъявленных шалопаев Бастии и Корты; за некоторые проделки, заслуживающие более серьезного названия, мы уже несколько раз получали предостережение от властей.

Я начал тревожиться: всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что избегну этим большой беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся, что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина благотворно подействуют на этот испорченный, если еще не до конца развращенный, характер.

Я подзвал Бенедетто и предложил ему ехать со мною, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить двенадцатилетнего мальчика.

Он выслушал меня и, когда я кончил, расхохотался:

«Да вы с ума сошли, дядя! – сказал он. (Так он называл меня, когда бывал в духе). – Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную работу! Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься – попадать под пули, и все это, чтобы заработать немного денег! Денег у меня сколько угодно, Ассунта дает их мне, как только я попрошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами».

Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издала, видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной.

– Очаровательный ребенок! – прошептал Монте-Кристо.

– О, будь он мой, – продолжал Бертуччо, – будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание права дает силу. Но мысль, что я буду бить сына человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку; а так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наше скромное достояние. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал и считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалась неделя. Мое решение, как я уже сказал, было принято: я хотел устроить его письмоводителем на какое-нибудь судно дальнего плавания и, ни о чем не предупреждая, забрать его в одно прекрасное утро и доставить на корабль; я поручил бы его заботам капитана, и, таким образом, его будущность зависела бы всецело от него самого.

Приняв это решение, я уехал во Францию.

На этот раз все наши операции должны были совершиться в Лионском заливе; они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже тысяча восемьсот двадцать девятый год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился благодаря тому, что в Бокере как раз открылась ярмарка.

Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили среди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны, от Бокера до Арля. Прибыв туда, мы начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживавших с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали, но однажды, около пяти часов вечера, когда мы собрались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности нас испугал не самый отряд – по берегам Роны, особенно в то время, бродили целью роты, – а те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным. Мы сразу повскакивали на ноги, но было уже поздно: наша лодка, несомненно являвшаяся предметом розыска, была окружена со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заметил жандармов, их вид всегда пугал меня, в то время как просто солдат я обычно не страшился, а потому я быстро спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросился в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воздух, так что, никем не замеченный, доплыл до недавно вырытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из Бокера в Эг-Морт. Как только я добрался до этого места, я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть незамеченным вдоль рва. Таким образом, я без всяких злоключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не случайно: я уже рассказывал вашему сиятельству об одном нимском трактирщике, державшем на дороге из Бельгарда в Бокер небольшую гостиницу.

– Прекрасно помню, – сказал Монте-Кристо. – Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном.

– Вот-вот! Но лет за семь до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марсея, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастья в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и со следующим; вот у этого человека я и надеялся найти пристанище.

– А как его звали? – спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо.

– Гаспар Кадрусс, он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали; эта бледная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый мальчик, лет сорока пяти, и уже не раз показал себя, в трудные для нас минуты, человеком находчивым и храбрым.

– И когда, вы говорите, это происходило? – спросил Монте-Кристо.

– В тысяча восемьсот двадцать девятом году, ваше сиятельство.

– В каком месяце?

– Июне.

– В начале или в конце?

– Это было вечером третьего июня.

– Так! – заметил Монте-Кристо, – третьего июня тысяча восемьсот двадцать девятого года... Продолжайте.

– Так вот, у этого Кадрусса я и собирался попросить пристанища; но так как обычно, даже при спокойной обстановке, мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу; я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами и, опасаясь, что в трактире у Кадрусса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь не хуже, чем в самой лучшей постели.

Эта пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучшить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае если у Кадрусса никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающейся грозой, вернуться на берег Роны и узнать, что случилось с лодкой и теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку; это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрусс и привел с собой незнакомца.

Я притих и стал ждать, не потому, что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому, что не мог поступить иначе; к тому же так бывало уже раз десять.

Человек, который пришел с Кадруссом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции; это был один из тех негоциантов, которые приезжают на ярмарку в Бокер, чтобы торговать драгоценностями, и за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех концов Европы, заключают иногда сделки на сто, а то и на полтора-два тысячи франков.

Кадрусс вошел первым, быстрыми шагами. Затем, увидав, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену.

«Эй, Карконта, – крикнул он, – священник не обманул нас: алмаз настоящий».

Послышалось радостное восклицание, и ступеньки лестницы закрипели под нетвердыми от слабости и болезни шагами.

«Что ты говоришь?» – спросила Карконта.

«Говорю, что алмаз настоящий, и вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него пятьдесят тысяч франков. Но только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш: так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста: сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться».

Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шкатулки.

«Рассказывайте, сударыня», – сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут.

«Ах, господа, – затараторила женщина, – это божье благословение, мы ничего такого не ожидали. Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в тысяча восемьсот четырнадцатом или тысяча восемьсот пятнадцатом году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес; этот бедный малый, которого Кадрусс совершенно забыл, помнил о нем, и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели».

«А каким же образом оказался у него этот алмаз? – спросил ювелир. – Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму?»

«Нет, сударь, – отвечала женщина, – но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином; тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом; за это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз. Бедному Дантесу не посчастливилось, он так в тюрьме и умер, а алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам».

«Она говорит то же самое, – прошептал ювелир. – В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным. В таком случае, – сказал он громко, – дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились».

«Как не сговорились! – воскликнул вошедший Кадрусс. – Я был уверен, что вы согласны на мою цену».

«То есть, – возразил ювелир, – я вам предложил за него сорок тысяч франков».

«Сорок тысяч! – возмутилась Карконта. – Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит пятьдесят тысяч, не считая оправы».

«А как звали этого аббата?»

«Аббат Бузони».

«Так он иностранец?»

«Он итальянец, из окрестностей Мантуи, кажется».

«Покажите мне алмаз, – продолжал ювелир, – я хочу его еще раз посмотреть; иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях».

Кадрусс вынул из кармана маленький черный футляр из шагреновой кожи, открыл его и передал ювелиру. При виде алмаза, который был величиною с небольшой орешек (я как сейчас это вижу), глаза Карконты загорелись алчностью.

– А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель? – спросил Монте-Кристо. – Вы поверили этой сказке?

– Да, ваше сиятельство; я считал Кадрусса не плохим человеком и думал, что он не способен совершить преступление или украсть.

– Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Бертуччо. А знавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь?

– Нет, ваше сиятельство, я никогда ничего о нем не слышал ни раньше, ни после; только еще один раз от самого аббата Бузони, когда он был у меня в нимской тюрьме.

– Хорошо, продолжайте.

– Ювелир взял из рук Кадрусса перстень и достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы; потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы.

«Я дам сорок пять тысяч франков, – сказал он, – и ни гроша больше: это красная цепа алмазу, я взял с собой только эту сумму».

«Это не важно, – сказал Кадрусс, – я вернусь вместо с вами в Бокер за остальными пятью тысячами».

«Нет, – отвечал ювелир, отдавая Кадруссу оправу и алмаз, – нет, это крайняя цена, и я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил; но делать нечего, я не беру назад своего слова; я сказал сорок пять тысяч франков и не отказываюсь от этой цифры».

«По крайней мере вставьте камень обратно», – сердито сказала Карконта.

«Вы правы», – сказал ювелир.

И он вставил камень в оправу.

«Не беда, – проворчал Кадрусс, пряча футляр в карман, – продадим кому-нибудь другому».

«Конечно, – отвечал ювелир, – только другой не будет так сговорчив, как я; другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне; это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в пятьдесят тысяч франков; он сообщит властям, придется разыскивать аббата Бузони, а разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценою

в две тысячи луидоров, не легкое дело; правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму, а если обнаружится, что вы ни в чем не виновны, и вас через три или четыре месяца освободят, то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии, или вам всучат фальшивый камень, франка в три ценою, вместо алмаза, стоящего пятьдесят, может быть, даже пятьдесят пять тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском».

Кадрусс и его жена переглянулись.

«Нет, – заявил Кадрусс, – мы не настолько богаты, чтобы терять пять тысяч франков».

«Как вам угодно, любезный друг, – сказал ювелир, – а между тем я, как видите, принес с собой деньги наличными».

И он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших перед восхищенными глазами трактирщика, а из другого – пачку ассигнаций.

В душе Кадрусса явно происходила тяжелая борьба: было ясно, что маленький футляр шагреновой кожи, который он вертел в руке, казался ему не соответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры.

Он повернулся к жене.

«Что ты скажешь?» – тихо спросил он ее.

«Отдавай, отдавай, – сказала она, – если он вернется в Бокер без алмаза, он донесет на нас; и он верно говорит: кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони».

«Ну что ж, так и быть! – сказал Кадрусс. – Берите камень за сорок пять тысяч франков; но моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных пряжек».

Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов.

«Берите, – сказал он, – в делах я не мелочен, выбирайте».

Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, луидоров пять, а муж пару пряжек, цена которым была франков пятнадцать.

«Надеюсь, теперь вы довольны?» – сказал ювелир.

«Аббат говорил, что ему цена пятьдесят тысяч франков», – пробормотал Кадрусс.

«Ну, ну, ладно! Вот несносный человек, – продолжал ювелир, беря у него из рук перстень, – я даю ему сорок пять тысяч франков, две с половиной тысячи ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен!»

«А сорок пять тысяч франков? – спросил Кадрусс хриплым голосом. – Где они у вас?»

«Вот, извольте», – сказал ювелир.

И он отсчитал на столе пятнадцать тысяч франков золотом и тридцать тысяч ассигнациями.

«Подождите, я зажгу лампу, – сказала Карконта, – уже темно, легко ошибиться».

В самом деле, пока они спорили, настала ночь, а с нею пришла и гроза, уже с полчаса как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром; но ни ювелир, ни Кадрусс, ни Карконта не обращали на него никакого внимания, всецело поглощенные бесом наживы.

Я и сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне казалось, что я вижу все это во сне, и, как во сне, я чувствовал себя прикованным к месту.

Кадрусс сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты, потом передал их жене, которая в свою очередь сосчитала и пересчитала их.

Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу.

«Ну что же? Счет верен?» – спросил ювелир.

«Да, – сказал Кадрусс, – принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок».

Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником; из него вынули несколько старых засаленных писем и на их место положили ассигнации: она принесла и мешок, где лежало два или три экю по шесть ливров – по-видимому, все Состояние жалкой четы.

«Ну вот, – сказал Кадрусс, – хоть вы нас и ограбили, может быть, тысяч на десять франков, но не отужинаете ли вы с нами? Я предлагаю от души».

«Благодарю вас, – отвечал ювелир, – но, должно быть, уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспокоиться. – Он посмотрел на часы. – Черт возьми! – воскликнул он. – Уже скоро девять, я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья; если к вам еще когда-нибудь забредет такой аббат Бузони, вспомните обо мне».

«Через неделю вас уже не будет в Бокере, – сказал Кадрусс, – ведь ярмарка закрывается на будущей неделе».

«Да, по это ничего по значит, напишите мне в Париж: господину Жоаннесу, Пале-Рояль, галерея Пьер, номер сорок пять; я нарочно приеду, если надо будет».

Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы.

«Ого, – сказал Кадрусс, – как же вы пойдете в такую погоду?»

«Я не боюсь грозы», – сказал ювелир.

«А грабителей? – спросила Карконта. – Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают».

«Что касается грабителей, – сказал Жоаннес, – то у меня для них кое-что припасено».

И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки.

«Вот, – сказал он, – собачки, которые и лают и кусают; это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрусс».

Кадрусс с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них у обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль.

«В таком случае счастливого пути!» – сказал Кадрусс.

«Благодарю!» – отвечал ювелир.

Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла.

«Ну и погодка, – сказал он, – а ведь мне идти два лье пешком!»

«Оставайтесь, – сказал Кадрусс, – переночуете здесь».

«Да, оставайтесь, – дрожащим голосом сказала Карконта, – мы позаботимся, чтобы вам было удобно».

«Никак нельзя. Мне необходимо вернуться к ночи в Бокер. Прощайте!»

Кадрусс медленно подошел к порогу.

«Ни зги не видно, – проговорил ювелир уже за дверью. – Куда мне повернуть, направо или налево?»

«Направо, – сказал Кадрусс, – с пути не собьетесь, дорога с обеих сторон обсажена деревьями».

«Вижу, вижу», – донесся издали слабый голос.

«Да закрой же дверь! – сказала Карконта. – Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром».

«И когда в доме имеются деньги, верно?» – отвечал Кадрусс, дважды поворачивая ключ в замке.

Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации.

Я никогда не видел такой алчности, какую выражали эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительна была женщина; лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным, ввалившиеся глаза пылали.

«Для чего ты ему предлагал переночевать здесь?» – спросила она глухим голосом.

«Да... для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер», – вздрогнув, ответил Кадрусс.

«Ах, вот что, – сказала женщина с непередаваемым выражением, – а я-то вообразила, что не для этого».

«Жена, жена! – воскликнул Кадрусс. – Откуда у тебя такие мысли, и почему ты не держишь их про себя?»

«Что ни говори, – сказала Карконта, помолчав, – а ты не мужчина».

«Это почему?» – спросил Кадрусс.

«Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда».

«Жена!»

«Или не дошел бы до Бокера».

«Жена!»

«Дорога заворачивает, и он не знает другой дороги, а вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь».

«Жена, ты гневаешь бога. Вот, слышишь?»

Всю комнату озарила голубоватая молния, одновременно раздался ужасающий удар грома, и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома.

«Господи!» – сказала, крестясь, Карконта.

В ту же минуту, посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь.

Кадрусс с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись.

«Кто там?» – крикнул Кадрусс, вставая с места, и, сгребя в кучу золото и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками.

«Это я!» – ответил чей-то голос.

«Кто вы?»

«Да я же! Ювелир Жоаннес!»

«Ну вот! А еще говорил, что я гневлю господу!.. – заявила с гнусной улыбкой Карконта. – Сам господь вернул его к нам».

Кадрусс, бледный и дрожащий, упал на стул.

Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла отворять.

«Входите, дорогой господин Жоаннес», – сказала она.

«Право, – сказал ювелир, весь мокрый от дождя, – можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в Бокер. Из двух зол надо выбирать меньшее, господин Кадрусс: вы предложили мне гостеприимство, я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать».

Кадрусс пробормотал что-то, отирая пот со лба.

Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.

VII. Кровавый дождь

Ювелир, войдя, окинул комнату испытующим взглядом, но там не было ничего, что могло бы вызвать в нем подозрения или же укрепить их.

Кадрусс все еще прикрывал обеими руками бумажки и золото. Карконта улыбалась гостю насколько могла приветливее.

«Ага, – сказал ювелир, – вы, по-видимому, все еще боились, не просчитались ли, если после моего ухода опять стали пересчитывать свое богатство?»

«Да нет, – сказал Кадрусс, – но самый случай, который дал нам его, настолько неожиданный, что мы никак не можем поверить нашему счастью, и если у нас перед глазами не лежит вещественное доказательство, то нам все еще кажется, что это сон».

Ювелир улыбнулся.

«Ночует у вас тут кто-нибудь?» – спросил он.

«Нет, – отвечал Кадрусс, – это у нас не заведено; до города недалеко, и на ночь у нас никто не остается».

«Значит, я вас очень стесню?»

«Да что вы, сударь! – любезно сказала Карконта. – Нисколько не стесните, уверяю вас».

«Где же вы меня поместите?»

«В комнате наверху».

«Но ведь это ваша комната?»

«Это не важно; у нас есть вторая кровать в комнате рядом с этой».

Кадрусс удивленно взглянул на жену.

Ювелир стал напевать какую-то песенку, греясь у камина, куда Карконта подбросила охапку хвороста, чтобы гость мог обсушиться.

Тем временем она расстелила на краю стола салфетку и поставила на него остатки скудного обеда и яичницу.

Кадрусс снова спрятал ассигнации в бумажник, золото в мешок, а все вместе – в шкаф. Он в мрачном раздумье ходил взад и вперед по комнате, время от времени поглядывая на ювелира, который в облаке пара стоял у камина и, пообсохнув с одного бока, поворачивался к огню другим.

«Вот! – сказала Карконта, ставя на стол бутылку вина. – Если угодно, можете приниматься за ужин».

«А вы?» – спросил Жоаннес.

«Я ужинать не буду», – отвечал Кадрусс.

«Мы очень поздно обедали», – поспешила добавить Карконта.

«Так мне придется ужинать одному?» – спросил ювелир.

«Мы будем вам прислуживать», – ответила Карконта с готовностью, какой она никогда не проявляла даже по отношению к платным посетителям.

Время от времени Кадрусс бросал на нее быстрый, как молния, взгляд.

Гроза все еще продолжалась.

«Слышите, слышите? – сказала Карконта. – Право, хорошо, сделали, что вернулись».

«Но если, пока я ужинаю, буря утихнет, я все-таки пойду», – сказал ювелир.

«Это мистраль, – сказал, покачивая головой, Кадрусс, – это протянется до завтра».

И он тяжело вздохнул.

«Ну, что делать, – сказал ювелир, садясь к столу, – тем хуже для тех, кто сейчас в пути».

«Да, – отвечала Карконта, – они проведут плохую ночь».

Ювелир принялся за ужин, а Карконта продолжала оказывать ему всяческие услуги, как подобает внимательной хозяйке; она, всегда такая сварливая и своенравная, была образцом предупредительности и учтивости. Если бы ювелир знал ее раньше, такая разительная перемена, конечно, удивила бы его и не могла бы не возбудить в нем подозрений. Что касается Кадрусса, то он продолжал молча шагать по комнате и, казалось, избегал даже смотреть на гостя.

Когда тот поужинал, Кадрусс пошел открыть дверь.

«Гроза как будто проходит», – сказал он.

Но в эту минуту, словно чтобы показать, что он ошибается, оглушительный раскат грома потряс весь дом; порыв ветра вместе с дождем ворвался в дверь и, потушил лампу. Кадрусс снова запер дверь; его жена угольком из догоравшего камина зажгла свечу.

«Вы, должно быть, устали, – сказала она ювелиру, – я постлала чистые простыни, идите наверх и спите спокойно».

Жоаннес подождал еще немного, чтобы посмотреть, не утихает ли буря, и, убедившись, что гроза и дождь только усиливаются, пожелал хозяевам спокойной ночи и ушел наверх.

Он шел по лестнице над моей головой, и я слышал, как ступеньки скрипели под его ногами.

Карконта проводила его алчным взглядом, тогда как Кадрусс, напротив, стоял к нему спиной и даже не смотрел в его сторону.

Все эти подробности, о которых я вспомнил позже, ничуть меня не поразили, пока все это происходило у меня перед глазами; в общем все, что случилось, было вполне естественно, и, если не считать истории с алмазом, которая показалась мне довольно неправдоподобной, все вытекало одно из другого.

Я смертельно устал, но собирался воспользоваться первой минутой, когда уймется дождь и уляжется буря, а потому решил поспать несколько часов и убраться отсюда среди ночи.

Я слышал, как наверху ювелир поудобнее устраивался на ночь. Вскоре под ним заскрипела кровать; он улегся:

Я чувствовал, что мои глаза слипаются, а так как у меня не возникало ни малейшего подозрения, – то я и не пытался бороться со сном; в последний раз я заглянул в соседнюю комнату. Кадрусс сидел у стола, на деревянной скамейке, которая в деревенских трактирах заменяет стулья; он сидел ко мне спиной, так что я не мог видеть его лица, да и сиди он иначе, я все равно не мог бы его разглядеть, потому что голову он склонил на руки.

Карконта некоторое время молча наблюдала за ним, потом пожала плечами и села напротив него.

В эту минуту потухающее пламя охватило еще не тронутый сухой сук; в темной комнате стало немного светлее. Карконта не сводила глаз с мужа, а так как он сидел все в той же позе, она протянула свои скрюченные пальцы и дотронулась до его лба.

Кадрусс вздрогнул. Мне показалось, что губы Карконты шевелились; но или она говорила слишком тихо, или сон уже притупил мои чувства, – только звук ее голоса не долетал до меня. Глаза мои тоже заволакивались туманом, и я уже не отдавал себе отчета, наяву я все это вижу или во сне. Наконец, веки мои сомкнулись, и я перестал сознавать окружающее.

Я спал глубоким сном, как вдруг меня разбудил выстрел и за ним ужасный крик. Над головой раздались нетвердые шаги, и что-то грузно рухнуло на лестнице, как раз над моей головой.

Я еще не совсем пришел в себя. Мне слышались стоны, потом заглушенные крики, как будто где-то происходила борьба.

Последний крик, протяжнее, чем остальные, сменившийся затем стонами, окончательно вывел меня из оцепенения.

Я приподнялся на локте, открыл глаза, но не мог в темноте ничего разглядеть и дотронулся до своего лба, на который, как мне показалось, падали сквозь доски лестницы частые капли теплого дождя.

За разбудившим меня шумом наступила полная тишина. Я слышал над своей головой мужские шаги; закрипела лестница. Мужчина спустился в нижнюю комнату, подошел к камину и зажег свечу.

Это был Кадрусс; он был очень бледен, и его рубашка была вся в крови.

Затебив свечу, он быстро поднялся по лестнице, и я вновь услышал его быстрые, тревожные шаги.

Через минуту он снова сошел вниз. В руке он держал футляр; удостоверившись, что алмаз лежит внутри, он начал совать его то в один, то в другой карман; затем решив, вероятно, что карман недостаточно надежное место, закатал его в свой красный платок и обернул им шею.

Затем он бросился к шкафу, вытащил оттуда золото и ассигнации, рассовал их в карманы штанов и в карманы куртки, захватил две-три рубашки и выскочил за дверь. Тогда мне все стало ясно; я упрекал себя за случившееся, как будто сам был в этом виноват. Мне показалось, что я слышу стоны; быть может, несчастный ювелир был еще жив; быть может, оказав ему помощь, я мог отчасти загладить зло, которое я не то чтобы совершил, но которому дал свершиться. Я налег спиной на плохо скрепленные доски, отделявшие от нижней комнаты подобие пристройки, где я лежал; доски подались, и я проник в дом.

Я схватил свечу и бросился вверх по лестнице; поперек нее лежало чье-то тело; это был труп Карконты.

Слышанный мною выстрел был сделан по ней; пуля пробила ей шею навывлет, кровь текла из двойной раны и струей била изо рта.

Она была мертва.

Я перешагнул через труп и побежал дальше.

Спальня была в ужасном беспорядке. Часть мебели была опрокинута; простыни, за которые судорожно хватался несчастный ювелир, были разбросаны по комнате; сам он лежал на полу, головой к стене, в луже крови, вытекшей из трех больших ран на груди.

Из четвертой торчала рукоятка огромного кухонного ножа.

Мне под ноги попался второй пистолет, неразряженный, вероятно потому, что порох отсырел.

Я подошел к ювелиру, он был еще жив; от шума моих шагов, а главное от сотрясения пола, он открыл мутные глаза, остановил их на мне, пошевелил губами, словно желая что-то сказать, и испустил дух.

От этого страшного зрелища я почти обезумел; раз я никому уже не мог помочь, мне хотелось только одного: бежать. Я схватился за голову и с криком ужаса выскочил на лестницу.

В нижней комнате оказалось человек шесть таможенных досмотрщиков и два-три жандарма – целый вооруженный отряд.

Меня схватили; я даже не пытался сопротивляться, я больше не владел собой. Я пытался говорить, но издавал только нечленораздельные звуки.

Я увидел, что таможенники и жандармы показывают на меня пальцами; я оглядел себя – я был весь в крови. Тот теплый дождь, который капал на меня сквозь доски лестницы, был кровью Карконты.

Я указал пальцем на то место, где я прятался.

«Что он хочет сказать?» – спросил один из жандармов.

Один из таможенников заглянул туда.

«Он хочет сказать, что прошел оттуда», – ответил он.

И он указал на пролом, через который я в самом деле прошел.

Тогда я понял, что меня принимают за убийцу. Ко мне вернулся голос, ко мне вернулись силы; я вырвался из рук державших меня людей и крикнул:

«Это не я! Не я!»

Два жандарма навели на меня свои карабины.

«Если ты пошевелишься, – сказали они, – тебе конец».

«Но я же вам говорю, – воскликнул я, – что это не я!»

«Все это ты можешь рассказывать судьям в Ниме, – отвечали они. – А пока иди за нами; и наш тебе совет – не сопротивляйся».

Да я и не думал сопротивляться; я был охвачен ужасом, подавлен. На меня надели наручники, привязали к лошадиному хвосту и отвели в Ним.

Оказывается, меня выследил один из таможенников; поблизости от трактира он потерял меня из виду, предположил, что я там проведу ночь, и отправился предупредить своих товари-

щей; они явились сюда как раз, когда грянул выстрел, и захватили меня при таких явных уликах, что я сразу понял, как трудно мне будет доказать свою невиновность.

Тогда все мои усилия свелись к одному: прежде всего я попросил следователя, чтобы он велел разыскать некоего аббата Бузони, заезжавшего в этот самый день в трактир «Гарский мост». Если Кадрусс все выдумал, если этого аббата не существовало – значит, я пропал, разве что поймали бы самого Кадрусса и он бы во всем сознался.

Прошло два месяца, во время которых, должен это сказать к чести моего следователя, были приняты все меры для разыскания аббата. Я уже потерял всякую надежду. Кадрусса не нашли. Меня должны были судить в ближайшую сессию, как вдруг восьмого сентября, то есть через три месяца и пять дней после убийства, в тюрьму явился аббат Бузони, которого я уже и не ждал, и сказал, что слышал, будто один из заключенных хочет поговорить с ним. Он, по его словам, узнал об этом в Марселе и поспешил явиться на мой зов.

Вы можете себе представить, с какой радостью я его принял; я рассказал ему все, что видел и слышал; волнуясь, приступил я к истории с алмазом; против всякого моего ожидания, она оказалась чистой правдой; и, опять-таки против всякого моего ожидания, он вполне поверил всему, что я рассказал.

Я был пленен его кротким милосердием, видел, что ему хорошо известны нравы моей родины, – и тогда в надежде, что, быть может, из этих милосердных уст я получу прощение за единственное свое преступление, я рассказал ему на исповеди, во всех подробностях, что произошло в Отейле. То, что я сделал по сердечному влечению, имело такое же последствие, как если бы я сделал это из расчета: мое сознание в этом первом убийстве, к которому меня ничто не принуждало, убедило его, что я не совершил второго, и он, уходя, велел мне надеяться и обещал сделать все от него зависящее, чтобы убедить судей в моей невиновности.

Я понял, что он занялся мною, когда увидел, что для меня постепенно смягчается тюремный режим, и узнал, что мое дело отложено до следующей сессии.

В этот промежуток времени провидению угодно было, чтобы за границей схватили Кадрусса и доставили во Францию. Он во всем сознался, свалив на свою жену весь умысел преступления и подстрекательство к нему. Его приговорили к пожизненной каторге, а меня освободили.

– И тогда, – сказал Монте-Кристо, – вы явились ко мне с рекомендательным письмом от аббата Бузони.

– Да, ваше сиятельство, он принял во мне живое участие.

«Ваше ремесло контрабандиста погубит вас, – сказал он мне. – Если вы выйдете отсюда, бросьте это».

«Но, отец мой, – спросил я, – как же мне жить и содержать мою несчастную невестку?»

«Один из моих духовных сыновей, – ответил он, – относится ко мне с большим уважением и поручил мне отыскать ему человека, которому он мог бы доверять. Хотите быть этим человеком? Я ему вас рекомендую».

«Отец мой! – воскликнул я. – Как вы добры!»

«Но вы обещаете мне, что я никогда в этом не раскаюсь?»

Я поднял руку, чтобы дать клятву.

«Этого не нужно, – сказал он, – я знаю и люблю корсиканцев; вот вам рекомендация».

И он написал несколько строк, которые я вам передал и на основании которых ваше сиятельство взяли меня к себе на службу. Теперь я могу с гордостью спросить, имели ли когда-нибудь ваше сиятельство причины быть мною недовольны?

– Нет, – отвечал граф, – я с удовольствием признаю, что вы хороший слуга, Бертуччо, хоть вы и недостаточно доверяете мне.

– Я, ваше сиятельство?

– Да, вы. Как это могло случиться, что у вас есть невестка и приемный сын, а вы мне никогда о них не говорили?

– Увы, ваше сиятельство, мне остается поведать вам самую грустную часть моей жизни. Я уехал на Корсику. Вы сами понимаете, что я торопился повидать и утешить мою бедную невестку; но в Рольяно меня ждало несчастье; в моем доме произошло нечто такое ужасное, что об этом и до сих пор еще помнят соседи. Следуя моим советам, моя бедная невестка отказывала Бенедетто, который постоянно требовал денег. Однажды утром он пригрозил ей и исчез на целый день. Бедная Ассунта, любившая этого негодяя, как родного сына, горько плакала. Пришел вечер; она ждала его и не ложилась спать. В одиннадцать часов вечера он

вернулся в сопровождении двух приятелей, обычных сотоварищей его проделок; она хотела обнять его, но они схватили ее, и один из них, – боюсь, что это и был этот проклятый мальчишка, – воскликнул:

«Мы сыграем в пытку, и ей придется сказать, где у нее спрятаны деньги».

Наш сосед Василио уехал в Бастнда, и дома оставалась только его жена. Кроме нее, никто не мог бы увидеть, ни услышать того, что происходило в доме невестки. Двое крепко держали Ассунту, которая не представляла себе возможности такого преступления и ласково улыбалась своим будущим палачам; третий наглухо забаррикадировал двери и окна, потом вернулся к остальным, и все трое, стараясь заглушить крики ужаса, вырывавшиеся у Ассунты при виде этих грозных приготовлений, поднесли ее ногами к пылающему очагу. Они ждали, что это заставит ее указать, где спрятаны наши деньги; но, пока она боролась с ними, вспыхнула ее одежда; тогда они бросили несчастную, боясь, чтобы огонь не перекинулся на них. Вся охваченная пламенем, она бросилась к выходу, но дверь была заперта. Она кинулась к окну; но окно было забито.

И вот соседка услышала ужасные крики: это Ассунта звала на помощь. Потом ее голос стал глуше, крики перешли в стоны. На следующий день, после целой ночи ужаса и тревоги, жена Василио, наконец, решилась выйти из дому, и судебные власти, которым она дала знать, взломали дверь нашего дома. Ассунту нашли полуобгоревшей, но еще живой, шкафы оказались взломаны, деньги исчезли. Что до Бенедетто, то он навсегда исчез из Рольяно; с тех пор я его не видел и даже не слышал о нем.

– Узнав об этом печальном происшествии, – продолжал Бертуччо, – я и отправился к вашему сиятельству. Мне уже не к чему было рассказывать вам ни о Бенедетто, потому что он исчез, ни о моей невестке, потому что она умерла.

– И что вы думали об этом происшествии? – спросил Монте-Кристо.

– Что это была кара за мое преступление, – ответил Бертуччо – О, эти Вильфоры, проклятый род!

– Я то же думаю, – мрачно прошептал граф.

– Теперь, – продолжал Бертуччо, – ваше сиятельство понимает, почему этот дом, где я с тех пор не был, этот сад, где я неожиданно очутился, это место, где я убил человека, могли вызвать во мне мучительное волнение, причину которого вам угодно было узнать; признаюсь, я не уверен, что здесь, у моих ног, в той самой могиле, которую он выкопал для своего ребенка, не лежит господин де Вильфор.

– Что ж, все возможно, – сказал Монте-Кристо, вставая, – даже и то, – добавил он чуть слышно, – что королевский прокурор еще жив. Аббат Бузони хорошо сделал, что прислал вас ко мне. И вы тоже хорошо сделали, что рассказали мне свою историю, потому что теперь я уже не буду дурно о вас думать. А что этот, так неудачно названный, Бенедетто? Вы так и не старались напасть на его след, не пытались узнать, что с ним случилось?

– Никогда. Если бы я даже знал, где он, я не старался бы увидеть его, а бежал бы от него, как от чудовища. Нет, к счастью, я никогда ни от кого ничего о нем не слышал; надеюсь, что его нет в живых.

– Не надейтесь, Бертуччо, – сказал граф. – Злодеи так не умирают: господь охраняет их, чтобы сделать орудием своего отмщения.

– Пусть так, – сказал Бертуччо. – Я только молю бога, чтобы мне не привелось с ним встретиться. Теперь, – продолжал, опуская голову, управляющий, – вы знаете все, ваше сиятельство; на земле вы мой судья, как господь – на небе; не скажете ли вы мне что-нибудь в утешение?

– Да, вы правы, и я могу повторить то, что сказал бы вам аббат Бузони; этот Вильфор, на которого вы подняли руку, заслуживал возмездия за свой поступок с вами, и может быть, еще кое за что. Если Бенедетто жив, то он послужит, как я вам уже сказал, орудием божьей кары, а потом и сам понесет наказание. Вы же, собственно говоря, можете упрекнуть себя только в одном: спросите себя, почему, спасши этого ребенка от смерти, вы не возвратили его матери; вот в чем ваша вина, Бертуччо.

– Да, ваше сиятельство, в этом я виновен, я поступил малодушно. Когда я вернул ребенку жизнь, мне оставалось только, как вы говорите, отдать его матери. Но для этого мне нужно было собрать кое-какие сведения, обратить на себя внимание, может быть, выдать себя. Мне не хотелось умирать, меня привязывали к жизни моя невестка, мое врожденное самолюбие корсиканца, который хочет мстить победоносно и до конца, и, наконец, я просто любил жизнь. Я не так храбр, как мой несчастный брат!

Бертуччо закрыл лицо руками, а Монте-Кристо вперил в него долгий, загадочный взгляд.

Потом, после минутного молчания, которому время и место придавали еще больше торжественности, граф сказал с непривычной для него печалью в голосе:

– Чтобы достойно окончить нашу беседу, последнюю по поводу всех этих событий, Бертуччо, запомните мои слова, которые я часто слышал от аббата Бузони: «От всякой беды есть два лекарства – время и молчание». А теперь я хочу пройтись по саду То, что тягостно для вас, участника ужасных событий, вызовет во мне скорее приятные ощущения и удвоит для меня ценность этого поместья. Видите ли, Бертуччо, деревья милы только тем, что дают тень, а самая тень мила лишь потому, что вызывает грезы и мечты. Вот я приобрел сад, считая, что покупаю лишь огороженное место, – а это огороженное место вдруг оказывается садом, в котором бродят привидения, не предусмотренные контрактом. А я любитель привидений, я никогда не слышал, чтобы мертвецы за шесть тысяч лет наделали столько зла, сколько его делают живые за один день. Возвращайтесь домой, Бертуччо, и спите спокойно. Если в последний час ваш духовник будет к вам не так милосерд, как аббат Бузони, позовите меня, если я еще буду жив, и я найду слова, которые тихо убаюкают вашу душу, когда она будет готовиться в трудный путь, который зовется вечностью.

Бертуччо почтительно склонился перед графом и, тяжело вздохнув, удалился.

Монте-Кристо остался один; он сделал несколько шагов.

– Здесь, около этого платана, могила, куда был положен младенец, – прошептал он, – там – калитка, через которую входили в сад; в том углу – потайная лестница, ведущая в спальню. Не думаю, чтобы требовалось заносить все это в записную книжку, потому что у меня здесь перед глазами, под ногами вокруг – рельефный живой план.

И граф, еще раз обойдя сад, направился к карсте Бертуччо, видя его задумчивость, молча сел рядом с кучером.

Карета покатила в Париж.

В тот же вечер, вернувшись в свой дом на Елисейских Полях, граф Монте-Кристо обошел все помещение, как мог бы это сделать человек, знакомый с ним уже многие годы; и хотя он шел впереди других, он ни разу не ошибся дверью и не направился по такой лестнице или коридору, которые не привели бы его прямо туда, куда он хотел попасть. Али сопровождал его в этом ночном обходе. Граф отдал Бертуччо кое-какие распоряжения, касавшиеся украшения или назначения комнат, и, взглянув на часы, сказал внимательно слушавшему нубийцу:

– Уже половина двенадцатого. Гайде должна скоро приехать. Предупреждены ли французские служанки?

Али показал рукой на половину, предназначенную для прекрасной албанки; она была так тщательно скрыта, что, если завесить дверь ковром, можно было обойти весь дом и не догадаться, что там есть еще гостиная и две жилые комнаты; Али, как мы уже сказали, показал рукой на эту дверь, поднял три пальца левой руки и, положив голову на ладонь этой руки, закрыл глаза, изображая сон.

– Понимаю, – сказал Монте-Кристо, привыкший к такому способу разговора, – все три дожидаются ее и спальне, не так ли?

– Да, – кивнул Али.

– Госпожа будет утомлена сегодня, – продолжал Монте-Кристо, – и, должно быть, сразу захочет лечь; не надо ни о чем с ней разговаривать; служанки француженки должны только приветствовать свою новую госпожу и удалиться; последи, чтобы служанка гречанка не общалась с француженками.

Али поклонился.

Вскоре послышался голос, зовущий привратника; ворота распахнулись, в аллею въехал экипаж и остановился у крыльца.

Граф сошел вниз; дверца кареты была уже открыта; он подал руку молодой девушке, закутанной с головы до ног в шелковую зеленую накидку, сплошь расшитую золотом.

Девушка взяла протянутую ей руку, любовно и почтительно поцеловала ее и произнесла несколько ласковых слов, на которые граф отвечал с нежной серьезностью на том звучном языке, который старик Гомер вложил в уста своих богов.

Затем, предшествуемая Али, несшим розовую восковую свечу, девушка – та самая красавица албанка, что была спутницей Монте-Кристо в Италии, – прошла на свою половину, после чего граф удалился к себе.

В половине первого в доме погасли все огни, и можно было подумать, что все мирно спят.

VIII. Неограниченный кредит

На следующий день, около двух часов пополудни, экипаж, запряженный парой великолепных английских лошадей, остановился у ворот Монте-Кристо. Мужчина в синем фраке с шелковыми пуговицами того же цвета, в белом жилете, пересеченном огромной золотой цепью, и в панталонах орехового цвета, с волосами, настолько черными и так низко спускающимися на лоб, что легко было усомниться в их естественности, тем более что они мало соответствовали глубоким надбровным морщинам, которых они никак не могли скрыть, – словом, мужчина лет пятидесяти пяти, но желавший казаться сорокалетним, выглянул из окна кареты, на дверцах которой была изображена баронская корона, и послал грума спросить у привратника, дома ли граф Монте-Кристо.

В ожидании ответа этот человек с любопытством, граничившим с неделикатностью, рассматривал дом, доступную взорам часть сада и ливрею слуг, мелькавших за оградой. Глаза у него были живые, но скорее хитрые, чем умные. Губы были так тонки, что вместо того, чтобы выдаваться вперед, они западали внутрь; наконец, его широкие и сильно выдающиеся скулы – верный признак коварства, низкий лоб, выпуклый затылок, огромные, отнюдь не аристократические уши, заставили бы всякого физиономиста назвать почти отталкивающим характер этого человека, производившего на непосвященных немалое впечатление своим великолепным выездом, огромным бриллиантом, вдетым вместо запонки в манишку, и красной орденской лентой, тянувшейся от одной петлицы до другой.

Грум постучал в окно привратника и спросил:

– Здесь живет граф Монте-Кристо?

– Да, его сиятельство живет здесь, – отвечал привратник, – но...

Он вопросительно взглянул на Али.

Али сделал отрицательный знак.

– Но?.. – спросил грум.

– Но его сиятельство не принимает, – отвечал привратник.

– В таком случае вот вам карточка моего господина, барона Данглара. Передайте ее графу Монте-Кристо и скажите ему, что по дороге в Палату мой господин заезжал сюда, чтобы иметь честь его видеть.

– Я не имею права разговаривать с его сиятельством, – сказал привратник, – ваше поручение исполнит камердинер.

Грум вернулся к экипажу.

– Ну, что? – спросил Данглар.

Мальчик, пристыженный полученным уроком, передал ответ привратника своему господину.

– Ого, – сказал тот, – видно, важная птица этот приезжий, которого величают его сиятельством, раз с ним имеет право разговаривать только его камердинер; все равно, раз он аккредитован на мой банк, мне придется с ним встретиться, когда ему понадобятся деньги.

И Данглар откинулся в глубь кареты и так, чтобы было слышно через дорогу, крикнул кучеру:

– В Палату депутатов!

Сквозь жалюзи своего флигеля Монте-Кристо, вовремя предупрежденный, видел барона и успел разглядеть его в превосходный бинокль, причем проявил не меньше любопытства, чем сам Данглар, когда тот исследовал дом, сад и ливреи.

– Положительно, – сказал он с отвращением, ввинчивая обратно трубки бинокля в костяную оправу, – положительно этот человек гнусен; как можно увидеть его и не распознать в нем с первого же взгляда змею по плоскому лбу, коршуна по выпуклому черепу и сарыча по острому клюву!

– Али! – крикнул он, потом ударил один раз по медному гонгу. Вошел Али. – Позови Бертуччо, – сказал Монте-Кристо.

В ту же минуту вошел Бертуччо.

– Ваше сиятельство спрашивали меня? – сказал он.

– Да, – отвечал граф. – Видели вы лошадей, которые только что стояли у моих ворот?

– Разумеется, ваше сиятельство, и нахожу их превосходными.

– Каким же образом, – спросил Монте-Кристо нахмурясь, – когда я потребовал, чтобы вы приобрели мне лучшую пару в Париже, в Париже нашлась еще пара, равная моей, и эти лошади не стоят в моей конюшне?

Видя сдвинутые брови графа и слыша его строгий голос, Али опустил голову.

– Ты тут ни при чем, мой добрый Али, – сказал по-арабски граф с такой лаской в голосе и в выражении лица, которой от него трудно было ожидать, – ты ведь ничего не понимаешь в английских лошадях.

Лицо Али снова прояснилось.

– Ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, – лошади, о которых вы говорите, не продавались.

Монте-Кристо пожал плечами.

– Знайте, господин управляющий, нет ничего, что не продавалось бы, когда умеешь предложить нужную цену.

– Господин Данглар заплатил за них шестнадцать тысяч франков, ваше сиятельство.

– Так надо было предложить ему тридцать две тысячи; он банкир, а банкир никогда не упустит случая удвоить свой капитал.

– Ваше сиятельство говорит серьезно? – спросил Бертуччо.

Монте-Кристо посмотрел на управляющего взглядом человека, который удивлен, что ему осмеливаются задавать вопросы.

– Сегодня вечером, – сказал он, – мне надо отдать визит; я хочу, чтобы эти лошади были заложены в мою карету и в повой упряжи.

Бертуччо поклонился и отошел; у двери он остановился.

– В котором часу ваше сиятельство поедет с визитом? – спросил он.

– В пять часов, – ответил Монте-Кристо.

– Я позволю себе заметить, ваше сиятельство, что сейчас уже два часа, – нерешительно сказал управляющий.

– Знаю, – коротко ответил Монте-Кристо.

Потом он повернулся к Али:

– Проведи всех лошадей перед госпожой, пусть она выберет ту запряжку, которая ей понравится; узнай, желает ли она обедать вместе со мной: тогда пусть обед подадут у нее в комнатах. Ступай и пришли ко мне камердинера.

Едва Али успел уйти, как вошел камердинер.

– Батистен, – сказал граф, – вы служите у меня уже год; этот срок я обычно назначаю для испытания своих слуг; вы мне подходите.

Батистен поклонился.

– Остается только узнать, подхожу ли я вам.

– О, ваше сиятельство!

– Дослушайте до конца, – продолжал граф. – Вы получаете полторы тысячи франков в год, то есть содержание хорошего, храброго офицера, каждый день рискующего своей жизнью; вы получаете стол, которому позавидовали бы многие начальники канцелярий – несчастные служаки, бесконечно больше обремененные работой, чем вы. Вы слуга, но вы сами имеете слуг, которые заботятся о вашем белье и одежде. Помимо полутора тысяч франков жалованья, вы, делая покупки для моего туалета, обкрадываете меня еще примерно на полторы тысячи франков в год.

– О, ваше сиятельство!

– Я не жалею, Батистен, это скромно; однако я желал бы, чтобы этой суммы вы не превышали. Следовательно, вы нигде не найдете места лучше того, на которое вам посчастливилось попасть. Я никогда не бью своих слуг, никогда не браню их, никогда не сержусь, всегда прощаю ошибку и никогда не прощаю небрежности или забывчивости. Мои распоряжения кратки, но ясны и точны; мне приятнее повторить их два и даже три раза, чем видеть их непонятыми. Я достаточно богат, чтобы знать все, что меня интересует, а я очень любопытен, предупреждаю вас. Поэтому, если я когда-нибудь узнаю, что вы обо мне говорили, – все равно, хорошо или дурно, – обсуждали мои поступки, следили за моим поведением, вы в ту же минуту будете уволены. Я предупреждаю своих слуг только один раз; вы предупреждены, ступайте!

Батистен поклонился и сделал несколько шагов к двери.

– Кстати, – продолжал граф, – я забыл вам сказать, что ежегодно я кладу известную сумму на имя моих слуг. Те, кого я увольняю, естественно, теряют эти деньги в пользу остальных, которые получают их после моей смерти. Вы служите у меня уже год; начало вашего состояния положено; от вас зависит увеличить его.

Эта речь, произнесенная при Али, который оставался невозмутим, ибо ни слова не понимал по-французски, произвела на Батистена впечатление, понятное всякому, кто знаком с психологией французского слуги.

– Я постараюсь согласоваться во всем с желаниями вашею сиятельства, – сказал он. – Притом же я буду руководствоваться примером господина Али.

– Ни в коем случае, – ледяным тоном возразил граф, – у Али, при всех его достоинствах, много недостатков; не берите с него примера, ибо Али – исключение; жалованья он не получает; это не слуга, это мой раб, моя собака: если он нарушит свой долг, я его не прогону, я его убью.

Батистен вытаращил глаза.

– Вы не верите? – спросил Монте-Кристо.

И он повторил Али то, что перед тем сказал по-французски Батистену.

Али выслушал его, улыбнулся, подошел к своему господину, стал на одно колено и почтительно поцеловал ему.

Этот наглядный урок окончательно убедил Батистена.

Граф сделал ему знак удалиться. Али последовал за своим господином. Они прошли в кабинет и долго там беседовали.

В пять часов граф три раза ударил по звонку. Одним звонком он вызывал Али, двумя Батистена, тремя Бертуччо.

Управляющий явился.

– Лошадей! – сказал Монте-Кристо.

– Лошади поданы, – отвечал Бертуччо. – Должен ли я сопровождать ваше сиятельство?

– Нет, только кучер, Батистен и Али.

Граф вышел на крыльцо и увидел свой экипаж, запряженный той самой парой, которой он любовался утром, когда на ней приезжал Данглар.

Проходя мимо лошадей, он окинул их взглядом.

– Они в самом деле великолепны, – сказал он, – вы хорошо сделали, что купили их; правда, это было сделано немного поздно.

– Ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, – мне стоило большого труда добыть их, и они обошлись очень дорого.

Граф пожал плечами.

– Разве лошади стали хуже от этого?

– Если ваше сиятельство довольны, – сказал Бертуччо, – то все хорошо. Куда прикажете ехать?

– На улицу Шоссе д'Антен, к барону Данглару.

– Да, вот что, Бертуччо, – добавил граф. – Мне нужен участок на морском берегу, скажем в Нормандии, между Гавром и Булонью. Я, как видите, не стесню вас в выборе. Необходимо, чтобы на том участке, который вы приобретете, была маленькая гавань, бухточка или залив, где бы мог стоять мой корвет; его осадка всего пятнадцать футов. Судно должно быть готово выйти в море в любое время дня и ночи. Вы наведете справки у всех нотариусов относительно участка, отвечающего этим условиям; когда вы соберете сведения, вы отправитесь посмотреть и, если одобрите, купите на свое имя. Корвет, вероятно, уже на пути в Фекан?

– В тот самый вечер, когда мы покидали Марсель, я видел, как он вышел в море.

– А яхта?

– Яхте отдан приказ стоять в Мартиге.

– Хорошо! Вы время от времени будете сноситься с обоими капитанами, чтобы они не засыпали.

– А как с пароходом?

– Который стоит в Шалопе?

– Да.

– Те же распоряжения, что и относительно обоих парусников.

– Слушаю.

– Как только вы купите участок, позаботьтесь, чтобы на северной дороге и на южной были приготовлены подставы через каждые десять лье.

– Ваше сиятельство может на меня положиться.

Граф кивнул, вскочил в карету, великолепные кони рванулись и остановились только у дома банкира.

Данглар председательствовал на заседании железнодорожной комиссии, когда ему доложили о визите графа Монте-Кристо. Впрочем, заседание уже подходило к концу.

При имени графа Данглар поднялся с места.

– Господа, – сказал он, обращаясь к своим коллегам, из которых иные были почтенные члены Верхней или Нижней палаты, – простите, что я принужден вас покинуть; но представьте, фирма Томсон и Френч в Риме направила ко мне некоего графа Монте-Кристо, открыв ему неограниченный кредит. Такой нелепой шутки еще никогда не позволяли себе мои корреспонденты. Разумеется, меня обуюло любопытство; сегодня утром я заезжал к этому квазиграфу. Будь он настоящим графом, вы сами понимаете, он не был бы так богат. Они не соизволили меня принять. Что вы на это скажете? Ведь только высочайшие особы или хорошенькие женщины обращаются с людьми так, как этот господин Монте-Кристо! Впрочем, дом его на Елисейских Полях в самом деле принадлежит ему и, кажется, очень недурен. Но неограниченный кредит, – продолжал Данглар, улыбаясь своей гнусной улыбкой, – сильно повышает требования того банкира, у которого он открыт. Так что мне не терпится посмотреть на этого господина. Повидимому, меня мистифицируют. Но они там не знают, с кем имеют дело; еще посмотрим, кто посмеется последним.

Произнеся эти слова с такой выразительностью, что даже ноздри его раздулись, господин барон покинул своих гостей и перешел в белую с золотом гостиную, славившуюся на все Шоссе д'Антен. Туда-то он и приказал провести посетителя, чтобы сразу же поразить его.

Граф стоял, рассматривая копии с полотен Альбани и Фаторе, проданные банкиру за оригиналы, но и будучи только копиями, они никак не подходили к аляповатым золотым завитушкам, украшавшим потолок.

Услышав шаги Данглара, граф обернулся.

Данглар слегка кивнул и жестом пригласил графа сесть в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, затканым золотом. Граф сел.

– Я имею честь разговаривать с господином де Монте-Кристо?

– А я, – отвечал граф, – с господином бароном Дангларом, кавалером Почетного легиона, членом Палаты депутатов?

Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочитал на визитной карточке барона.

Данглар понял насмешку и закусил губу.

– Прошу извинить меня, – сказал он, – если я не назвал вас сразу тем титулом, под каким мне доложили о вас; но, как вы знаете, мы живем при демократическом правительстве, и я являюсь представителем народных интересов.

– Так что, сохранив привычку называть себя бароном, – отвечал Монте-Кристо, – вы отвыкли именовать других графами.

– О, я и сам к этому равнодушен, – небрежно отвечал Данглар, – мне дали титул барона и сделали кавалером Почетного легиона во внимание к некоторым моим заслугам, но...

– Но вы отказались от своих титулов, как некогда Монморанси и Лафайет? Пример, достойный подражания.

– Не совсем, конечно, – возразил смущенный Данглар, – вы понимаете, из-за слуг...

– Да, ваши слуги называют вас «ваша милость»; для журналистов вы – милостивый государь, а для ваших избирателей – гражданин. Эти оттенки очень в ходу при конституционном строе. Я прекрасно вас понимаю.

Данглар поджал губы; он убедился, что на этой почве Монте-Кристо сильнее, и решил вернуться в более привычную область.

– Граф, – сказал он с поклоном, – я получил уведомление от банкирского дома Томсон и Френч.

– Очень приятно, барон. Разрешите мне титуловать вас так, как титулуют вас ваши слуги; это дурная привычка, усвоенная в странах, где еще существуют бароны именно потому, что там не делают новых. Итак, повторяю, мне это очень приятно, – это меня избавляет от необходимости представляться самому, что всегда довольно неудобно. Стало быть, вы получили уведомление?

– Да, – сказал Данглар, – но должен признаться, что я не вполне уяснил себе его смысл.

– Да что вы!

– И я даже имел честь заезжать к вам, чтобы попросить у вас некоторых разъяснений.

– Пожалуйста, я вас слушаю.

– Уведомление, – сказал Данглар, – кажется, при мне, – он пошарил в кармане, – да, вот оно; это уведомление открывает графу Монте-Кристо неограниченный кредит в моем банке.

– В чем же дело, барон? Что тут для вас неясно?

– Ничего; только слово «неограниченный»...

– Разве это неправильно выражено? Вы понимаете, это пишут англичане...

– Нет, пет, в отношении грамматики все правильно, но в отношении бухгалтерии дело не так просто.

– Разве банкирский дом Томсон и Френч, по вашему мнению, не совсем надежен, барон? – спросил насколько мог наивнее Монте-Кристо. – Черт возьми, это было бы весьма неприятно, у меня там лежат кое-какие деньги.

– Нет, он вполне надежен, – отвечал Данглар почти насмешливо, – по самый смысл слова «неограниченный», в приложении к финансам, настолько туманен...

– Что не имеет границ, да? – сказал Монте-Кристо.

– Я именно это и хотел сказать. Все неясное возбуждает сомнения, а в сомнениях, говорит мудрец, воздержись.

– Из чего следует, – продолжал Монте-Кристо, – что если банкирский дом Томсон и Френч поступает легкомысленно, то фирма Данглар не склонна следовать его примеру.

– То есть?

– Да очень просто; господа Томсон и Френч не связаны размером суммы; а для господина Данглара существует предел; он человек мудрый, как он только что сказал.

– Господин граф, – гордо отвечал банкир, – никто моей кассы еще не считал.

– В таком случае, – холодно возразил Монте-Кристо, – по-видимому, я буду первый, кому это предстоит сделать.

– Почему вы так думаете?

– Потому что разъяснения, которых вы от меня требуете, очень похожи на колебания.

Данглар нахмурился; уже второй раз этот человек побивал его, и теперь уже на такой почве, где он считал себя дома. Его насмешливая учтивость была деланной и граничила с полной своей противоположностью, то есть с дерзостью. Монте-Кристо, напротив, улыбался самым приветливым образом и по желанию принимал наивный вид, дававший ему немалые преимущества.

– Словом, сударь, – сказал Данглар, помолчав, – я хотел бы, чтобы вы меня поняли, и прошу вас назначить ту сумму, которую вы желали бы от меня получить.

– Но, сударь, – сказал Монте-Кристо, решивший в этом споре не уступать ни пяди, – если я просил о неограниченном кредите, то это именно потому, что я не могу знать заранее, какие суммы мне могут понадобиться.

Банкиру показалось, что наступила минута его торжества; с высокомерной улыбкой он откинулся в кресле.

– Говорите смело, – сказал он, – вы сможете убедиться, что наличность фирмы Данглар, хоть и ограниченная, способна удовлетворить самые высокие требования, и если бы даже вы спросили миллион...

– Простите? – сказал Монте-Кристо.

– Я говорю миллион, – повторил Данглар с глупейшим апломбом.

– А на что мне миллион? – сказал граф. – Боже милостивый! Если бы мне нужен был только миллион, то я из-за такого пустяка не стал бы и говорить о кредите. Миллион! Да у меня с собой всегда есть миллион в бумажнике или в дорожном несессере.

Монте-Кристо вынул из маленькой книжечки, где лежали его визитные карточки, две облигации казначейства на предъявителя, по пятьсот тысяч франков каждая.

Такого человека, как Данглар, надо было именно хватить обухом по голове, а не уколоть. Удар обухом возымел свое действие: банкир покачнулся и почувствовал головокружение; он уставился на Монте-Кристо бессмысленным взглядом, и зрачки его дико расширились.

– Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – признайтесь, что вы просто не доверяете банкирскому дому Томсон и Френч. Ну что же, я предвидел это, и хоть и мало смысла в делах, но все же принял некоторые меры предосторожности; вот тут еще два таких же уведомления, как то, которое адресовано вам; одно от венского банкирского дома Арштейн и Эсколес к барону

Ротшильд, а другое от лондонского банкирского дома Беринг к господину Лаффит. Вам стоит только сказать слово, и я избавлю вас от всяких забот, обратившись в один из этих банков.

Это решило исход: Данглар был побежден. Он с заметным трепетом развернул венское и лондонское уведомление, брезгливо протянутые ему графом, и проверил подлинность подписей с тщательностью, которая могла бы показаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он не отнес ее за счет растерянности банкира.

– Да, эти три подписи стоят многих миллионов, – сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущество золота, олицетворенное в сидящем перед ним человеке. – Три неограниченных кредита. Простите, граф, но и перестав сомневаться, можно все-таки остаться изумленным.

– О, ваш банкирский дом ничем не удивишь, – сказал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо. – Так, значит, вы могли бы прислать мне некоторую сумму денег?

– Назовите ее, граф, я к вашим услугам.

– Ну что ж, – проговорил Монте-Кристо, – раз мы пришли к соглашению, – а ведь мы пришли к соглашению, верно?

Данглар кивнул.

– И вы уже не сомневаетесь? – продолжал Монте-Кристо.

– Что вы, граф, – воскликнул банкир. – Я никогда и не сомневался.

– Нет, вы только хотели получить доказательства, не более. Итак, – повторил граф, – раз мы пришли к соглашению, раз у вас больше нет никаких сомнений, назначим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на первый год: скажем, шесть миллионов.

– Шесть миллионов? Отлично! – произнес, задыхаясь, Данглар.

– Если мне понадобится больше, – небрежно продолжал Монте-Кристо, – мы назначим больше; но я не намерен оставаться во Франции больше года и не думаю, чтобы за этот год я превысил эту цифру... ну, там видно будет... Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить мне завтра пятьсот тысяч франков, я буду дома до полудня; а, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю своему управляющему расписку.

– Деньги будут у вас завтра в десять часов утра, граф, – отвечал Данглар. – Как вы желаете, золотом, бумажками или серебром?

– Попролам золотом и бумажками, пожалуйста.

И граф поднялся.

– Должен вам признаться, граф, – сказал Данглар, – я считал, что точно осведомлен о всех крупных состояниях Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень значительное, было мне совершенно неизвестно; оно недавнего происхождения?

– Нет, сударь, – возразил Монте-Кристо, – напротив того, оно происхождения очень старого; это было нечто вроде семейного клада, который запрещено было трогать, так что накопившиеся проценты утроили капитал; назначенный завещателем срок истек всего лишь несколько лет тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени; естественно, что вы ничего о нем не знаете; впрочем, скоро вы с ним познакомитесь ближе.

При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыбкой, что наводила такой ужас на Франца д'Эпинс.

– С вашими вкусами и намерениями, – продолжал Данглар, – вы в нашей столице заведете такую роскошь, что затмите всех пас, жалких миллионеров; но так как вы, по-видимому, любитель искусств, – помнится, когда я вошел, вы рассматривали мои картины, – то все-таки разрешите показать вам мою галерею: все старые картины знаменитых мастеров, с ручательством за подлинность; я не люблю новых.

– Вы совершенно правы, у них у всех один большой недостаток: они еще не успели сделаться старыми.

– Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена, Бартоломи, Кановы – все иностранных скульпторов. Как видите, я не поклонник французских мастеров.

– Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь они ваши соотечественники.

– Но все это мы отложим до того времени, когда познакомимся ближе; сегодня я удовольствуюсь тем, что представляю вас, если позволите, баронессе Данглар; простите мою поспешность, граф, но такой клиент, как вы, становится почти членом семейства.

Монте-Кристо поклонился в знак того, что принимает лестное предложение финансиста.

Данглар позвонил; вошел лакей в пышной ливрее.

– Баронесса у себя? – спросил Данглар.

– Да, господин барон.

– Она одна?

– Нет, у баронессы гости.

– Надеюсь, граф, не будет нескромностью, если я представлю вас в присутствии друзей? Вы не собираетесь сохранять инкогнито?

– Нет, барон, – сказал с улыбкой Монте-Кристо, – я не чувствую за собой права на это.

– А кто у баронессы? Господин Дебрэ? – спросил простодушно Данглар, что заставило внутренне улыбнуться Монте-Кристо, уже осведомленного о прозрачных тайнах семейной жизни Данглара.

– Да, господин барон.

Данглар кивнул. Потом обратился к Монте-Кристо.

– Господин Люсьен Дебрэ, – сказал он, – это наш старый друг, личный секретарь министра внутренних дел; что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглашалась на неравный брак, потому что она очень старинного рода: урожденная де Сервьер, а по первому браку – вдова маркиза де Наргон.

– Я не имею чести быть знакомым с баронессой Данглар; но я уже встречался с господином Люсьеном Дебрэ.

– Вот как! – сказал Данглар. – Где же это?

– У господина де Морсер.

– Вы знакомы с виконтом?

– Мы встречались с ним в Риме во время карнавала.

– Ах, да, – сказал Данглар, – я что-то слышал о каком-то необыкновенном приключении с разбойниками и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудесным образом спасся. Он как будто рассказывал об этом моей жене и дочери, когда вернулся из Италии.

– Баронесса просит вас пожаловать, – доложил лакей.

– Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу, – сказал с поклоном Данглар.

– Следую за вами, – ответил Монте-Кристо.

IX. Серая в яблоках пара

Барон в сопровождении графа прошел длинный ряд комнат, отличавшихся тяжелой роскошью и пышной безвкусицей и дошел до будуара г-жи Данглар, небольшой восьмиугольной комнаты, стены которой были обтянуты розовым атласом и задрапированы индийской кисеей. Здесь стояли старинные золоченые кресла, обитые старинной парчой; над дверьми были нарисованы пастушеские сцены в манере Буше; две прелестных пастели в форме медальона гармонировали с остальной обстановкой и придавали этой маленькой комнате, единственной во всем доме, некоторое своеобразие; правда, ей посчастливилось не попасть в общий план, выработанный Дангларом и его архитектором, одной из самых больших знаменитостей Империи, – ее убранством занималась сама баронесса и Люсьен Дебрэ. Поэтому Данглар, большой поклонник старины, как ее понимали во времена Директории, относился весьма пренебрежительно к этому кокетливому уголку, где его, впрочем, принимали только с тем условием, чтобы он оправдал свое присутствие, приведя кого-нибудь; так что на самом деле не Данглар представлял других, а наоборот, его принимали лучше или хуже, смотря по тому, насколько наружность гостя была приятна или неприятна баронессе.

Госпожа Данглар, красота которой еще заслуживала того, чтобы о ней говорили, хотя ей было уже тридцать шесть лет, сидела за роялем маркетри, маленьким чудом искусства, между тем как Люсьен Дебрэ у рабочего столика перелистывал альбом.

Еще до прихода графа Люсьен успел достаточно рассказать о нем баронессе. Читатели уже знают, какое сильное впечатление произвел Монте-Кристо за завтраком у Альбера на его гостей; и несмотря на то, что Дебрэ трудно было чем-нибудь поразить, это впечатление у него еще не изгладилось, что и отразилось на сведениях, сообщенных им баронессе. Таким образом, любопытство г-жи Данглар, возбужденное прежними рассказами Морсера и новыми подробностями, услышанными от Люсьена, было доведено до крайности. И рояль и альбом были всего лишь светской уловкой, помогающей скрыть подлинное волнение. Вследствие всего этого баронесса встретила г-на Данглара улыбкой, что было у нее не в обычае. Графу, в ответ на его поклон, был сделан церемонный, но вместе с тем грациозный реверанс.

Со своей стороны, Люсьен приветствовал графа, как недавнею знакомого, а Данглара дружески.

– Баронесса, – сказал Данглар, – разрешите представить вам графа Монте-Кристо, которого усиленно рекомендуют мне мои римские корреспонденты; я лично могу добавить только одно, по это сразу же сделает его кумиром всех наших прекрасных дам: он приехал в Париж с намерением пробыть здесь год и за это время истратит шесть миллионов; это сулит нам целую серию балов, обедов и ужинов; причем, надеюсь, граф не забудет и нас, так же как и мы его не забудем в случае какого-нибудь маленького торжества в нашем доме.

Хотя это представление и отдавало грубой лестью, но как редко случается встретить человека, приехавшего в Париж с целью истратить в один год княжеское состояние, Что г-жа Данглар окинула графа взглядом, не лишенным некоторого интереса.

– И вы приехали, граф... – спросила она.

– Вчера утром, баронесса.

– И приехали, согласно вашей привычке, о которой я уже слышала, с того края света?

– На этот раз всего-навсего из Кадикса.

– Но вы приехали в самое плохое время года. Летом Париж отвратителен: нет ни балов, ни раутов, ни праздников. Итальянская опера уехала в Лондон, Французская опера кочует бог знает где; а Французского театра, как вам известно, вообще больше нет. Для развлечения у нас остались только плохонькие скачки на Марсовом Поле и в Сатори. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать в скачках?

– Я буду делать все, что принято в Париже, – сказал Монте-Кристо, – если мне посчастливится встретить кого-нибудь, кто преподаст мне необходимые знания о французских обычаях.

– Вы любите лошадей?

– Я провел часть жизни на Востоке, баронесса, а восточные народы ценят только две вещи на свете: благородство лошадей и женскую красоту.

– Вам следовало бы, любезности ради, назвать женщин первыми.

– Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выражал желание иметь наставника, который мог бы обучить меня французским обычаям.

В эту минуту вошла горничная баронессы Данглар л, подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько слов.

Госпожа Данглар побледнела.

– Не может быть! – сказала она.

– Это истинная правда, сударыня, – возразила горничная.

Госпожа Данглар обернулась к мужу.

– Неужели это правда?

– Что именно? – спросил видимо взволнованный Данглар.

– То, что мне сказала горничная...

– А что она вам сказала?

– Она говорит, что когда мой кучер пошел закладывать моих лошадей, их в конюшне не оказалось; что это значит, позвольте вас спросить?

– Сударыня, – сказал Данглар, – выслушайте меня.

– Да, я вас слушаю, сударь, потому что мне любопытно узнать, что вы мне скажете; пусть эти господа рассудят нас, а я начну с того, что расскажу им все по порядку. Господа, – продолжала баронесса, – у барона Данглара в конюшне стоят десять лошадей; из этих десяти лошадей две принадлежат мне, дивные лошади, лучшая пара в Париже; да вы их знаете, Дебрэ, мои серые в яблоках. И вот в тот самый день, как госпожа де Вильфор просит меня предоставить ей мой выезд, когда я уже обещала ей его па завтра для прогулки в Булонском лесу, эта пара исчезает! Господину Данглару, очевидно, представился случай нажить на них несколько тысяч франков, и он их продал. Боже, что за отвратительные люди эти торгаши!

– Сударыня, – отвечал Данглар, – лошади были слишком резвы, ведь это были четырехлетки, и я вечно дрожал за вас.

– Вы отлично знаете, – сказала баронесса, – что у меня уже месяц служит лучший кучер Парижа, если только вы его не продали вместе с лошадьми.

– Мой друг, я вам найду такую же пару, даже еще лучше, если это возможно; но лошадей смирных, спокойных, которые не будут внушать мне такого страха, как эти.

Баронесса с глубоким презрением пожала плечами.

Данглар сделал вид, что не заметил этого жеста, задевающего его супружескую честь, и обратился к Монте-Кристо.

– Право, граф, я сожалею, что не познакомился с вами раньше, – сказал он, ведь вы сейчас устраиваетесь?

– Конечно, – сказал граф.

– Я бы вам их предложил. Представьте себе, что я продал их за бесценок; но, как я уже сказал, я рад был избавиться от них; такие лошади годятся только для молодого человека.

– Я вам очень благодарен, – возразил граф, – я приобрел сегодня довольно сносную пару, и недорого. Да вот, посмотрите, господин Дебрэ, вы, кажется, любитель?

В то время как Дебрэ направлялся к окну, Данглар подошел к жене.

– Понимаете, – сказал он ей шепотом, – мне предложили за эту пару сумасшедшую цену. Не знаю, кто этот решившийся разориться безумец, который послал ко мне сегодня своего управляющего, но я нажил на ней шестнадцать тысяч франков; не сердитесь, я дам вам из них четыре тысячи и две тысячи Эжени.

Госпожа Данглар кинула на мужа уничтожающий взгляд.

– Господи боже! – воскликнул Дебрэ.

– Что такое? – спросила баронесса.

– Нет, я не ошибаюсь, это ваша пара, ваши лошади запряжены в карету графа.

– Мои серые в яблоках! – воскликнула г-жа Данглар.

И она подбежала к окну.

– В самом деле это они, – сказала она.

Данглар разинул рот.

– Не может быть! – с деланным изумлением сказал Монте-Кристо.

– Невероятно! – пробормотал банкир.

Баронесса шепнула два слова Дебрэ, и тот подошел к Монте-Кристо.

– Баронесса просит вас сказать, сколько ее муж взял с вас за ее выезд?

– Право, не знаю, – сказал граф, – это мой управляющий сделал мне сюрприз, и... он, кажется, обошелся мне тысяч в тридцать.

Дебрэ пошел передать этот ответ баронессе.

Данглар был так бледен и расстроен, что граф сделал вид, что жалеет его.

– Вот видите, – сказал он ему, – до чего женщины неблагодарны: ваша предупредительность нисколько не тронула баронессу; неблагодарны – не то слово, следовало бы сказать – безумны. Но что поделаешь! Все, что опасно, привлекает; поверьте, любезный барон, проще всего – предоставить им поступать, как им вздумается; если они разобьют себе голову, им по крайней мере придется пенять только на себя.

Данглар ничего не ответил; он предчувствовал, что в недалеком будущем его ждет жестокая сцена: брови баронессы уже сдвинулись и, подобно челу Юпитера Громовержца, предвещали грозу. Дебрэ, чувствуя, что она надвигается, сослался на дела и ушел. Монте-Кристо, не желая повредить положению, которое он рассчитывал занять, решил не оставаться дольше, откланялся г-же Данглар и удалился, предоставив барона гневу его жены.

«Отлично! – думал, уходя, Монте-Кристо. – Произошло именно то, чего я хотел; теперь в моей власти восстановить семейный мир и овладеть зарас сердцем мужа и сердцем жены. Какая удача! Однако, – прибавил он про себя, – я не был представлен мадемуазель Эжени Данглар, с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Ничего, – продолжал он со своей обычной улыбкой, – мы в Париже, и время терпит... Это от нас не уйдет!...»

С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой.

Два часа спустя г-жа Данглар получила от графа Монте-Кристо очаровательное письмо: он писал, что, не желая начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать красивую женщину, он умоляет баронессу принять от него обратно лошадей.

Они были в той же упряжи, в какой она их видела днем, только в каждую из розеток, надетых им на уши, граф велел вставить по алмазу.

Данглар тоже получил письмо. Граф просил его позволить баронессе исполнить этот каприз миллионера и простить ему восточную манеру, с которой он возвращает лошадей.

Вечером Монте-Кристо уехал в Отейль в сопровождении Али.

На следующий день, около трех часов дня, вызванный звонком Али вошел в кабинет графа.

– Али, – сказал ему граф, – ты мне часто говорил, что ловко бросаешь лассо.

Али кивнул головой и горделиво выпрямился.

– Отлично!.. Так что при помощи лассо ты сумел бы остановить быка?

Али снова кивнул.

– И тигра?

Али кивнул.

– И льва?

Али сделал жест человека, кидающего лассо, и изобразил сдавленное рычание.

– Да, я понимаю, – сказал Монте-Кристо, – ты охотился на львов.

Али гордо кивнул головой.

– А сумеешь ты остановить взбесившихся лошадей?

Али улыбнулся.

– Так слушай, – сказал Монте-Кристо. – Скоро мимо нас промчится экипаж с двумя взбесившимися лошадьми, серыми в яблоках, теми самыми, которые у меня были вчера. Пусть тебя раздавит, но ты должен остановить экипаж моих ворот.

Али вышел на улицу и провел у ворот черту поперек мостовой, потом вернулся в дом и показал черту графу, следившему за ним глазами.

Граф тихонько похлопал его по плечу; этим он обычно выражал Али свою благодарность. После этого нубиец снова вышел из дому, уселся на угловой тумбе и закурил трубку, между тем как Монте-Кристо ушел к себе, не заботясь больше ни о чем.

Однако к пяти часам, когда граф поджидал экипаж, в его поведении стали заметны легкие признаки нетерпения; он ходил взад и вперед по комнате, окна которой выходили на улицу, временами прислушиваясь и подходя к окну, из которого ему был виден Али, выпускавший клубы дыма с размеренностью, указывавшей, что нубиец всецело поглощен этим важным занятием.

Вдруг послышался отдаленный стук колес, он приближался с быстротой молнии; потом показалась коляска, кучер которой тщетно старался сдерживать взмыленных лошадей, мчавшихся бешеным галопом.

В коляске сидели молодая женщина и ребенок лет семи; они тесно прижались друг к другу и от безмерного ужаса потеряли даже способность кричать; коляска трещала; наскочи колесо на камень или зацепись за дерево, она, несомненно, разбилась бы вдребезги. Она неслась посреди мостовой, и со всех сторон раздавались крики ужаса.

Тогда Али откладывает в сторону свой чубук, вынимает из кармана лассо, кидает его и тройным кольцом охватывает передние ноги левой лошади; она тащит его за собой еще несколько шагов, потом, опутанная лассо, падает, ломает дышло и мешает той лошади, что осталась на ногах, двинуться дальше. Кучер воспользовался этой задержкой и прыгнул с козел; но Али уже зажал своими железными пальцами ноздри второй лошади, и она, заржав от боли, судорожно дергаясь, повалилась рядом с левой.

На все это потребовалось не больше времени, чем требуется пуле, чтобы попасть в цель.

Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы из дома, перед которым все это произошло, успел выскочить мужчина в сопровождении нескольких слуг. Едва кучер распахнул дверцу, как он вынес из коляски даму, которая одной рукой еще цеплялась за подушку, а другой прижимала к груди потерявшего сознание сына. Монте-Кристо понес обоих в гостиную и положил на диван.

– Вам больше нечего бояться, сударыня, – сказал он, – вы спасены.

Женщина пришла в себя и вместо ответа указала ему глазами на сына; взгляд ее умолял красноречивее всяких слов.

В самом деле, ребенок все еще был в обмороке.

– Понимаю, сударыня, – сказал граф, осматривая ребенка, – но не беспокойтесь, с ним ничего не случилось, это просто от страха.

– Ради бога, – воскликнула мать, – может быть, вы только успокаиваете меня? Смотрите, как он бледен! Мальчик мой!! Эдуард! Откликнись! Скорее пошлите за доктором. Я все отдам, чтобы спасти моего сына!

Монте-Кристо сделал рукою знак, пытаясь ее успокоить, затем открыл какой-то ящичек, достал инкрустированный золотом флакон из богемского хрусталя, наполненный красной, как кровь, жидкостью, и дал упасть одной капле на губы ребенка.

Мальчик, все еще бледный, тотчас же открыл глаза.

Видя это, мать чуть не обезумела от радости.

– Да где же я? – воскликнула она. – И кому я обязана этим счастьем после такого ужаса?

– Вы находитесь в доме человека, который счастлив, что мог избавить вас от горя, – ответил Монте-Кристо.

– О, проклятое любопытство! – сказала дама. – Весь Париж говорил о великолепных лошадях госпожи Данглар, и я была так безумна, что захотела покататься на них.

– Как? – воскликнул граф с виртуозно разыгранным изумлением. – Разве это лошади баронессы?

– Да, сударь; вы знакомы с ней?

– С госпожой Данглар?.. Я имею честь быть с ней знакомым, и я вдвойне рад, что вы избежали опасности, которой вы подвергались из-за этих лошадей, потому что вы могли бы винить в несчастье меня; этих лошадей я вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня.

– Так, значит, вы граф Монте-Кристо, о котором так много говорила Эрмина?

– Да, сударыня, – ответил граф.

– А меня зовут Элоиза де Вильфор.

Граф поклонился с видом человека, которому называют совершенно незнакомое имя.

– Как благодарен вам будет господин де Вильфор! – продолжала Элоиза. – Ведь вы спасли нам обоим жизнь; вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый слуга, мы бы оба погибли.

– Сударыня, мне страшно подумать, какой опасности вы подвергались.

– Но, я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить достойным образом самоотверженность этого человека?

– Нет, прошу вас, – отвечал Монте-Кристо, – не портите мне Али ни похвалами, ни наградами; я не хочу приучать его к этому. Али мой раб; спасая вам жизнь, он тем самым служит мне, а служить мне – его долг.

– Но он рисковал жизнью! – возразила г-жа де Вильфор, подавленная повелительным тоном.

– Эту жизнь я ему спас, – отвечал Монте-Кристо, – следовательно, она принадлежит мне.

Госпожа де Вильфор замолчала; быть может, она задумалась о том, почему этот человек с первого же взгляда производил такое сильное впечатление на окружающих.

Тем временем граф рассматривал ребенка, которого мать покрывала поцелуями. Он был маленький и хрупкий, с белой кожей, какая бывает у рыжеволосых детей; а между тем его выпуклый лоб закрывали густые черные волосы, не поддающиеся завивке, и, обрамляя его лицо, спускались до плеч, оттеняя живость взгляда, в котором светились затаенная озороватость и капризность; у него был большой рот с тонкими губами, которые только слегка порозовели. Этому восьмилетнему ребенку можно было по выражению его лица дать по крайней мере двенадцать лет. Едва придя в себя, он резким движением вырвался из объятий матери и побежал открыть ящик, из которого граф достал эликсир; затем, ни у кого не спросив, как ребенок, привыкший исполнять все свои прихоти, он начал откупоривать флаконы.

– Не трогай этого, дружок, – поспешно сказал граф, – некоторые из этих жидкостей опасно не только пить, но даже и нюхать.

Госпожа де Вильфор побледнела и отвела руку сына, притянув его к себе; но, успокоившись, она всё же кинула на ящик быстрый, но выразительный взгляд, на лету перехваченный графом.

В эту минуту вошел Али.

Госпожа де Вильфор ласково взглянула на него и еще крепче прижала к себе ребенка.

– Эдуард, – сказала она, – посмотри на этого достойного слугу; он очень храбрый, он рисковал своей жизнью, чтобы остановить наших взбесившихся лошадей и готовую разбиться коляску. Поблагодари его: если бы не он, нас обоих, вероятно, сейчас уже не было бы в живых.

Мальчик надул губы и презрительно отвернулся.

– Какой урод! – сказал он.

Граф улыбнулся, как будто ребенок поступил именно так, как он того ожидал; г-жа де Вильфор пожурила сына, но так мягко, что это вряд ли пришлось бы по вкусу Жан-Жаку Руссо, если бы маленького Эдуарда звали Эмилом.

– Видишь, – сказал граф по-арабски Али, – эта дама просит сына поблагодарить тебя за то, что ты спас им жизнь, а ребенок говорит, что ты слишком уродлив.

Али повернул свое умное лицо и посмотрел на ребенка, не меняя выражения; но по дрожанию его ноздрей Монте-Кристо понял, что араб обижен до глубины души.

– Граф, – сказала г-жа де Вильфор, вставая и собираясь идти, – вы всегда живете в этом доме?

– Нет, сударыня, – отвечал граф, – сюда я наезжаю только по временам; я живу на Елисейских Полях, номер тридцать. Но я вижу, что вы совершенно оправились и собираетесь идти. Я уже распорядился, чтобы этих самых лошадей запрягли в мою карету, и Али, этот урод, – сказал он, улыбаясь мальчику, – отвезет вас домой, а ваш кучер останется здесь, чтобы присмотреть за починкой коляски. Как только это будет сделано, одна из моих запряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар.

– Но я ни за что не решусь ехать на этих лошадях, – сказала г-жа де Вильфор.

– Вы увидите, – отвечал Монте-Кристо, – что в руках Али они станут кроткими, как овечки.

Между тем Али подошел к лошадям, которых с большим трудом подняли на ноги. В руках он держал маленькую губку, пропитанную ароматическим уксусом; он потер ею ноздри и виски покрытых пеной и потом лошадей; они тотчас же стали громко фыркать и несколько секунд дрожали всем телом.

Потом, на глазах у собравшейся перед домом густой толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слухами о случившемся, Али велел впрячь лошадей в карету графа, взял в руки вожжи и взобрался на козлы. К великому изумлению всех, кто видел, как эти лошади только что неслись вихрем, ему пришлось усиленно стегать их кнутом, чтобы заставить тронуться с места, и то от этих хваленых серых, совершенно остолбеневших, окаменевших, помертвелых лошадей, ему удалось добиться только самой неуверенной и вялой рыси; г-же де Вильфор потребовалось около двух часов, чтобы добраться до предместья Сент-Оноре, где она жила.

Как только она вернулась домой и первое волнение в семье утихло, она написала г-же Данглар следующее письмо:

«Дорогая Эрмина!

Меня и моего сына только что чудесным образом спас от смерти тот самый граф Монте-Кристо, о котором мы Столько говорили вчера вечером и которого я никак не ожидала встретить сегодня. Вчера вы говорили мне о нем с восхищением, над которым я смеялась со всем доступным мне остроумием, но сегодня я нахожу, что ваше восхищение еще слишком мало для оценки человека, внушившего его вам. В Ранелаге ваши лошади понесли, и мы, несомненно, разбились бы насмерть о первое встречное дерево или первую тумбу в деревне, если бы вдруг какой-то араб, негр, нубиец – словом, какой-то чернокожий, слуга графа, кажется, по его приказу, не остановил мчавшихся лошадей, рискуя собственной жизнью; и поистине чудо, что он уцелел. Тут подоспел граф, отнес нас к себе и вернул моего Эдуарда к жизни. Домой нас доставили в собственной карете графа; вашу коляску вернут вам завтра. Ваши лошади очень ослабели после этого несчастного случая, они точно одурели; можно подумать, будто они не могут себе простить, что дали человеку усмирить их. Граф поручил мне передать вам, что если они проведут спокойно два дня в конюшне, питаюсь только ячменем, то они снова будут в таком же цветущем, то есть устрашающем состоянии, как вчера.

До свидания! Я не благодарю вас за прогулку; но все-таки с моей стороны было бы неблагодарностью сердиться на вас за капризы вашей пары, потому что такому капризу я обязана знакомством с графом Монте-Кристо, а этот знатный иностранец представляется мне, даже если забыть о его миллионах, столь любопытной загадкой, что я постараюсь разгадать ее, даже если бы мне для этого пришлось снова прокатиться по Булонскому лесу на ваших лошадях.

Эдуард перенес все случившееся с поразительным мужеством. Он, правда, потерял сознание, но до этого ни разу не вскрикнул, а после не пролил ни слезинки. Вы мне снова скажете, что меня ослепляет материнская любовь, но в этом хрупком и нежном теле живет железный дух.

Валентина шлет сердечный привет вашей милой Эжени, а я от всего сердца целую вас.

Элоиза де Вильфор.

P.S. Дайте мне возможность каким-нибудь образом встретиться у вас с этим графом Монте-Кристо, я непременно хочу его снова увидеть. Между прочим, мне удалось убедить г-на де Вильфор отдать ему визит; я надеюсь, что он сделает это».

Вечером отейльское происшествие было у всех на устах; Альбер рассказывал о нем своей матери, Шато-Рено – в Жокей-клубе, Дебрэ – в салоне министра; даже Бошан оказал графу

внимание, посвятив ему в своей газете двадцать строчек в отделе происшествий, что сделало благородного чужестранца героем в глазах всех женщин высшего света. Очень многие оставляли свои карточки у г-жи де Вильфор, чтобы иметь возможность при случае повторить свой визит и услышать из ее уст подлинный рассказ об этом необычайном событии.

Что касается г-на де Вильфор, то, как писала Элоиза, он надел черный фрак, белые перчатки, нарядил лакеев в самые лучшие ливреи и, сев в свой парадный экипаж, в тот же вечер отправился в дом № 30 на Елисейских Полях.

Х. Философия

Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в парижском свете, он по достоинству оценил бы поступок г-на де Вильфор. Хорошо принятый при дворе – безразлично, был ли на троне король из старшей линии или из младшей, был ли первый министр доктринером, либералом или консерватором, – почитаемый всеми за человека искусного, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпевшими политических неудач, ненавидимый многими, но горячо защищаемый некоторыми, хоть и не любимый никем, – Вильфор занимал высокое положение в судебном ведомстве и держался на этой высоте, как какой-нибудь Арлэ или Моле³. Его салон, хоть и оживленный присутствием молодой жены и восемнадцатилетней дочери от первого брака, был одним из тех строгих парижских салонов, где царят культ традиций и религия этикета. Холодная учтивость, абсолютная верность принципам правительства, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая ненависть ко всяким философствованиям – вот что составляло видимую сущность частной и общественной жизни г-на де Вильфор. Вильфор был не только судебным деятелем, но почти дипломатом. Его отношения к прежнему двору, о которых он всегда упоминал почтительно и с достоинством, заставляли и нынешний относиться к нему с уважением, и он столько знал, что с ним не только всегда считались, но даже иногда прибегали к его советам. Может быть, все было бы иначе, если бы нашлась возможность избавиться от Вильфора; но он, подобно непокорным своему сюзерену феодальным властителям, заперся в неприступной крепости. Этой крепостью было его положение королевского прокурора, преимуществами которого он отлично умел пользоваться и с которым он расстался бы лишь для депутатского кресла, что позволило бы ему сменить нейтралитет на оппозицию.

Обычно Вильфор мало кому делал или отдавал визиты. Это делала за него его жена; в свете уже привыкли к этому и приписывали многочисленным и важным занятиям судьи то, что в действительности делалось из расчетливо высокомерия, из подчеркнутого аристократизма, применительно к аксиоме: «Показывай, что уважаешь себя, – и тебя будут уважать»; эта аксиома куда более полезна в нашем мире, чем греческое: «Познай самого себя», ныне замененное гораздо менее трудным и более выгодным искусством познавать других. Для своих друзей Вильфор был могущественным покровителем; для недругов – тайным, но непримиримым противником; для равнодушных – скорее изваянием, изображающим закон, чем живым человеком; высокомерный вид, бесстрастное лицо, бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий и испытующий взор – таков был этот человек, чей пьедестал сначала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагроможденных друг на друга революции.

Вильфор пользовался репутацией наименее любопытного и наименее банального человека во Франции; он ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть часа, то есть на сорок пять минут меньше, чем король на придворных балах; его никогда не видели ни в театрах, ни в концертах – словом, ни в одном общественном месте; изредка он играл партию в вист, и в этом случае ему старались подобрать достойных партнеров: какого-нибудь посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь президента или, наконец, вдовствующую герцогиню.

Вот каков был человек, экипаж которого остановился у дверей графа Монте-Кристо.

Камердинер доложил о г-не де Вильфор в ту минуту, когда граф, наклонившись над большим столом, изучал на карте путь из Санкт-Петербурга в Китай.

Королевский прокурор вошел в комнату тем же степенным, размеренным шагом, каким входил в залу суда; это был тот же человек, или, вернее, продолжение того самого человека, которого мы некогда знали в Марселе как помощника прокурора. Природа, всегда последовательная, ничего не изменила и для него в своем течении. Из тонкого он стал тощим, из бледного – желтым; его глубоко сидящие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе, сливаясь с глазными впадинами, казались частью его лица; за исключением белого галстука, весь его

³ Председатели парижского парламента в XVII веке.

костюм был черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва заметная красная ленточка в петлице, напоминая нанесенный кистью кровавой мазок.

Как не владел собою Монте-Кристо, все же, отвечая на поклон, он с явным любопытством взглянул на прокурора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по привычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чудесами светской жизни, был более склонен смотреть на благородного чужестранца, – так уже прозвали Монте-Кристо, – как на авантюриста, избравшего новую арену деятельности, или как на сбежавшего преступника, чем как на князя папского престола или султана из «Тысячи и одной ночи».

– Милостивый государь, – сказал Вильфор тем визгливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих ораторских выступлениях и от которого они не могут или не хотят отрешиться и в разговорной речи, – милостивый государь, исключительная услуга, оказанная вами вчера всей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении вас долг, который я и явился исполнить. Позвольте выразить вам мою признательность.

И при этих словах суровый взгляд Вильфора был полон всегдашнего высокомерия. Он произнес их обычным своим тоном главного прокурора, с той окоченелостью шеи и плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что живая статуя закона.

– Милостивый государь, – отвечал с такой же ледяной холодностью граф, – я счастлив, что мог сохранить матери ее ребенка, потому что материнская любовь, как говорят, самое святое из чувств; и это счастье, выпавшее на мою долю, избавляло вас от необходимости выполнять то, что вы называете долгом – и что для меня является честью, которою я, разумеется, очень дорожу, так как знаю, что господин де Вильфор редко кого ею достаивает, но которая, сколь высоко я ее ни ставлю, более ценна в моих глазах, чем внутреннее удовлетворение.

Вильфор, изумленный этим неожиданным для него выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню нанесенный ему удар, и около его губ появилась презрительная складка, указывающая, что он никогда и не причислял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям. Он окинул взглядом комнату, ища другой темы, чтобы возобновить разговор, казалось, безнадежно погибший. Он увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту, когда он вошел, и заметил:

– Вы интересуетесь географией? Это обширная область, особенно для вас, который, как уверяют, посетил несколько стран, сколько их изображено в этом атласе.

– Да, – отвечал граф, – я задался целью произвести над человечеством в целом то, что вы ежедневно продельваете на исключениях, – то есть психологическое исследование. Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому. Алгебраическая аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвестное, а не из неизвестного известное... Но садитесь же, прошу вас.

И Монте-Кристо жестом указал королевскому прокурору на кресло, которое тот был вынужден собственноручно придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, (на которое) опирался коленом, когда вошел Вильфор; таким образом, граф теперь сидел вполборота к своему гостю, спиной к окну и опираясь локтями на географическую карту, о которой шла речь. Разговор принимал характер, совершенно аналогичный той беседе, которая велась у Морсера и у Данглара; разница была лишь в обстановке.

– Да вы философствуете, – начал Вильфор после паузы, во время которой он собирался с силами, как атлет, встретивший опасного противника. – Честное слово, если бы мне, как вам, нечего было делать, я выбрал бы себе менее унылое занятие.

– Вы правы, – ответил Монте-Кристо, – когда при солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она выглядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили сказать, что мне нечего делать? А скажите, кстати, вы-то сами, по-вашему, что-нибудь делаете? Проще говоря, считаете ли вы, что то, что вы делаете, достойно называться делом?

Изумление Вильфора удвоилось при этом новом резком выпаде странного противника; давно уже прокурор не слышал такого смелого парадокса, – вернее, он слышал его в первый раз.

Королевский прокурор решил ответить.

– Вы иностранец, – сказал он, – и вы, кажется, сами говорили, что часть вашей жизни протекла на Востоке; вы, следовательно, не можете знать, насколько человеческое правосудие, стремительное в варварских странах, действует у нас осторожно и методически.

– Как же, как же: это *pede claudo*⁴ древних. Я все это знаю, потому что в каждой стране я больше всего интересовался именно правосудием и сравнивал уголовное судопроизводство каждой нации с естественным правосудием; и я должен сказать, что закон первобытных народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее богу.

– Если бы этот закон был введен, – сказал королевский прокурор, – он бы весьма упростил наши уложения о наказаниях, и в этом случае нашим судьям, как вы сказали, действительно нечего было бы делать.

К этому, может быть, мы еще придем, – отвечал Монте-Кристо. – Вы ведь знаете, что людские изобретения от сложного переходят к простому; а простое всегда совершенно.

– Но пока, – сказал прокурор, – существуют наши законы с их противоречивыми статьями, почерпнутыми из галльских обычаев, из римского права, из франкских традиций; и вы должны согласиться, что знание всех этих законов приобретает не так легко и требуется долгий труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умственные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее.

– Я того же мнения, но все, что вы знаете о французских законах, я знаю о законах всех наций: законы английские, турецкие, японские, индусские мне так же хорошо известны, как и французские; поэтому я был прав, говоря, что, по сравнению с тем, что я проделал, вы мало что делаете, и по сравнению с тем, что я изучил, вы знаете мало, вам еще многому надо поучиться.

– Но для чего вы изучали все это? – спросил удивленный Вильфор.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Знаете, – сказал он, – я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения, материальной и обыденной, начинающейся и кончающейся человеком, то есть самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной у человеческого разума.

– Что вы хотите этим сказать? – возразил, все более изумляясь, Вильфор. – Я вас... не совсем понимаю.

– Я хочу сказать, что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение; вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности, – эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами. Товия принял ангела, явившегося возратить ему зрение, за обыкновенного юношу. Народы считали Атилла явившегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узанными; одному пришлось сказать: «Я ангел господень», а другому: «Я божий молот», чтобы их божественная сущность открылась.

– И вы, – сказал Вильфор, удивленный, думая, что он говорит с фанатиком или безумцем, – вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили?

– А почему бы нет? – холодно спросил Монте-Кристо.

– Прошу извинить меня, – возразил сбитый с толку Вильфор, – но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизацией, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний – так по крайней мере уверяют: вы видите, я ни о чем не спрашиваю, а только повторяю молву, – так вот, у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах.

– Скажите, – отвечал граф, – неужели вы достигли занимаемого вами высокого положения, ни разу не подумав и не увидев, что возможны исключения; и неужели вы своим взором, которому следовало бы быть таким верным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую сущность человека, на которого он упал? Разве судья не должен быть не только лучшим применителем закона, не только самым хитроумным истолкователем темных статей, но стальным зондом, исследующим людские сердца, пробным камнем для того золота, из которого сделана всякая душа, с большей или меньшей примесью лигатуры?

⁴ *Pode Poena claudo* (Гораций, Оды, III, 2) – хромоногая (то есть медлительная) кара (лат.).

– Вы, право, ставите меня в тупик, – сказал Вильфор, – я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, как вы.

– Это потому, что вы никогда не выходили из круга обычных жизненных условий и никогда не осмеливались вознестись в высшие сферы, которые бог населил невидимыми и исключительными созданиями.

– И вы допускаете, что эти сферы существуют, что исключительные и невидимые создания окружают нас?

– А почему бы нет? Разве вы видите воздух, которым дышите и без которого не могли бы существовать?

– Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы говорите?

– Нет, вы их видите, когда богу угодно, чтобы они материализовались; вы их касаетесь, сталкиваетесь с ними, разговариваете с ними, и они вам отвечают.

– Признаюсь, – сказал, улыбаясь, Вильфор, – очень бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких созданий столкнется со мной.

– Ваше желание исполнилось: вас уже предупредили, и я еще раз предупреждаю вас.

– Так что, вы сами...

– Да, я одно из этих исключительных созданий, и думаю, что до сих пор ни один человек в мире не был в таком положении, как я. Державы царей ограничены – либо горами, либо реками, либо чуждыми нравами и обычаями, либо ином языком. Мое же царство необъятно, как мир, ибо я ни итальянец, ни француз, ни индус, ни американец, ни испанец – я космополит. Ни одно государство не может считать себя моей родиной, и только богу известно, в какой стране я умру. Я принимаю все обычаи, я говорю на всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли, потому что я говорю по-французски так же свободно и так же чисто, как вы? А вот Али, мой нубиец, принимает меня за араба; Бергуччо, мой управляющий, – за уроженца Рима; Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одного правительства, ни одного человека не считаю своим братом, – и потому ни одно из тех сомнений, которые связывают могущественных, и ни одно из тех препятствий, которые останавливают слабых, меня не останавливает и не связывает. У меня только два противника, я не скажу – победителя, потому что своей настойчивостью я покоряю их, – это время и расстояние. Третий, и самый страшный, – это мое положение смертного. Смерть одна может остановить меня на своем пути, и раньше, чем я достигну намеченной цели; все остальное я рассчитал. То, что люди называют превратностями судьбы, – разорение, перемены, случайности, – всё это я предвидел; некоторые из них могут задеть меня, но ни одно не может меня свалить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что теперь; вот почему я говорю вам такие вещи, которых вы никогда не слышали, даже из королевских уст, потому что короли в вас нуждаются, а остальные люди боятся вас.

Ведь кто не говорит себе в нашем, так смешно устроенном обществе: «Может быть, и мне когда-нибудь придется иметь дело с королевским прокурором!»

– А разве к вам самим это не относится? Ведь раз вы живете во Франции, вы, естественно, подчинены французским законам.

– Я это знаю, – отвечал Монте-Кристо. – Но когда я собираюсь в какую-нибудь страну, я начинаю с того, что известными мне путями стараюсь изучить всех тех людей, которые могут быть мне чем-нибудь полезны или опасны, и в конце концов я знаю их так же хорошо, а может быть, даже и лучше, чем они сами себя знают. Это приводит к тому, что какой бы то ни было королевский прокурор, с которым мне придется иметь дело, несомненно, окажется в более затруднительном положении, чем я.

– Вы хотите сказать, – возразил с некоторым колебанием Вильфор, – что так как человеческая природа слаба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни... ошибки?

– Ошибки... или преступления, – небрежно отвечал Монте-Кристо.

– И что вы единственный из всех людей, которых вы, по вашим же словам, не признаете братьями, – продолжал слегка изменившимся голосом Вильфор, – вы единственный совершенны?

– Не то чтобы совершенен, – отвечал граф, – непроницаем, только и всего. Но прекратим этот разговор, если он вам не по душе; мне не более угрожает ваше правосудие, чем вам моя прозорливость.

– Нет, нет, – с живостью сказал Вильфор, явно опасавшийся, что графу покажется, будто он желает оставить эту тему, – зачем же! Вашей блестящей и почти вдохновенной беседой

вы вознесли меня над обычным уровнем; мы уже не разговариваем, – мы рассуждаем. А богословы с сорбоннской кафедры или философы в своих спорах, вы сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины; предположим, что мы занимаемся социальным богословием или богословской философией; и я вам скажу следующую истину, какой бы горькой она ни была: «Брат мой, вас обуяла гордыня; вы превыше других, но превыше вас бог».

– Превыше всех, – проговорил Монте-Кристо так проникновенно, что Вильфор невольно вздрогнул, – моя гордость – для людей, этих гадов, всегда готовых подняться против того, кто выше их и кто не попирает их ногами. Но я повергаю свою гордость перед богом, который вывел меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь.

– В таком случае, граф, я восхищаюсь вами, – сказал Вильфор, впервые в продолжение этого странного разговора назвав своего собеседника этим титулом. – Да, если вы на самом деле обладаете силой, если вы высшее существо, если вы святой или непроницаемый человек, – вы правы, что это в сущности почти одно и то же, – тогда ваша гордость понятна: на этом зиждется власть. Однако есть же что-нибудь, чего вы домогаетесь?

– Да, было.

– Что именно?

– И я так же, как это случается раз в жизни со всяким человеком, был вознесен сатаной на самую высокую гору мира; оттуда он показал мне на мир и, как некогда Христу, сказал: «Скажи мне, сын человеческий, чего ты просишь, чтобы поклониться мне?» Тогда я впал в долгое раздумье, потому что уже долгое время душу мою снедала страшная мечта. Потом я ответил ему: «Послушай, я всегда слышал о провидении, а между тем я никогда не видел – ни его, ни чего-либо похожего на него, и стал думать, что его не существует; я хочу стать провидением, потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее, чем награждать и карать». Но сатана склонил голову и вздохнул. «Ты ошибаешься, – сказал он, – провидение существует, только ты не видишь его, ибо, дитя господне, оно так же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям; все, что я могу сделать для тебя, – это обратить тебя в одно из орудий провидения». Наш договор был заключен; быть может, я погубил свою душу. Но все равно, – продолжал Монте-Кристо, – если бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его снова.

Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконечного изумления.

– Граф, – спросил он, – у вас есть родные?

– Нет, я один на свете.

– Тем хуже!

– Почему? – спросил Монте-Кристо.

– Потому что вам, может быть, пришлось бы стать свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость. Вы говорите, что вас страшит только смерть?

– Я не говорю, что она меня страшит; я говорю, что только она может мне помешать.

– А старость?

– Моя миссия будет закончена до того, как наступит моя старость.

– А сумасшествие?

– Я уже был на пороге безумия, а вы знаете правило: *non bis idem*⁵; это правило уголовного права, и следовательно, относится к вашей компетенции.

– Страшны не только смерть, старость или безумие, – сказал Вильфор, – существует, например, апоплексия – это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает, и, однако, после него все кончено. Это все еще вы и уже не вы; вы, который, словно Ариель, был почти ангелом, становитесь недвижимой массой, которая, подобно Калибану, уже почти животное; на человеческом языке это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту беседу, если у вас явится желание встретиться с противником, способным вас понять и жаждущим вас опровергнуть, и я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вильфор, одного из самых ярких якобинцев времен первой революции, сочетание самой блестящей отваги с самым крепким телосложением; этот человек если и не видел, подобно вам, все государства мира, то участвовал в ниспровержении одного из самых могущественных; он, как и вы, считал себя одним из посланцев если не бога, то верховного существа, если не провидения, то судьбы; и что же – разрыв кровеносного сосуда в мозгу

⁵ Дважды за одно не отвечают (лат.).

уничтожил все это, и не в день, не в час, а в одну секунду. Еще накануне Нуартье, якобинец, сенатор, карбонарий, которому нипочем ни гильотина, ни пушка, ни кинжал, Нуартье, играющий революциями, Нуартье, для которого Франция была лишь огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть и пешки, и туры, и кони, и королева, лишь бы королю был сделан мат, – этот грозный Нуартье на следующий день обратился в «несчастливого Нуартье», неподвижного старца, попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей внучки Валентины, в немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения.

– К сожалению, – сказал Монте-Кристо, – в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума; я немного врач, и я так же, как и мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой; но, подобно провидению, она осталась невидимой для моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало. Сотни авторов вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или Галлем приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и вы, но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью.

– Это, несомненно, так бы и было, если бы господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей Валентина, моя дочь от первого брака с мадемуазель Рене де Сен-Меран, и Эдуард, мой сын, которого вы спасли от смерти.

– Какой же вы делаете вывод из этого возмещения? – спросил Монте-Кристо.

– Тот вывод, – отвечал Вильфор, – что мой отец, обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок, которые ускользают от людского правосудия, но не уходят от божьего суда! И что бог, желая покарать только одного человека, поразил лишь его одного.

Монте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине сердца такое рычание, что если бы Вильфор мог его слышать, он бежал бы без оглядки.

– До свидания, сударь, – продолжал королевский прокурор, уже несколько времени перед тем вставший с кресла и разговаривавший стоя, – я покидаю вас с чувством глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам приятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому что я во всяком случае не банальный человек. К тому же в госпоже де Вильфор вы приобрели друга на всю жизнь.

Граф поклонился и проводил Вильфора только до двери кабинета, королевский прокурор спустился к своей карете, предшествуемый двумя лакеями, которые, по его знаку, поспешили распахнуть дверцу.

Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте-Кристо с усилием перевел дыхание и улыбнулся.

– Нет, – сказал он, – нет, довольно яда, и раз мое сердце им переполнено, поищем противоядия.

Он ударил один раз в гулкий гонг.

– Я буду у госпожи, – сказал он вошедшему Али, – и через полчаса пусть подадут карету.

XI. Гайде

Читатель помнит, кто были новые или, вернее, старые знакомые графа Монте-Кристо, жившие на улице Меле, – это были Максимилиан, Жюли и Эмманюэль.

Ожидание этой милой встречи, этих нескольких счастливых минут, этого райского луча, озаряющего ад, куда он добровольно вверг себя, наложило, чуть только уехал Вильфор, чудесную ясность на лицо Монте-Кристо. Прибежавший на звонок Али, увидя это лицо, сияющее такой необычайной радостью, удалился на цыпочках и затаив дыхание, словно боясь спугнуть приятные мысли, которые, казалось ему, витали вокруг его господина.

Был уже полдень; граф оставил себе свободный час, чтобы провести его с Гайде; радость не сразу овладевала этой истерзанной душой, которой нужно было как бы подготовиться к сладостным ощущениям, подобно тому как другим душам необходимо подготовиться к ощущениям сильным.

Молодая гречанка, как мы уже сказали, занимала комнаты, совершенно отделенные от комнат графа. Все они были обставлены на восточный лад: паркет был устлан толстыми турец-

кими коврами, стены завешаны парчой, и в каждой комнате вдоль стен тянулся широкий диван с грудями в беспорядке раскиданных подушек.

У Гайде были три служанки француженки и одна гречанка. Все три француженки находились в первой комнате, готовые прибежать по первому звуку золотого колокольчика и выполнить приказания невольницы гречанки, достаточно хорошо владевшей французским языком, чтобы передавать желания своей госпожи ее трем камеристкам, которым Монте-Кристо предписал относиться к Гайде столь же почтительно, как к королеве.

Молодая девушка находилась в самой дальней из своих комнат, то есть в круглом будуаре, куда дневной свет проникал только сверху, сквозь розовые стекла. Она лежала на полу, на подушках из голубого атласа, затканых серебром, легко прислонившись спиной к дивану; закинув за голову мягким изгибом правую руку, левой она подносила к губам коралловый мундштук с прикрепленной к нему гибкой трубкой кальяна, чтобы табачный дым попадал в ее рот только пропитанный бензойной водой, через которую его заставляло проходить ее нежное дыхание.

Ее поза, вполне естественная для восточной женщины, показалась бы аффектированно-кокетливой, будь на ее месте француженка.

На ней был обычный костюм эфирских женщин: белые атласные затканые розовыми цветами шаровары, доходившие до крошечных детских ступней, которые показались бы изваянными из паросского мрамора, если бы они не подкидывали двух маленьких, вышитых золотом и жемчугом сандалий с загнутыми носками; рубашка с продольными белыми и голубыми полосами, с широкими откидными рукавами, оставлявшими руки свободными, с серебряными петлями и жемчужными пуговицами; и, наконец, нечто вроде корсажа, застегнутого на три бриллиантовые пуговицы, треугольный вырез которого позволял видеть шею и верхнюю часть груди. Ее талию охватывал яркий пояс с длинной шелковой бахромой – предмет мечтаний наших парижских модниц.

На ее голове была золотая, вышитая жемчугом шапочка, слегка сдвинутая набок, и в иссиня-черные волосы была воткнута чудесная живая пурпурная роза.

Что касается красоты этого лица, то это была греческая красота во всем ее совершенстве; большие черные бархатные глаза, прямой нос, коралловый рот и жемчужные зубы.

И все это очарование было озарено весною молодости, во всем ее блеске и благоухании: Гайде было не больше девятнадцати или двадцати лет.

Монте-Кристо вызвал прислужницу гречанку и велел спросить у Гайде разрешения посетить ее.

Вместо ответа Гайде знаком велела служанке приподнять портьеру, закрывавшую дверь, и в ее четырехугольной раме, словно прелестная картина, возникла лежащая молодая девушка.

Монте-Кристо вошел в комнату.

Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, и с улыбкой протянула графу свободную руку.

– Почему, – сказала она на звучном языке женщин Спарты и Афин, – почему ты спрашиваешь у меня позволения войти ко мне? Разве ты больше не господин мой, разве я больше не раба твоя?

Монте-Кристо тоже улыбнулся.

– Гайде, – сказал он, – вы знаете...

– Почему ты не говоришь мне «ты», как всегда? – прервала его молодая гречанка. – Разве я чем-нибудь провинилась? В таком случае меня следует наказать, но не говорить мне «вы».

– Гайде, – продолжал граф, – ты знаешь, что мы находимся во Франции и что, следовательно, ты свободна.

– Свободна в чем? – спросила молодая девушка.

– Свободна покинуть меня.

– Покинуть тебя!.. А зачем мне покидать тебя?

– Как знать? Мы будем встречаться с людьми...

– Я никого не хочу видеть.

– А если среди тех красивых молодых людей, с которыми тебе придется встретиться, кто-нибудь понравится тебе, я не буду так жесток...

– Я никого не встречала красивее тебя и никого не любила, кроме моего отца и тебя.

– Бедное дитя, – сказал Монте-Кристо, – ведь ты никогда ни с кем и не говорила, кроме твоего отца и меня.

– Так что ж! Я больше ни с кем и не хочу говорить. Мой отец называл меня «моя радость», ты называешь меня «моя любовь», и оба вы зовете меня «мое дитя».

– Ты еще помнишь твоего отца, Гайде?

Девушка улыбнулась.

– Он тут и тут, – сказала она, прикладывая руку к глазам и к сердцу.

– А я где? – улыбаясь, спросил Монте-Кристо.

– Ты, – отвечала она, – ты везде.

Монте-Кристо взял руку Гайде и хотел поцеловать ее, но простодушное дитя отдернуло руку и подставило ему лоб.

– Теперь ты знаешь, Гайде, – сказал он, – что ты свободна, что ты госпожа, что ты царица; ты можешь по-прежнему носить свой костюм и можешь расстаться с ним; если хочешь – оставайся дома, если хочешь – выезжай; для тебя всегда будет готов экипаж; Али и Мирто будут сопровождать тебя всюду и исполнять твои приказания, но только я прошу тебя об одном...

– Я слушаю тебя.

– Храни тайну твоего рождения, не говори ни слова о твоём прошлом, ни в коем случае не произноси имени твоего прославленного отца и твоей несчастной матери.

– Я уже сказала тебе, господин, я ни с кем не буду встречаться.

– Послушай, Гайде, быть может, такое восточное затворничество станет в Париже невозможным, продолжай изучать нравы северных стран, как ты это делала в Риме, Флоренции, Милане и Мадриде; это послужит тебе на пользу, будешь ли ты жить здесь или вернешься на Восток.

Молодая девушка подняла на графа свои большие влажные глаза и ответила:

– Или мы вернемся на Восток, хочешь ты сказать, господин мой?

– Да, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, – ты же знаешь, я никогда не покину тебя. Не дерево расстается с цветком, а цветок расстается с деревом.

– Я никогда не покину тебя, господин, – сказала Гайде, – я знаю, что не смогу жить без тебя.

– Бедное дитя! Через десять лет я буду уже старик, а ты через десять лет все еще будешь молода.

– У моего отца была длинная седая борода. Это не мешало мне любить его, моему отцу было шестьдесят лет, и он казался мне прекраснее всех молодых людей, которых я встречала.

– Но скажи, как ты думаешь, привыкнешь ли ты к этой стране?

– Буду я видеть тебя?

– Каждый день.

– Так о чем же ты спрашиваешь меня, господин?

– Я боюсь, что ты соскучишься.

– Нет, господин, ведь по утрам я буду думать о том, что ты придешь, а по вечерам вспоминать, что ты приходил; и потом, когда я одна, я вспоминаю, я вижу огромные картины, широкие горизонты, с Пиндом и Олимпом вдали; а в сердце моем обитают три чувства, с которыми никогда не соскучишься, печаль, любовь и благодарность.

– Ты достойная дочь Эпира, Гайде, нежная и поэтичная, и видно, что ты производишь от богинь, которых породила твоя земля. Будь же спокойна, дитя мое, я сделаю все, чтобы твоя молодость не прошла даром, потому что если ты любишь меня, как отца, то я люблю тебя, как свое дитя.

– Ты ошибаешься, господин; я любила отца не так, как тебя, моя любовь к тебе – не такая любовь; мой отец умер – и я осталась жива, а если ты умрешь – умру и я.

С улыбкой, полной глубокой нежности, граф протянул девушке руку, она, как обычно, поднесла ее к губам.

Граф, таким образом подготавливаясь к свиданию с семьей Моррель, удалился, шепча стихи Пиндара:

– «Юность – цветок, и любовь – его плод... Блажен виноградарь, для которого он медленно зрел!»

Карета, как он велел, ожидала его. Он сел, и лошади, как всегда, помчались во весь опор.

ХII. Семья Моррель

Через несколько минут граф прибыл на улицу Моле, № 7.

Дом был белый, веселый, и двор перед ним украшали небольшие цветочные клумбы.

В привратнике, открывшем ему ворота, граф узнал старого Коклеса. Но так как этот последний, как читатели помнят, был крив на один глаз, а здоровый глаз за эти девять лет сильно ослабел, то Коклес не узнал графа.

Для того чтобы подъехать к крыльцу, экипаж должен был обогнуть небольшой фонтан, бывший из бассейна, обложенного раковинами и камнями, – роскошь, которая возбудила среди соседей немалую зависть и послужила причиной тому, что этот дом прозвали «Маленьким Версалем». Нечего добавлять, что в бассейне сновало множество красных и желтых рыбок.

В самом доме, не считая нижнего этажа, занятого кухнями и погребам, были еще два этажа и чердачное помещение. Молодые люди приобрели его вместе с огромной мастерской и садом с двумя павильонами. Эмманюель сразу же понял, что из этого расположения построек можно будет извлечь небольшую выгоду. Он оставил себе дом и половину сада и отделил все это, то есть построил стену между своим владением и мастерской, которую и сдал в аренду вместе с павильонами и прилегающей частью сада; так что он устроился очень недорого и так же обособленно, как самый придирчивый обитатель Сен-Жерменского предместья.

Столовая была вся дубовая; гостиная – красного дерева и обита синим бархатом; спальня – лимонного дерева и обита зеленой камкой; кроме того, имелся рабочий кабинет Эмманюеля, не занимавшегося никакой работой, и музыкальная комната для Жюли, не игравшей ни на одном инструменте.

Весь третий этаж был в распоряжении Максимилиана; это было точное повторение квартиры его сестры, только столовая была обращена в бильярдную, куда он приводил своих приятелей. Он следил за чисткой своей лошади и курил сигару, стоя у входа в сад, когда у ворот остановилась карета графа.

Коклес, как мы уже сказали, отворил ворота, а Батистен, соскочив с козел, спросил, может ли граф Монте-Кристо видеть господина и госпожу Эрбо и господина Максимилиана Морреля.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнул Моррель, бросая сигару и спеша навстречу посетителю. – Еще бы мы были не рады его видеть. Благодарю вас, граф, тысячу раз благодарю, что вы не забыли о своем обещании.

И молодой офицер так сердечно пожал руку графа, что тот не мог усомниться в искренности приема и ясно увидел, что его ждали с нетерпением и встречают с радостью.

– Идемте, идемте, – сказал Максимилиан, – я сам познакомлю вас; о таком человеке, как вы, не должен докладывать слуга: сестра в саду, она срезает отцветшие розы; зять читает свои газеты, «Прессу» и «Дебаты», в шести шагах от нее, ибо, где бы ни находилась госпожа Эрбо, вы можете быть заранее уверены, что встретите в орбите не шире четырех метров и Эмманюеля, и обратно, как говорят в Политехнической школе.

Молодая женщина в шелковом капоте, тщательно обрывавшая увядшие лепестки с куста желтых роз, подняла голову, услышав их шаги.

Эта женщина была знакомая нам маленькая Жюли, превратившаяся, как ей и предсказывал уполномоченный фирмы Томсон и Френч, в госпожу Эмманюель Эрбо. Увидав постороннего, она вскрикнула. Максимилиан рассмеялся.

– Не пугайся, сестра, – сказал он, – хотя граф всего несколько дней в Париже, но он уже знает, что такое рантьерша из Марэ, а если еще не знает, то сейчас увидит.

– Ах, сударь, – сказала Жюли, – привести вас так – это предательство со стороны моего брата; он совершенно не заботится о том, какой вид у его бедной сестры... Пенелон!.. Пенелон!..

Старик, окапывавший бенгальские розы, всадил в землю свой заступ и, сняв фуражку, подошел к ним, жуя жвачку, которую он тотчас же задвинул поглубже за щеку. В его еще густых волосах серебрилось несколько белых прядей, а коричневое лицо и смелый, острый взгляд изобличали в нем старого моряка, загоревшего под солнцем экватора и знакомого с бурями.

– Вы меня звали, мадемуазель Жюли? – спросил он. – Что вам угодно?

Пенелон по старой привычке звал дочь своего хозяина мадемуазель Жюли и никак не мог привыкнуть называть ее госпожой Эрбо.

– Пенелон, – сказала Жюли, – скажите господину Эмманюелю, что у нас дорогой гость, а Максимилиан проводит графа в гостиную.

Потом она обратилась к Монте-Кристо:

– Вы, надеюсь, разрешите мне оставить вас на минуту?

И, не дожидаясь согласия графа, она обежала клумбу и бросилась к дому по боковой дорожке.

– Послушайте, дорогой господин Моррель, – сказал Монте-Кристо, – я с огорчением вижу, что нарушил покой вашей семьи.

– Взгляните, взгляните, – отвечал, смеясь, Максимилиан, – вот и муж побежал менять куртку на сюртук! Ведь вас знают на улице Меле, вас ждали, поверьте мне.

– У вас, мне кажется, счастливая семья, – сказал граф, как бы отвечая на собственные мысли.

– Несомненно, граф. Что ж, ведь у них есть все, что надо для счастья: они молоды, жизнерадостны, любят друг друга и, хоть им и приходилось видеть огромные состояния, они со своими двадцатью пятью тысячами франков дохода считают себя богатыми, как Ротшильд.

– А между тем двадцать пять тысяч франков дохода – это немного, – сказал Монте-Кристо, и в его голосе было столько нежности, что он отозвался в сердце Максимилиана, как голос любящего отца, – но ведь это не предел для нашей молодой четы, они, вероятно, тоже станут миллионерами. Ваш зять адвокат или доктор?..

– Он был негоциантом, граф, и продолжал дело моего покойного отца. Господин Моррель скончался, оставив после себя капитал в пятьсот тысяч франков; из них половина досталась мне и половина сестре, потому что нас было только двое. Ее муж, вступая с нею в брак, не обладал ничем, кроме благородной честности, ясного ума и незапятнанной репутации. Он пожелал иметь столько же, сколько и его жена; он работал до тех пор, пока не собрал двухсот пятидесяти тысяч франков; для этого понадобилось шесть лет. Клянусь вам, граф, было трогательно смотреть на них – такие трудолюбивые, такие дружные, они, при их способностях, могли бы достигнуть значительного богатства, но не пожелали ничего менять в обычаях отцовской фирмы и употребили шесть лет на то, на что людям нового склада потребовалось бы года два или три; весь Марсель до сих пор восторгается их мужественной самоотверженностью. Наконец, однажды Эмманюель подошел к своей жене, которая заканчивала выплату по обязательствам.

«Жюли, – обратился он к ней, – вот сверток с последней сотней франков, ее только что передал мне Коклес, и она дополняет те двести пятьдесят тысяч франков, которые мы назначили себе пределом. Удовольствуешься ли ты тем немногим, чем нам придется теперь ограничиваться? Наша фирма делает в год миллионный оборот и может давать сорок тысяч франков прибыли. Если мы захотим, мы можем через час продать за триста тысяч франков нашу клиентуру: вот письмо от господина Делоне, он предлагает нам эту сумму за нашу фирму, которую он хочет присоединить к своей. Решай, как поступить».

«Друг мой, – ответила моя сестра, – фирму Моррель может вести только Моррель. Разве не стоит отказаться от трехсот тысяч франков, чтобы раз навсегда оградить имя нашего отца от превратностей судьбы?»

«Я тоже так думал, – сказал Эмманюель, – но я хотел знать твое мнение».

«Ну, так вот оно. Мы получили все, что нам следовало, выплатили по всем нашим обязательствам; мы можем подвести итог и закрыть кассу; подведем же этот итог и закроем кассу».

И они немедленно это сделали. Это было в три часа; в четверть четвертого явился клиент, чтобы застраховать два судна, это составляло пятнадцать тысяч франков чистой прибыли.

«Будьте любезны, – сказал ему Эмманюель, – обратиться с этой страховкой к нашему коллеге господину Делоне. Что касается нас, мы ликвидировали наше дело».

«Давно ли?» – спросил удивленный клиент.

«Четверть часа тому назад».

И вот каким образом случилось, – продолжал Максимилиан, улыбаясь, – что у моей сестры и зятя только двадцать пять тысяч годового дохода.

Максимилиан едва успел кончить свой рассказ, который все сильнее радовал сердце графа, как появился принарядившийся Эмманюель, в сюртуке и шляпе. Он поклонился с видом человека, высоко ценящего честь, оказанную ему гостем, потом, обойдя с графом свой цветущий сад, провел его в дом.

Гостиная благоухала цветами, наполнявшими огромную японскую вазу. На пороге, приветствуя графа, стояла Жюли, должным образом одетая и кокетливо причесанная (она ухитрилась потратить на это не более десяти минут!)

В вольере весело щебетали птицы; ветви раkitника и розовой акации с их цветущими гроздьями заглядывали в окно из-за синих бархатных драпировок, в этом очаровательном уголке все дышало миром – от песни птиц до улыбки хозяев.

Едва войдя в этот дом, граф почувствовал, что и его коснулось счастье этих людей; он оставался безмолвным и задумчивым, забывая, что ему надлежит вернуться к беседе, прервавшейся после первых приветствий.

Вдруг он заметил воцарившееся неловкое молчание и с усилием оторвался от своих грез.

– Сударыня, – сказал он, наконец, – простите мне мое волнение. Оно, вероятно, показалось вам странным, – вы привыкли к этому покою и счастью, но для меня так ново видеть довольное лицо, что я не могу оторвать глаз от вас и вашего супруга.

– Мы действительно очень счастливы, – сказала Жюли, – но нам пришлось очень долго страдать, и мало кто заплатил так дорого за свое счастье.

На лице графа отразилось любопытство.

– Это длинная семейная история, как вам уже говорил Шато-Рено, – сказал Максимилиан. – Вы, граф, привыкли видеть большие катастрофы и величественные радости, для вас мало интересна эта домашняя картина. Но Жюли права: мы перенесли немало страданий, хоть они и ограничивались узкой рамкой семьи...

– И бог, как всегда, послал вам утешение в страданиях? – спросил Монте-Кристо.

– Да, граф, – отвечала Жюли, – мы должны это признать, потому что он поступил с нами, как со своими избранниками: он послал нам своего ангела.

Краска залила лицо графа, и, чтобы скрыть свое волнение, он закашлялся и поднес к губам платок.

– Тот, кто родился в порфире и никогда ничего не желал, – сказал Эмманюель, – не знает счастья жизни, так же как не умеет ценить ясного неба тот, кто никогда не верял свою жизнь четырем доскам, носящимся по разъяренному морю.

Монте-Кристо встал и, ничего не ответив, потому что дрожь в его голосе выдала бы охватившее его волнение, начал медленно ходить взад и вперед по гостиной.

– Вас, вероятно, смешит наша роскошь, граф, – сказал Максимилиан, следивший глазами за Монте-Кристо.

– Нет, нет, – отвечал Монте-Кристо, очень бледный, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, а другой рукой указывая на хрустальный колпак, под которым на черной бархатной подушке был бережно положен шелковый вязаный кошелек. – Я просто смотрю, что это за кошелек, в котором как будто с одной стороны лежит какая-то бумажка, а с другой – недурной алмаз.

Лицо Максимилиана стало серьезным, и он ответил:

– Здесь, граф, самое драгоценное из наших семейных сокровищ.

– В самом деле, алмаз довольно хорош, – сказал Монте-Кристо.

– Нет, мой брат говорит не о стоимости камня, хоть его и оценивают в сто тысяч франков, он хочет сказать, что вещи, находящиеся в этом кошельке, дороги нам: их оставил тот добрый ангел, о котором мы вам говорили.

– Я не понимаю ваших слов, сударыня, а между тем не смею просить объяснения, – с поклоном ответил Монте-Кристо. – Простите, я не хотел быть неделикатным.

– Неделикатным, граф? Напротив, мы рады рассказать об этом! Если бы мы хотели сохранить в тайне благородный поступок, о котором напоминает этот кошелек, мы бы не выставляли его таким образом напоказ. Нет, мы хотели бы иметь возможность разгласить о нем всему свету, чтобы наш неведомый благодетель хотя бы трепетанием крыльев открыл себя.

– Вот как! – проговорил Монте-Кристо глухим голосом.

– Граф, – сказал Максимилиан, приподнимая хрустальный колпак и благоговейно прикасаясь губами к вязаному кошельку, – это держал в своих руках человек, который спас моего отца от смерти, нас от разорения, а наше имя от бесчестия, – человек, благодаря которому мы, несчастные дети, обреченные горю и нищете, теперь со всех сторон слышим, как люди восторгаются нашим счастьем. Это письмо, – и Максимилиан, вынув из кошелька записку, протянул ее графу, – это письмо было им написано в тот день, когда мой отец принял отчаянное решение, а этот алмаз великодушный незнакомец предназначил в приданое моей сестре.

Монте-Кристо развернул письмо и прочел его с чувством невыразимого счастья; это была записка, знакомая нашим читателям, адресованная Жюли и подписанная Синдбадом-Мореходом.

– Незнакомец, говорите вы? Таким образом, человек, оказавший вам эту услугу, остался вам неизвестен?

– Да, нам так и не выпало счастья пожать ему руку, – отвечал Максимилиан, – и не потому, что мы не молили бога об этой милости. Но во всем этом событии было столько таинственности, что мы до сих пор не можем в нем разобраться: все направляла невидимая рука, могущественная, как рука чародея.

– Но я все еще не потеряла надежды поцеловать когда-нибудь эту руку, как я целую кошелек, которого она касалась, – сказала Жюли. – Четыре года тому назад Пенелон был в Триесте; Пенелон, граф, это тот старый моряк, которого вы видели с заступом в руках и который из боцмана превратился в садовника. В Триесте он видел на набережной англичанина, собиравшегося отплыть на яхте, и узнал в нем человека, посетившего моего отца пятого июня тысяча восемьсот двадцать девятого года и пославшего мне пятого сентября эту записку. Это был, несомненно, тот самый незнакомец, как утверждает Пенелон, но он не решился заговорить с ним.

– Англичанин! – произнес задумчиво Монте-Кристо, которого тревожил каждый взгляд Жюли. – Англичанин, говорите вы?

– Да, – сказал Максимилиан, – англичанин, явившийся к нам как уполномоченный римской фирмы Томсон и Френч. Вот почему я вздрогнул, когда вы сказали у Морсера, что Томсон и Френч ваши банкиры. Дело происходило, как мы вам уже сказали, в тысяча восемьсот двадцать девятом году; пожалуйста, граф, скажите, вы не знали этого англичанина?

– Но вы говорили, будто фирма Томсон и Френч неизменно отрицала, что она оказала вам эту услугу?

– Да.

– В таком случае, может быть, тот англичанин просто был благодарен вашему отцу за какой-нибудь добрый поступок, им самим позабытый, и воспользовался предложением, чтобы оказать ему услугу?

– Тут можно предположить что угодно, даже чудо.

– Как его звали? – спросил Монте-Кристо.

– Он не назвал другого имени, – отвечала Жюли, внимательнее вглядываясь в графа, – только то, которым он подписал записку: Синдбад-Мореход.

– Но ведь это, очевидно, не имя, а псевдоним.

Видя, что Жюли смотрит на него еще пристальнее и вслушивается в звук его голоса, граф добавил:

– Послушайте, не был ли он приблизительно одного роста со мной, может быть чуть-чуть повыше, немного тоньше, в высоком воротничке, туго затянутом галстуке, в облегающем и наглухо застегнутом сюртуке и с неизменным карандашом в руках?

– Так вы его знаете? – воскликнула Жюли с заблестевшими от радости глазами.

– Нет, – сказал Монте-Кристо, – я только высказываю предположение. Я знал некоего лорда Уилмора, который был щедр на такие благодеяния.

– Не открывая, кто он?

– Это был странный человек, не веривший в благодарность.

– Господи, – воскликнула Жюли с непередаваемым выражением всплеснув руками, – во что же он верит, несчастный?

– Во всяком случае, он не верил в нее в то время, когда я с ним встречался, – сказал Монте-Кристо, бесконечно взволнованный этим возгласом, вырвавшимся из глубины души. – Может быть, с тех пор ему и пришлось самому убедиться, что благодарность существует.

– И вы знакомы с этим человеком, граф? – спросил Эмманюэль.

– Если вы знакомы с ним, – воскликнула Жюли, – скажите, можете ли вы свести нас к нему, показать нам его, сказать нам, где он находится? Послушай, Максимилиан, послушай, Эмманюэль, ведь если мы когда-нибудь встретимся с ним, он не сможет не поверить в память сердца!

Монте-Кристо почувствовал, что на глазах у него навернулись слезы; он снова прошелся по гостиной.

– Ради бога, граф, – сказал Максимилиан, – если вы что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что вы знаете!

– Увы, – отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть волнение, звучащее в его голосе, – если ваш благодетель действительно лорд Уилмор, то я боюсь, что вам никогда не придется с

ним встретиться. Я расстался с ним года три тому назад в Палермо, и он собирался в самые сказочные страны, так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо вернулся.

– Как жестоко то, что вы говорите! – воскликнула Жюли в полном отчаянии, и глаза ее наполнились слезами.

– Если бы лорд Уилмор видел то, что вижу я, – сказал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные жемчужины, струившиеся по щекам Жюли, – он снова полюбил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливаете, примирили бы его с человечеством.

Он протянул ей руку; она подала ему свою, замороженная взглядом и голосом графа.

– Но ведь у этого лорда Уилмора, – сказала она, цепляясь за последнюю надежду, – была же родина, семья, родные, знал же его кто-нибудь? Разве мы не могли бы...

– Не стоит искать, – сказал граф, – не возводите сладких грез на словах, которые у меня вырвались. Едва ли лорд Уилмор – тот человек, которого вы разыскиваете; мы были с ним дружны, я знал все его тайны, – он рассказал бы мне и эту.

– А он ничего не говорил вам? – воскликнула Жюли.

– Ничего.

– Никогда ни слова, из которого вы могли бы предположить?..

– Никогда.

– Однако вы сразу назвали его имя.

– Знаете... мало ли что приходит в голову.

– Сестра, – сказал Максимилиан, желая помочь графу, – наш гость прав. Вспомни, что нам так часто говорил отец: не англичанин принес нам это счастье.

Монте-Кристо вздрогнул.

– Ваш отец, господин Моррель, говорил вам?.. – с живостью воскликнул он.

– Мой отец смотрел на это происшествие как на чудо. Мой отец верил, что наш благодетель встал из гроба. Это была такая трогательная вера, что, сам не разделяя ее, я не хотел ее убивать в его благородном сердце! Как часто он задумывался, шепча имя дорогого погибшего друга!

На пороге смерти, когда близость вечности придала его мыслям какое-то потустороннее озарение, это предположение перешло в уверенность, и последние слова, которые он произнес, умирая, были: «Максимилиан, это был Эдмон Дантес!»

Бледность, все сильнее покрывавшая лицо графа, при этих словах стала ужасной. Вся кровь хлынула ему к сердцу, он не мог произнести ни слова; он посмотрел на часы, словно вспомнив о времени, взял шляпу, как-то внезапно и смущенно простился с г-жой Эрбо и пожал руки Эммануэлю и Максимилиану.

– Сударыня, – сказал он, – разрешите мне иногда навещать вас. Мне хорошо в вашей семье, и я благодарен вам за прием, потому что у вас я в первый раз за много лет позабыл о времени.

И он вышел быстрыми шагами.

– Какой странный человек этот граф Монте-Кристо, – сказал Эммануэль.

– Да, – отвечал Максимилиан, – но мне кажется, у него золотое сердце, и я уверен, что мы ему симпатичны.

– Его голос проник мне в самое сердце, – сказала Жюли, – и мне даже показалось, будто я слышу его не в первый раз.

ХIII. Пирам и Фисба

Если пройти две трети предместья Сент-Оноре, то можно увидеть позади прекрасного особняка, заметного даже среди великолепных домов этого богатого квартала, обширный сад; его густые каштановые деревья возвышаются над огромными, почти крепостными стенами, роняя каждую весну свои белые и розовые цветы в две бороздчатые каменные вазы, стоящие на четырехугольных столбах, в которые вделана железная решетка времен Людовика XIII.

Хотя в этих вазах растут чудесные герани, колебля на ветру свои пурпурные цветы и крапчатые листья, этим величественным входом не пользуются с того уже давнего времени, когда владельцы особняка решили оставить за собой только самый дом, обсаженный деревьями, двор с выходом в предместье и сад, обнесенный решеткой, за которой в прежнее время находился прекрасный огород, принадлежавший этой же усадьбе. Но явился демон спекуляции, наметил рядом с огородом улицу, которая должна была соперничать с огромной артерией Парижа, называемой предместьем Сент-Оноре. И так как эта новая улица, благодаря железной

дощечке еще до своего возникновения получившая название, должна была застраиваться, то огород продали.

Но когда дело касается спекуляции, то человек предполагает, а капитал располагает; уже окрещенная улица погибла в колыбели. Приобретателю огорода, заплатившему за него сполна, не удалось перепродать его за желаемую сумму, и в ожидании повышения цен, которое рано или поздно должно было с лихвой вознаградить его за потраченные деньги и лежащий втуне капитал, он ограничился тем, что сдал участок в аренду огородникам за пятьсот франков в год.

Таким образом, он получает за свои деньги только полпроцента, что очень скромно по теперешним временам, когда многие получают по пятидесяти процентов и еще находят, что деньги приносят нищенский доход.

Как бы то ни было, садовые ворота, некогда выходившие в огород, закрыты, и петли их ест ржавчина; мало того: чтобы презренные огородники не смели осквернить своими плебейскими взорами внутренность аристократического сада, ворота на шесть футов от земли заколотили досками. Правда, доски не настолько плотно пригнаны друг к другу, чтобы нельзя было бросить в щелку беглый взгляд, но этот дом – почтенный дом, и не боится нескромных взоров.

В том огороде вместо капусты, моркови, редиски, горошка и дынь растет высокая люцерна – единственное свидетельство, что кто-то помнит еще об этом пустынном месте. Низенькая калитка, выходящая на намеченную улицу, служит входом в этот окруженный стенами участок, который арендаторы недавно совсем покинули из-за его неплодородности, так что вот уже неделя, как вместо прежнего полупроцента он не приносит ровно ничего.

Со стороны особняка над оградой склоняются уже упомянутые нами каштаны, что не мешает и другим цветущим и буйным деревьям протягивать между ними свои жаждущие воздуха ветви. В одном углу, где сквозь густую листву едва пробивается свет, широкая каменная скамья и несколько садовых стульев указывают на место встреч или на излюбленное убежище кого-нибудь из обитателей особняка, расположенного в ста шагах и едва различимого сквозь зеленую чащу. Словом, выбор этого уединенного местечка объясняется и его недоступностью для солнечных лучей, и неизменной, даже в самые знойные летние дни, прохладой, полной щебетанья птиц, и одновременной удаленностью и от дома и от улицы – то есть от деловых тревог и шума.

Под вечер одного из самых жарких дней, подаренных этою весною жителям Парижа, на этой каменной скамье лежали книга, зонтик, рабочая корзинка и батистовый платочек с начатой вышивкой; а неподалеку от скамьи, у забросанных досками ворот, нагнувшись к щели, стояла молодая девушка и глядела в знакомый нам пустынный огород.

Почти в ту же минуту бесшумно открылась калитка огорода, и вошел высокий, мужественный молодой человек в блузе сурового полотна и бархатном картузе, причем этой простонародной одежде несколько противоречили холеные черные волосы, усы и борода; торопливо оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, он закрыл калитку и быстрыми шагами направился к воротам.

При виде того, кого она поджидала, но, по-видимому, не в таком костюме, девушка испуганно отшатнулась.

Однако пришедший быстрым взглядом влюбленного успел заметить сквозь щели ограды, как мелькнуло белое платье и длинный голубой пояс. Он подбежал к воротам и приложил губы к щели.

– Не бойтесь, Валентина, – сказал он, – это я.

Девушка подошла ближе.

– Почему вы так поздно сегодня? – сказала она. – Вы ведь знаете, что скоро обед и что мне нужно много дипломатии и осторожности, чтобы освободиться от мачехи, которая следит за каждым моим шагом, от горничной, которая шпионит за мной, от брата, который мне надоедает, и прийти сюда с моей работой; боюсь, что я еще не скоро кончу эту работу. А когда вы мне объясните, почему вы задержались, вы мне скажете еще, что означает этот костюм; из-за него я сначала даже не узнала вас.

– Милая Валентина, – отвечал молодой человек, – вы так недостижимы для моей любви, что я не смею говорить вам о ней, и все-таки, когда я вас вижу, я не могу удержаться и не сказать, что я обожаю вас. И эхо моих собственных слов утешает меня потом в разлуке с вами. А теперь спасибо вам за выговор; он очарователен, он доказывает, что вы, я не смею этого сказать, ждали меня, что вы думали обо мне. Вы хотите знать, почему я опоздал и почему я так одет? Я вам это сейчас скажу, и, надеюсь, тогда вы меня простите: я выбрал себе профессию.

– Профессию!.. Что вы хотите этим сказать, Максимилиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шутить над тем, что нас так близко касается?

– Боже меня упаси шутить над тем, что для меня дороже жизни, – сказал молодой человек, – но я устал бродить по пустырям и перелезать через заборы и меня всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст меня под суд как вора, – это опозорило бы всю французскую армию! – и в то же время я опасаясь, что постоянное присутствие капитана спаги в этих местах, где нет ни одной самой маленькой осажденной крепости и ни одного требующего защиты форта, может вызвать подозрения. Поэтому я сделался огородником и облекся в подобающий моему званию костюм.

– Что за безумие!

– Напротив, я считаю, что это самый разумный поступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам безопасность.

– Да объясните же, в чем дело.

– Пожалуйста! Я был у владельца этого огорода; срок договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его сам. Вся эта люцерна теперь моя; ничто не мешает мне построить среди этой травы шалаш и жить отныне в двух шагах от вас! Я счастлив, я не в силах сдержать свою радость! И подумайте, Валентина, что все это можно купить за деньги. Невероятно, правда? А между тем все это блаженство, счастье, радость, за которые я бы отдал десять лет моей жизни, стоят мне – угадайте, сколько?.. – пятьсот франков в год, с уплатой по третям! Так что, видите, мне нечего больше бояться. Я здесь у себя, я могу приставить к ограде лестницу и смотреть в ваш сад и, не опасаясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей любви, если только ваша гордость не возмутится тем, что это слово исходит из уст бедного поденщика в рабочей блузе и картузе.

От радостного удивления Валентина слегка вскрикнула; потом вдруг, как будто завистливая тучка неожиданно омрачила зажегшийся в ее сердце солнечный луч, она сказала печально:

– Теперь мы будем слишком свободны, Максимилиан. Я боюсь, что наше счастье – соблазн, и если мы злоупотребим нашей безопасностью, она погубит нас.

– Как вы можете говорить это! Ведь с тех пор как я вас знаю, я ежедневно доказываю вам, что подчинил свои мысли и самую свою жизнь вашей жизни и вашим мыслям. Что вам помогло довериться мне? Моя честь. Разве не так? Вы мне сказали, что вас тревожит необъяснимое предчувствие грозящей опасности, – и я предложил вам свою помощь и преданность, не требуя от вас никакой награды, кроме счастья служить вам. Разве с тех пор я хоть словом, хоть знаком дал вам повод раскаиваться в том, что вы отличили меня среди всех тех, кто был бы счастлив отдать за вас свою жизнь? Вы сказали мне, бедняжка, что вы обручены с господином д'Эпине, что этот брак решен вашим отцом и, следовательно, неминуем, ибо решения господина де Вильфор бесповоротны. И что же, я остался в тени, возложил все надежды не на свою волю, не на вашу, а на время, на провидение, на бога... а между тем вы любите меня, Валентина, вы жалуете меня, и вы мне это сказали; благодарю вас за эти бесценные слова и прошу только о том, чтобы хоть изредка вы их мне повторяли, это даст мне силу ни о чем другом не думать.

– Вот это и придало вам смелости, Максимилиан, это сделало мою жизнь и радостной и несчастной. Я даже часто спрашиваю себя, что для меня лучше: горе, которое мне причиняет суровость мачехи и ее слепая любовь к сыну, или полное опасностей счастье, которое я испытываю в вашем присутствии?

– Опасность! – воскликнул Максимилиан. – Как вы можете произносить такое жестокое и несправедливое Слово! Разве я не самый покорнейший из рабов? Вы позволили мне иногда говорить с вами, Валентина, но вы запретили мне искать встречи с вами; я покорился. С тех пор как я нашел способ пробираться в этот огород, говорить с вами через эти ворота – словом, быть так близко от вас, не видя вас, – скажите, просил ли я хоть раз позволения прикоснуться сквозь эту решетку к краю вашего платья? Пытался ли я хоть раз перебраться через эту ограду, смехотворное препятствие для молодого и сильного человека? Разве я когда-нибудь упрекал вас в суровости, говорил вам о своих желаниях? Я был связан своим словом, как рыцарь былых времен. Признайте хоть это, чтобы я не считал вас несправедливой.

– Это правда, – сказала Валентина, просовывая в щель между двумя досками копчик пальца, к которому Максимилиан приник губами, – это правда, вы честный друг. Но ведь в конце концов вы поступали так в своих собственных интересах, мой дорогой Максимилиан: вы же отлично знали, что в тот день, когда раб станет требователен, он лишится всего. Вы обещали мне

братскую дружбу, – мне, у кого нет друзей, кого отец забыл, а мачеха преследует, – мне, чье единственное утешение – недвижимый старик, немой, холодный, – он не может пошевелить рукой, чтобы пожать мою руку, он говорит со мной только глазами, и в его сердце, должно быть, сохранилось для меня немного нежности. Да, судьба горько посмеялась надо мной, она сделала меня врагом и жертвой всех, кто сильнее меня, и оставила мне другом и поддержкой – труп! Право, Максимилиан, я очень несчастлива, и вы хорошо делаете, что, любя меня, думаете обо мне, а не о себе!

– Валентина, – отвечал Максимилиан с глубоким волнением, – я не скажу вам, что только одну вас люблю на свете, – я люблю и свою сестру и зятя, но это любовь нежная, спокойная, совсем не похожая на мое чувство к вам. Когда я думаю о вас, вся моя кровь кипит, мне трудно дышать, сердце бьется, как безумное; все эти силы, весь пыл, всю сверхчеловеческую мощь я вкладываю в свою любовь к вам. Но в тот день, когда вы мне скажете, я отдам их для вашего счастья. Говорят, что Франц д'Эпине будет отсутствовать еще год; а за год сколько может представиться счастливых случаев, сколько благоприятных обстоятельств! Будем надеяться, – надежда так хороша, так сладостна! Вы упрекаете меня в эгоизме, Валентина, а чем вы были для меня? Прекрасной и холодной статуей целомудренной Венеры. Что вы обещали мне взамен моей преданности, послушания, сдержанности? Ничего. Что вы дарили мне? Крохи. Вы говорите со мной о господине Д'Эпине, вашем женихе, и вздыхаете при мысли, что будете когда-нибудь принадлежать ему. Послушайте, Валентина, неужели это все, что у вас есть в душе? Как! Я отдаю вам свою жизнь, свою душу, только для вас одной бьется мое сердце, и вот, когда я всецело принадлежу вам, когда я мысленно говорю себе, что умру, если потеряю вас, – вас даже не ужасает мысль, что вы будете принадлежать другому! Нет, если бы я был на вашем месте, если бы я чувствовал, что меня любят так, как я вас люблю, я бы уже сто раз протянул руку сквозь прутья этой решетки и сжал руку несчастного Максимилиана со словами: «Я буду вашей, только вашей, Максимилиан, в этом мире и в том».

Валентина ничего не ответила, но Максимилиан услышал, что она вздыхает и плачет. Он сразу опомнился.

– Валентина, Валентина! – воскликнул он. – Забудьте мои слова, если я огорчил вас!

– Нет, – сказала она, – все это верно, но разве вы не видите, как я несчастна и одинока. Я живу почти в чужом доме, потому что мой отец почти чужой мне; вот уже десять лет мою волю каждый день, каждый час, каждую минуту подавляет железная воля моих властителей. Никто не видит моих страданий, и я сказала о них только вам. Кажется, будто все добры ко мне, все меня любят; на самом деле все враждебны мне. Люди говорят: господин де Вильфор слишком серьезный и слишком строгий человек, чтобы проявлять к дочери большую нежность, но зато она должна быть счастлива, что нашла в госпоже де Вильфор вторую мать. Так вот, люди ошибаются: отец совершенно равнодушен ко мне, а мачеха жестоко ненавидит меня, и эта ненависть тем ужаснее, что она прикрывается вечной улыбкой.

– Ненавидит вас, Валентина? Как можно вас ненавидеть?

– Друг мой, – сказала Валентина, – я должна сознаться, что ее ненависть ко мне объясняется очень просто. Она обожает своего сына, моего брата Эдуарда.

– Так что же?

– Право, мне как-то странно примешивать сюда денежные вопросы, но все-таки, мне кажется, ее ненависть вызывается именно этим. У нее самой нет никакого состояния, я же получила большое наследство после моей матери, и это богатство еще удвоится тем, что я когда-нибудь унаследую от господина и госпожи де Сен-Меран; ну вот, мне и кажется, что она завидует. Боже мой, если бы я могла отдать ей половину своего состояния, лишь бы чувствовать себя родной дочерью в доме моего отца, я, конечно, сейчас же сделала бы это.

– Бедная моя Валентина!

– Да, я чувствую себя скованной и в то же время такой слабой, что мне кажется, будто мои оковы поддерживают меня, и я боюсь их сбросить. К тому же мой отец не из тех людей, которых можно безнаказанно ослушаться; он повелевает мной, он повелевал бы и вами и даже самим королем, потому что он силен своим незапятнанным прошлым и своим почти неприступным положением. Клянусь вам, Максимилиан, я не вступаю в борьбу, потому что боюсь этим погубить вас вместе с собой.

– И все же, Валентина, – возразил Максимилиан, – зачем отчаиваться и смотреть так мрачно на будущее?

– Друг мой, я сужу о нем по прошлому.

– Но послушайте, если с аристократической точки зрения я и не представляю блестящей партии, то я все же во многих отношениях принадлежу к тому обществу, среди которого вы живете. Прошло то время, когда во Франции существовали две Франции: знать времен монархии слилась со знатью Империи, аристократия мечт сроднилась с аристократией пушки... А я принадлежу к этой последней: в армии меня ждет прекрасное будущее; у меня хоть и небольшое, но независимое состояние; наконец, в наших краях помнят и чтут моего отца как одного из самых благородных негодяев, когда-либо существовавших. Я говорю: «в наших краях», Валентина, потому что вы тоже почти из Марселя.

– Не говорите мне о Марселе, Максимилиан, одно это слово напоминает мне мою мать, этого всеми оплакиваемого ангела, который недолгое время охранял свою дочь на земле и – я верю – продолжает охранять ее, взирая на нее из вечной обители! Ах, Максимилиан, будь жива моя бедная мать, мне нечего было бы опасаться; я сказала бы ей, что люблю вас, и она защитила бы нас.

– Будь она жива, – возразил Максимилиан, – я не знал бы вас, потому что вы сами сказали, вы были бы тогда счастливы, а счастливая Валентина не снизошла бы ко мне.

– Друг мой, – воскликнула Валентина, – теперь вы несправедливы ко мне... Но скажите...

– Что вы хотите, чтобы я вам сказал? – спросил Максимилиан, заметив ее колебание.

– Скажите мне, – продолжала молодая девушка, – не было ли когда-нибудь в Марселе какого-нибудь недоразумения между вашим отцом и моим?

– Нет, я никогда не слышал об этом, – ответил Максимилиан, – если не считать того, что ваш отец был более чем ревностным приверженцем Бурбонов, а мой отец был предан императору. Я полагаю, что в этом было единственное их разногласие. Но почему вы об этом спрашиваете?

– Сейчас объясню, – сказала молодая девушка, – вам следует все знать. Это произошло в тот день, когда в газетах напечатали о вашем производстве в кавалеры Почетного легиона. Мы все были у дедушки Нуартье, и там был еще Данглар, – знаете, этот банкир, его лошади третьего дня чуть не убили мою мачеху и брата. Я читала дедушке газету, а остальные обсуждали брак мадемуазель Данглар. Когда я дошла до места, которое относилось к вам и которое я уже знала, потому что еще накануне утром вы сообщили мне эту приятную новость, – так вот когда я дошла до этого места, я почувствовала себя очень счастливой... и я была очень взволнована, потому что надо было произнести ваше имя вслух, – я, конечно, пропустила бы его, если бы не боялась, что мое умолчание будет дурно истолковано, – так что я собрала все свое мужество и прочитала его.

– Милая Валентина!

– И вот, как только ваше имя было произнесено, мой отец обернулся. Я была настолько убеждена, что ваше имя срывает всех, как удар грома (видите, какая я сумасшедшая!), что мне показалось, будто мой отец вздрогнул, так же как и господин Данглар (это уж, я уверена, было просто мое воображение).

«Моррель, – сказал мой отец, – стойте, стойте! (Он нахмурил брови). Не из тех ли он марсельских Моррелей, отъявленных бонапартистов, с которыми нам пришлось столько возиться в тысяча восемьсот пятнадцатом году?»

«Да, – ответил Данглар, – мне даже кажется, что это сын арматора».

– Вот как! – проговорил Максимилиан. – А что же сказал ваш отец?

– Ужасную вещь, я даже не решаюсь вам повторить.

– Скажите все-таки, – с улыбкой попросил Максимилиан.

«Их император, – продолжал он, хмурия брови, – умел их ставить на место, всех этих фанатиков; он называл их пушечным мясом, и это было подходящее название. Я с радостью вижу, что новое правительство снова проводит этот спасительный принцип. Если бы оно только для этого сохранило Алжир, я приветствовал бы правительство, хоть Алжир и дороговато нам обходится».

– Это действительно довольно грубая политика, – сказал Максимилиан. – Но пусть вас не смущает то, что сказал господин де Вильфор: мой отец не уступал в этом смысле вашему и неизменно повторял: «Не могу понять, почему император, всегда так здраво поступающий, не наберет полка из судей и адвокатов, чтобы посылать их всякий раз на передовые позиции?» Как видите, дорогой друг, обе стороны не уступают друг другу в живописности своих выражений и мягкосердечии. А что ответил Данглар на выпад королевского прокурора?

– Он по обыкновению усмехнулся своей угрюмой усмешкой, которая мне кажется такой жестокой; а через минуту они встали и вышли. Только тогда я заметила, что дедушка очень взволнован. Надо вам сказать, Максимилиан, что только я одна замечаю, когда бедный паралитик волнуется. Впрочем, я догадывалась, что этот разговор должен был произвести на него тяжелое впечатление. Ведь на бедного дедушку никто уже не обращает внимания; осуждали его императора, а он, по-видимому, был фанатично ему предан.

– Его имя действительно было одно из самых известных во времена Империи, – сказал Максимилиан, – он был сенатором, и, как вы знаете, Валентина, а может быть, и не знаете, он участвовал почти во всех бонапартистских заговорах времен Реставрации.

– Да, я иногда слышу, как шепотом говорят об этом, и это мне кажется очень странным: дед бонапартист, отец роялист; странно, правда?.. Так вот я обернулась к нему. Он взглядом указал мне на газету.

«Что с вами, дедушка? – спросила я. – Вы довольны?»

Он сделал мне глазами знак, что да.

«Тем, что сказал мой отец?» – спросила я.

Он сделал знак, что нет.

«Тем, что сказал господин Данглар?»

Он снова сделал знак, что нет.

«Так, значит, тем, что господин Моррель, – я не посмела сказать «Максимилиан», – произведен в кавалеры Почетного легиона?»

Он сделал знак, что да.

– Подумайте, Максимилиан, он был доволен, что вы стали кавалером Почетного легиона, а ведь он незнаком с вами. Может быть, это у него признак безумия, потому что, говорят, он впадает в детство, но мне он доставил много радости этим «да».

– Как это странно, – сказал в раздумье Максимилиан. – Значит, ваш отец ненавидит меня, тогда как, напротив, ваш дедушка... Какая странная вещь эти политические симпатии и антипатии!

– Тише! – воскликнула вдруг Валентина. – Спрячьтесь, бегите, сюда идут!

Максимилиан схватил заступ и начал безжалостно окапывать люцерну.

– Мадмуазель! Мадмуазель! – кричал чей-то голос из-за деревьев, – госпожа де Вильфор зовет вас; в гостиной сидит гость.

– Гость? – сказала взволнованная Валентина. – Кто бы это мог быть?

– Знатный гость! Говорят, вельможа, граф Монте-Кристо.

– Иду, иду, – громко сказала Валентина.

Стоявший по ту сторону ворот человек, для которого «иду, иду» Валентины служило прощанием после каждого свидания, вздрогнул, услышав это имя.

«Вот как! – подумал Максимилиан, задумчиво опираясь на заступ. – Откуда граф Монте-Кристо знаком с Вильфором?»

XIV. Токсикология

Это был в самом деле граф Монте-Кристо, явившийся к г-же де Вильфор с намерением отдать визит королевскому прокурору, и вполне понятно, что, услышав это имя, весь дом пришел в волнение.

Госпожа де Вильфор, находившаяся в гостиной в ту минуту, когда ей доложили о посетителе, тотчас же послала за сыном, чтобы мальчик мог снова поблагодарить графа. Эдуард, за эти два дня наслышавшийся разговоров о знатной особе, сразу прибежал не из послушания матери, не для того, чтобы поблагодарить графа, а из любопытства и из желания что-нибудь схватить на лету и вставить какое-нибудь глупое словцо, всякий раз вызывавшее у матери восклицание: «Ах, какой несносный ребенок! Но я не могу на него сердиться, он так умен!»

После обмена обычными приветствиями граф осведомился о г-не де Вильфор.

– Мой муж обедает у министра юстиции, – отвечала молодая женщина, – он только что уехал и, я уверена, будет очень жалеть, что не имел счастья вас видеть.

Два посетителя, которых граф застал в гостиной и которые не спускали с него глаз, встали и удалились, помедлив несколько минут не столько из приличия, сколько из любопытства.

– Кстати, что делает твоя сестра Валентина? – спросила Эдуарда г-жа Вильфор. – Пусть ее позовут, чтобы я могла представить ее графу.

– У вас есть дочь, сударыня? – спросил граф. – Но это еще, должно быть, совсем дитя?

– Это дочь господина де Вильфор от первого брака, взрослая красивая девушка.

– Но меланхоличная, – вставил маленький Эдуард, вырывая, чтобы сделать себе султан на шляпу, перья из хвоста великолепного ара, испускавшего от боли отчаянные крики на своем золоченом шесте.

Госпожа де Вильфор ограничилась замечанием:

– Замолчи, Эдуард!

Потом она добавила:

– Этот маленький шалун недалек от истины, он повторяет то, что я не раз с грустью при нем говорила: у мадемуазель де Вильфор, несмотря на все наши старания развлечь ее, печальный и молчаливый характер, это отчасти нарушает очарование ее красоты. Но она что-то не идет; Эдуард, узнай, в чем дело.

– Это оттого, что ее ищут там, где ее нет.

– А где ее ищут?

– У дедушки Нуартье.

– А, по-твоему, ее там нет?

– Нет, нет, нет, нет, нет, ее там нет, – нараспев отвечал Эдуард.

– А где же она? Если знаешь, так скажи.

– Она у больших каштанов, – продолжал злой мальчишка, не обращая внимания на окрики матери и скармливая живых мух попугаю, по-видимому большому любителю этой пищи.

Госпожа де Вильфор уже протянула руку к звонку, чтобы велеть горничной позвать Валентину, как вдруг в комнату вошла она сама.

Она действительно казалась очень грустной, и внимательный взгляд заметил бы, что она недавно плакала.

Валентина, которую мы в своем торопливом рассказе представили нашим читателям, не описав ее наружности, была высокая, стройная девушка девятнадцати лет, со светло-каштановыми волосами, с темно-синими глазами, с походкой томной и полной того несравненного изящества, которое так отличало ее мать; тонкие, белые руки, матовая, как жемчуг, шея, нежный румянец лица делали ее на первый взгляд похожей на тех прекрасных англичанок, которых так поэтично сравнивают с лебедями, глядящимися в зеркало вод.

Она вошла и, увидев рядом с мачехой иностранца, о котором она уже столько слышала, поклонилась ему без всякого девичьего жеманства и не опуская глаз, но с такой грацией, что граф еще внимательнее посмотрел на нее.

Он встал.

– Мадемуазель де Вильфор, моя падчерица, – сказала г-жа де Вильфор, откидываясь на подушки дивана и указывая графу рукой на Валентину.

– И граф Монте-Кристо, король китайский, император кохинхинский, – сказал маленький сорванец, исподтишка разглядывая сестру.

На этот раз г-жа де Вильфор побледнела и готова была разгневаться на сына – этот семейный бич; но граф, напротив, улыбнулся и, казалось, ласково взглянул на ребенка, что наполнило сердце матери беспредельной радостью.

– Но, сударыня, – сказал граф, возобновляя беседу и по очереди вглядываясь в г-жу де Вильфор и Валентину, – я как будто уже имел честь где-то видеть вас и мадемуазель де Вильфор? У меня уже мелькала эта мысль, а когда вошла мадемуазель, ее вид, как луч света, прояснил мое смутное воспоминание, если я смею так выразиться.

– Едва ли это так; мадемуазель де Вильфор не любит общества, и мы редко выезжаем, – сказала молодая женщина.

– Я видел мадемуазель де Вильфор не в обществе, так же как и вас, сударыня, и этого очаровательного проказника. К тому же парижское общество мне совершенно незнакомо, потому что, как я, кажется, уже имел честь вам сказать, я нахожусь в Париже всего несколько дней. Нет, если вы разрешите мне постараться припомнить... позвольте...

Граф поднес руку ко лбу, как бы желая сосредоточиться на своих воспоминаниях.

– Нет, это было на свежем воздухе... это было... не знаю... мне почему-то в связи с этим вспоминается яркий солнечный день и что-то вроде церковного праздника... У мадемуазель де Вильфор были в руках цветы; мальчик гонялся по саду за красивым павлином, а мы сидели в

беседке, обвитой виноградом... Помогите же мне, сударыня! Неужели то, что я сказал, ничего вам не напоминает?

– Нет, право, ничего, – отвечала г-жа де Вильфор, – а между тем, граф, я уверена, что, если бы я где-нибудь встретила вас, ваш образ не мог бы изгладиться из моей памяти.

– Может быть, граф видел нас в Италии? – робко сказала Валентина.

– В самом деле, в Италии... Возможно, – сказал Монте-Кристо. – Вы бывали в Италии, мадемуазель?

– Мы были там с госпожой де Вильфор два года тому назад. Врачи боялись за мои легкие и посоветовали мне пожить в Неаполе. Мы проездом были в Болонье, Перудже и Риме.

– Так и есть! – воскликнул Монте-Кристо, как будто это простое указание помогло ему разобраться в его воспоминаниях. – В Перудже, в день праздника тела господня, в саду Почтовой гостиницы, где случай свел всех нас, – вас, сударыня, мадемуазель де Вильфор, вашего сына и меня, я и имел честь вас видеть.

– Я отлично помню Перуджу, и Почтовую гостиницу, и праздник, о котором вы говорите, граф, – сказала г-жа де Вильфор, – но сколько я ни роюсь в своих воспоминаниях и сколько ни стыжусь себя за плохую память, я совершенно не помню, чтобы имела честь вас видеть.

– Это странно, и я тоже, – сказала Валентина, поднимая на Монте-Кристо свои прекрасные глаза.

– А я отлично помню, – заявил Эдуард.

– Я сейчас помогу вам, – продолжал граф. – День был очень жаркий; вы ждали лошадей, которых из-за праздника вам не торопились подавать. Мадемуазель удалилась в глубь сада, а ваш сын скрылся, гоняясь за павлином.

– Я поймал его, мама, помнишь, – сказал Эдуард, – и вырвал у него из хвоста три пера.

– Вы, сударыня, остались сидеть в виноградной беседке. Неужели вы не помните, что вы сидели на каменной скамье и, пока вашей дочери и сына, как я сказал, не было, довольно долго с кем-то разговаривали?

– Да, правда, – сказала г-жа де Вильфор, краснея, – я припоминаю, это был человек в длинном шерстяном плаще... доктор, кажется.

– Совершенно верно. Этот человек был я; я жил в этой гостинице уже недели две; я вылечил моего камердинера от лихорадки, а хозяина гостиницы от желтухи, так что меня принимали за знаменитого доктора. Мы довольно долго беседовали с вами на разные темы: о Перуджино, о Рафаэле, о нравах, о костюмах, о пресловутой аква-тофана, секретом которой, как вам говорили, еще владеет кое-кто в Перудже. – Да, да, – быстро и с некоторым беспокойством сказала г-жа Вильфор, – я припоминаю.

– Я уже подробно не помню ваших слов, – продолжал совершенно спокойно граф, – но я отлично помню, что, разделяя на мой счет всеобщее заблуждение, вы советовались со мной относительно здоровья мадемуазель де Вильфор.

– Но вы ведь действительно были врачом, раз вы вылечили несколько больных, – сказала г-жа де Вильфор.

– Мольер и Бомарше ответили бы вам, что это именно потому, что я им не был, – не я вылечил своих больных, а просто они выздоровели; сам я могу только сказать вам, что я довольно основательно занимался химией и естественными науками, но лишь как любитель, вы понимаете...

В это время часы пробили шесть.

– Уже шесть часов, – сказала, по-видимому очень взволнованная, г-жа де Вильфор, – может быть, вы пойдете узнать, Валентина, не желает ли ваш дедушка обедать?

Валентина встала и, поклонившись графу, молча вышла из комнаты.

– Боже мой, сударыня, неужели это из-за меня вы отослали мадемуазель де Вильфор? – спросил граф, когда Валентина вышла.

– Нисколько, граф, – поспешно ответила молодая женщина, – но в это время мы кормим господина Нуартье тем скудным обедом, который поддерживает его жалкое существование. Вам известно, в каком плачевном состоянии находится отец моего мужа?

– Господин де Вильфор мне об этом говорил; он, кажется, разбит параличом?

– Да, к несчастью. Бедный старик не может сделать ни одного движения, только душа еще теплится в этом человеческом остоле, слабая и дрожащая, как угасающий огонь в

лампе. Но, простите, граф, что я посвящаю вас в наши семейные несчастья; я прервала вас в ту минуту, когда вы говорили мне, что вы искусный химик.

– Я этого не говорил, – ответил с улыбкой граф, – напротив, я изучал химию только потому, что, решив жить преимущественно на Востоке, хотел последовать примеру царя Митридата.

– Mithridates, ex Ponticus, – сказал маленький проказник, вырезая силуэты из листов прекрасного альбома, – тот самый, который каждое утро выпивал чашку яда со сливками.

– Эдуард, противный мальчишка! – воскликнула г-жа де Вильфор, вырывая из рук сына изуродованную книгу, – Ты нестерпим, ты надоедаешь нам. Уходи отсюда, ступай к сестре, в комнату дедушки Нуартье.

– Альбом... – сказал Эдуард.

– Что альбом?

– Да, я хочу альбом...

– Почему ты изрезал картинки?

– Потому что мне так нравится.

– Ступай отсюда! Уходи!

– Не уйду, если не получу альбома, – заявил мальчик, усаживаясь в глубокое кресло, верный своей привычке ни в чем не уступать.

– Бери и оставь нас в покое, – сказала г-жа де Вильфор.

Она дала альбом Эдуарду и довела его до дверей.

Граф следил глазами за г-жой де Вильфор.

– Посмотрим, закроет ли она за ним дверь, – пробормотал он.

Госпожа де Вильфор тщательно закрыла за ребенком дверь; граф сделал вид, что не заметил этого.

Потом, еще раз оглянувшись по сторонам, молодая женщина снова уселась на козетку.

– Позвольте мне сказать вам, – заявил граф, с уже знакомым нам простодушным видом, – что вы слишком строги с этим очаровательным проказником.

– Иначе нельзя, – возразила г-жа де Вильфор с истинно материнским апломбом.

– Эдуард цитировал нам Корнелия Непота, когда говорил о царе Митридате, – сказал граф, – и вы прервали его на цитате, доказывающей, что его учитель не теряет времени даром и что ваш сын очень развит для своих лет.

– Вы нравы, граф, – отвечала польщенная мать, – он очень способный ребенок и запоминает все, что захочет. У него только один недостаток: он слишком своеволен... о, возвращаясь к тому, что он сказал, граф, верите ли вы, то Митридат принимал эти меры предосторожности и что ни оказывались действенными?

– Я настолько этому верю, что сам прибегал к этому способу, чтобы не быть отравленным в Неаполе, Палермо и Смирне, то есть в трех случаях, когда мне пришлось бы проститься с жизнью, не прими я этих мер.

– И это помогло?

– Вполне.

– Да, верно; я вспоминаю, что вы мне нечто подобное уже рассказывали в Перудже.

– В самом деле? – сказал граф, мастерски притворяясь удивленным. – Я вовсе не помню этого.

– Я вас спрашивала, действуют ли яды одинаково на северян и на южан, и вы мне даже ответили, что холодный и лимфатический темперамент северян меньше подвержен действию яда, чем пылкая и энергичная природа южан.

– Это верно, – сказал Монте-Кристо, – мне случалось видеть, как русские поглощали без всякого вреда для здоровья растительные вещества, которые неминуемо убили бы неаполитанца или араба.

– И вы считаете, что у нас в этом смысле можно еще вернее добиться результатов, чем на Востоке, и что человек легче привыкнет поглощать яды, живя среди туманов и дождей, чем в более жарком климате?

– Безусловно; но это предохранит его только от того яда, к которому он приучил свой организм.

– Да, я понимаю; а как, например, вы стали бы приучать себя или, вернее, как вы себя приучили?

– Это очень просто. Предположите, что вам заранее известно, какой яд вам собираются дать... предположите, что этим ядом будет... например, бруцин...

– Бруцин, кажется, добывается из лжеангустуровой коры⁶, – сказала г-жа де Вильфор.

– Совершенно верно, – отвечал Монте-Кристо, – но я вижу, мне нечему вас учить; позвольте мне вас поздравить: женщины редко обладают такими познаниями.

– Должна признаться, сказала г-жа де Вильфор, – что я обожаю оккультные науки, которые волнуют воображение, как поэзия, и разрешаются цифрами, как алгебраическое уравнение; но, прошу вас, продолжайте: то, что вы говорите, меня очень интересует».

– Ну так вот! – продолжал Монте-Кристо. – Предположите, что этим ядом будет, например, бруцин и что вы в первый день примете миллиграмм, на второй день два миллиграмма; через десять дней вы, таким образом, дойдете до центиграмма; через двадцать дней, прибавляя в день еще по миллиграмму, вы дойдете до трех центиграммов, то есть будете поглощать без всяких дурных для себя последствий довольно большую дозу, которая была бы чрезвычайно опасна для всякого человека, не принявшего тех же предосторожностей; наконец, через месяц, выпив стакан отравленной воды из графина, которая убила бы человека, пившего ее одновременно с вами, сами вы только по легкому недомоганию чувствовали бы, что к этой воде было примешано ядовитое вещество.

– Вы не знаете другого противоядия?

– Нет, не знаю.

– Я не раз читала и перечитывала этот рассказ о Митридате, – сказала задумчиво г-жа де Вильфор, – но я считала его сказкой.

– Нет, вопреки обычаю историков, это правда. Но, я вижу, тема нашего разговора для вас не случайный каприз; два года тому назад вы задавали мне подобные же вопросы и сами говорите, что рассказ о Митридате уже давно вас занимает.

– Это правда, граф; в юности я больше всего интересовалась ботаникой и минералогией; а когда я узнала, что изучение способов употребления лекарственных трав нередко дает ключ к пониманию всей истории восточных народов и всей жизни восточных людей, подобно тому как различные цветы служат выражением их понятий о любви, я пожалела, что не родилась мужчиной, чтобы сделаться каким-нибудь Фламельем, Фонтаной или Кабанисом.

– Тем более, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – что на Востоке люди делают себе из яда не только броню, как Митридат, они делают из него также и кинжал; наука становится в их руках не только оборонительным оружием, но и наступательным; одним они защищаются от телесных страданий, другим борются со своими врагами; опиум, белладонна, лжеангустура, ужовая целибуха, лавровишневое дерево помогают им усыплять тех, кто хотел бы их разбудить. Нет ни одной египтянки, турчанки или гречанки из тех, кого вы здесь зовете добрыми старушками, которая своими познаниями в химии не повергла бы в изумление любого врача, а своими сведениями в области психологии не привела бы в ужас любого духовника.

– Вот как! – сказала г-жа де Вильфор, глаза которой горели странным огнем во время этого разговора.

– Да, – продолжал Монте-Кристо, – все тайные драмы Востока обретают завязку в любовном зелье и развязку – в смертоносной траве или в напитке, раскрывающем человеку небеса, и в питье, повергающем его в ад. Здесь столько же различных оттенков, сколько прихотей и странностей в физической и моральной природе человека; скажу больше, искусство этих химиков умеет прекрасно сочетать болезни и лекарства со своими любовными вожделениями и жаждой мщения.

– Но, граф, – возразила молодая женщина, – это восточное общество, среди которого вы провели часть вашей жизни, по-видимому столь же фантастично, как и сказки этих чудесных стран. И там можно безнаказанно уничтожить человека? Так, значит, действительно существует Багдад и Бассора, описанные Галланом⁷? Значит, те султаны и визири, которые управляют этим обществом и представляют то, что во Франции называется правительством, действительно Харун-аль-Рашиды и Джаффары: они не только прощают отравителя, но и делают его первым министром, если его преступление было хитро и искусно, и приказывают вырезать историю этого преступления золотыми буквами, чтобы забавляться ею в часы скуки?

⁶ *Brucea ferruginea*. (Прим. автора.).

⁷ Антуан Галлан (1646–1715) – переводчик «Тысячи и одной ночи», французский востоковед.

– Нет, сударыня, время необычайного миновало даже на Востоке; и там, под другими названиями и в другой одежде, тоже существуют полицейские комиссары, следователи, королевские прокуроры и эксперты. Там превосходно умеют вешать, обезглавливать и сажать на кол преступников; но эти последние, ловкие обманщики, умеют уйти от людского правосудия и обеспечить успех своим хитроумным планам. У нас глупец, обуреваемый демоном ненависти или алчности, желая покончить с врагом или умертвить престарелого родственника, отправляется к аптекарю, называет себя вымышленным именем, по которому его еще легче находят, чем если бы он назвал настоящее имя, и, под тем предлогом, что крысы не дают ему спать, покупает пять-шесть граммов мышьяку; если он очень предусмотрителен, он заходит к пяти или шести аптекарям, что в пять или шесть раз облегчает возможность его найти. Достав нужное средство, он дает своему врагу или престарелому родственнику такую дозу мышьяку, которая уложила бы на месте мамонта или мастодонта и от которой жертва, без всякой видимой причины, начинает испускать такие вопли, что вся улица приходит в волнение. Тогда налетает туча полицейских и жандармов, посылают за врачом, который вскрывает покойника и ложками извлекает из его желудка и кишок мышьяк. На следующий день в ста газетах появляется рассказ о происшествии с именами жертвы и убийцы. Вечером аптекарь или аптекари являются сообщить: «Это он у меня купил мышьяк»; им ничего не стоит опознать убийцу среди двадцати своих покупателей; тут преступного глупца хватают, сажают в тюрьму, допрашивают, делают ему очные ставки, уличают, осуждают и гильотинируют, или, если это оказывается достаточно знатная дама, приговаривают к пожизненному заключению. Вот как ваши северяне обращаются с химией. Впрочем, Дерю, надо признать, был умнее.

– Что вы хотите, граф, – сказала, смеясь, г-жа де Вильфор, – люди делают, что могут. Не все владеют тайнами Медичи или Борджиа.

– Теперь, – продолжал граф, пожав плечами, – хотите, я вам скажу, отчего совершаются все эти нелепости? Оттого, что в ваших театрах, насколько я мог судить, читая пьесы, которые там ставятся, люди то и дело залпом выпивают содержимое флакона или глотают заключенный в перстне яд и падают бездыханными; через пять минут занавес опускается, и зрители расходятся по домам. Последствия убийства остаются неизвестными: вы никогда не увидите ни полицейского комиссара, опоясанного шарфом, ни капрала с четырьмя солдатами, и поэтому неразумные люди верят, будто в жизни все так и происходит. Но выезжайте за пределы Франции, отправляйтесь в Алеппо, в Каир или хотя бы в Неаполь, или Рим, и вы встретите на улице стройных людей со свежим, розовым цветом лица, про которых хромым бес, столкнувшись вы с ним невзначай, мог бы вам сказать: «Этот господин уже три недели как отравлен и через месяц будет холодным трупом».

– Так, значит, – сказала г-жа де Вильфор, – они нашли секрет знаменитой аква-тофана, про который мне в Перудже говорили, что он утрачен?

– Да разве в мире что-нибудь теряется? Искусства кочуют и обходят вокруг света; вещи получают другие наименования и только, а чернь не разбирается в этом, но результат всегда один и тот же: яды поражают тот или иной орган, – один действует на желудок, другой на мозг, третий на кишечник. И вот яд вызывает кашель, кашель переходит в воспаление легких или какую-либо другую болезнь, отмеченную в книге науки, что не мешает ей быть безусловно смертельной, а если бы она и не была смертельна, то неминуемо стала бы таковой благодаря лекарствам: наши немудрые врачи чаще всего посредственные химики, и борются ли их снадобья с болезнью или помогают ей – это дело случая. И вот человека убивают по всем правилам искусства, а закон бессилен, как говорил один из моих друзей, добрейший аббат Адельмонте из Таормины, искуснейший химик в Сицилии, хорошо изучивший эти национальные явления.

– Это страшно, но чудесно, – сказала молодая женщина, застывшая в напряженном внимании. – Сознаюсь, я считала все эти истории выдумками средневековья.

– Да, несомненно, но в наши дни они еще усовершенствовались. Для чего же и существует течение времени, всякие меры поощрения, медали, ордена, Монтионовские премии, как не для того, чтобы вести общество к наивысшему совершенству? А человек достигнет совершенства лишь тогда, когда сможет, подобно божеству, создавать и уничтожать по своему желанию; уничтожать он уже научился – значит, половина пути уже пройдена.

– Таким образом, – сказала г-жа де Вильфор, упорно возвращаясь к своей цели, – яды Борджиа, Медичи, Рене, Руджьери и, вероятно, позднее барона Тренка, которыми так злоупотребляли современная драма и роман...

– Были произведениями искусства, – отвечал граф. – Неужели вы думаете, что истинный ученый просто возьмется за нужного ему человека? Ни в коем случае. Наука любит рикошеты, фокусы, фантазию, если можно так выразиться. Так, например, милейший аббат Адельмонте, о котором я вам говорил, производил в этом отношении удивительные опыты.

– В самом деле?

– Да, и я вам приведу пример. У него был прекрасный сад, полный цветов, овощей и плодов; из этих овощей он выбирал какой-нибудь самый невинный – скажем, кочан капусты. В течение трех дней он поливал этот кочан раствором мышьяка; на третий день кочан заболел и желтел, наступало время его срезать; в глазах всех он имел вид созревший и по-прежнему вполне невинный; только аббат Адельмонте знал, что он отравлен. Тогда он приносил этот кочан домой, брал кролика, – у аббата Адельмонте была целая коллекция кроликов, кошек и морских свинок, ничуть не уступавшая его коллекции овощей, цветов и плодов, – итак, аббат Адельмонте брал кролика и давал ему съесть лист капусты; кролик околевал. Какой следователь нашел бы в этом что-либо предосудительное? Какому королевскому прокурору могло бы прийти в голову возбудить дело против Маженди или Флуранса⁸ по поводу умерщвленных ими кроликов, кошек и морских свинок? Ни одному. Таким образом, кролик околевал, не возбуждая внимания правосудия. Затем аббат Адельмонте велит своей кухарке выпотрошить мертвого кролика и бросает внутренности в навозную кучу. По этой навозной куче бродит курица; она клюет эти внутренности, тоже заболевает и на следующий день околевает. Пока она бьется в предсмертных судорогах, мимо пролетает ястреб (в стране аббата Адельмонте много ястребов), бросается на труп, уносит его на скалу и пожирает. Спустя три дня бедный ястреб, которому, с тех пор как он поел курицы, всё время нездоровится, вдруг чувствует головокружение и прямо из-под облаков грузно падает в ваш садок; а щука, угорь и мурена, как вам известно, прожорливы, они набрасываются на ястреба. Ну так вот, представьте себе, что на следующий день к вашему столу подадут эту щуку, угря или мурену, отравленных в четвертом колене; ваш гость будет отравлен в пятом, – и дней через восемь или десять умрет от кишечных болей, от сердечных припадков, от нарыва в желудке. После вскрытия доктора скажут: «Смерть последовала от опухоли в печени или от тифа».

– Но, – сказала г-жа де Вильфор, – все это ваше сцепление обстоятельств может очень легко прерваться: ястреб может ведь не пролететь в нужный момент или упасть в ста шагах от садка.

– А вот в этом и заключается искусство. На Востоке, чтобы быть великим химиком, надо уметь управлять случайностями, – и там это умеют.

Госпожа де Вильфор задумчиво слушала.

– Но, – сказала она, – следы мышьяка не исчезают: каким бы образом он ни попал в тело человека, он будет обнаружен, если его там достаточное количество, чтобы вызвать смерть.

– Вот, вот, – воскликнул Монте-Кристо, – именно это я и сказал добрейшему Адельмонте.

Он подумал, улыбнулся и ответил мне сицилианской пословицей, которая как будто имеется и во французском языке: «Сын мой, мир был создан не в один день, а в семь; приходите в воскресенье».

В воскресенье я снова пришел к нему; вместо того чтобы поливать кочан капусты мышьяком, он поливал его раствором соли, настоящем на стрихнине *strychnos colubrina*, как это называют в науке. На этот раз кочан капусты вовсе не казался больным, и у кролика не возникло никаких сомнений, а через пять минут кролик околевал; курица поклевала кролика и скончалась на следующий день. Тогда мы изобразили ястребов, унесли к себе курицу и вскрыли ее. На этот раз исчезли все особые симптомы и налицо были только общие. Ни в одном органе не оказалось никаких специфических признаков: только раздражение нервной системы и следы прилива крови к мозгу; курица околела не от отравления, а от апоплексии. С курами это случается редко, я знаю, но у людей это обычное явление.

Госпожа де Вильфор становилась все задумчивее.

– Какое счастье, – сказала она, – что подобные препараты могут быть изготовлены только химиками; иначе, право, одна половина человечества отравила бы другую.

– Химиками или людьми, которые интересуются химией, – небрежно ответил Монте-Кристо.

⁸ Французские физиологи.

– И, кроме того, – сказала г-жа де Вильфор, с усилием отрываясь от своих мыслей, – как бы искусно ни было совершено преступление, оно всегда останется преступлением, и если его минует людское правосудие, ему не укрыться от божьего ока. У восточных народов не такая чуткая совесть, как у нас, и они благоразумно упразднили ад; в этом все дело.

– В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения, но зрелое размышление заставит вас откинуть их. Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жан-Жака Руссо – вы знаете? – «Мандарин, которого убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца». Вся жизнь человека полна таких поступков, и его ум постоянно порождает такие мечты. Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или дающих ему, чтобы сжить его со свету, такую порцию мышьяку, как мы с вами говорили. Это действительно было бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, чтобы кровь кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся душа перевернулась. Но, если, заменяя слово, как это делается в филологии, смягченным синонимом, вы производите простое устранение; если, вместо того чтобы совершить гнусное убийство, вы просто удаляете с вашего пути того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без того, чтобы это сопровождалось страданиями, пытками, которые делают из жертвы мученика, а из вас – в полном смысле слова кровожадного зверя; если нет ни крови, ни стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и подозрительного мгновенного конца, то вы избегаете возмездия человеческих законов, говорящих вам: «Не нарушай общественного спокойствия!» Вот таким образом действуют и достигают своей цели на Востоке, где люди серьезны и флегматичны и не жалеют времени, когда дело касается сколько-нибудь важных обстоятельств.

– А совесть? – взволнованно спросила г-жа де Вильфор, подавляя вздох.

– Да, – отвечал Монте-Кристо, – да, к счастью, существует совесть, иначе мы были бы очень несчастны. После всякого энергического поступка нас спасает наша совесть; она находит нам тысячу извинений, судьями которых являемся мы сами; и хоть эти доводы и сохраняют нам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу жизнь от приговора уголовного суда. Вероятно, совесть чудесно успокоила Ричарда III после убийства обоих сыновей Эдуарда IV; в самом деле, он мог сказать себе: «Эти дети жестокого короля-гонителя унаследовали пороки своего отца, чего, кроме меня, никто не распознал в их юношеских наклонностях; эти дети мешали мне составить благоденствие английского народа, которому они неминуемо принесли бы несчастье». Так же утешала совесть и леди Макбет, желавшая, что бы там ни говорил Шекспир, посадить на трон своего сына, а вовсе не мужа. Да, материнская любовь – это такая великая добродетель, такая могущественная движущая сила, что она многое оправдывает; и после смерти Дункана леди Макбет была бы очень несчастна, если бы не ее совесть.

Госпожа де Вильфор жадно упивалась этими страшными выводами и циничными парадоксами, которые граф высказывал со свойственной ему простодушной иронией.

После минутного молчания она сказала:

– Знаете, граф, ваши аргументы ужасны и вы видите мир в довольно мрачном свете! Или вы так судите о человечестве потому, что смотрите на него сквозь колбы и реторты? Ведь вы в самом деле выдающийся химик, и этот эликсир, который вы дали моему сыну и который так быстро вернул его к жизни...

– Не очень доверяйте ему, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – капли этого эликсира было достаточно, чтобы вернуть к жизни умиравшего ребенка, но три капли вызвали бы у него такой прилив крови к легким, что у него сделалось бы сердцебиение; шесть капель захватили бы ему дыхание и вызвали бы гораздо более серьезный обморок, чем тот, в котором он находился; наконец, десять капель убили бы его на месте. Вы помните, как я отстранил его от флаконов, когда юн хотел их тронуть?

– Так это очень сильный яд?

– Вовсе нет! Прежде всего установим, что ядов самих по себе не существует: медицина пользуется самыми сильными ядами, но, если их умело применять, они превращаются в спасительные лекарства.

– Так что же это было?

– Это был препарат, изобретенный моим другом, добрейшим аббатом Адельмонте, который и научил меня его применять.

– Должно быть, это прекрасное средство против судорог! – сказала г-жа де Вильфор.

– Превосходное, вы могли убедиться в этом, – отвечал граф, – и я часто пользуюсь им; со всяческой осторожностью, разумеется, – прибавил он смеясь.

– Еще бы, – тем же тоном возразила г-жа Вильфор. – А вот мне, такой нервной и так склонной к обморокам, был бы очень нужен доктор вроде Адельмонте, который придумал бы что-нибудь, чтобы я могла свободно дышать и не боялась умереть от удушья. Но так как во Франции подобного доктора найти нелегко, а ваш аббат едва ли склонен ради меня совершить путешествие в Париж, я должна пока что довольствоваться лекарствами господина Планша; я обычно принимаю мятные и гофманские капли. Посмотрите, вот лепешки, которые для меня изготавливают по особому заказу: они содержат двойную дозу.

Монте-Кристо открыл черепаховую коробочку, которую протягивала ему молодая женщина, и с видом любителя, знающего толк в таких препаратах, понюхал лепешки.

– Они превосходны, – сказал он, – но их необходимо глотать, что не всегда возможно, например, когда человек в обмороке. Я предпочитаю мое средство.

– Ну, разумеется, я тоже предпочла бы его, тем более что видела сама, как оно действует, но, вероятно, это секрет, и я не так нескромна, чтобы вас о нем расспрашивать.

– Но я настолько учтив, – сказал, вставая, Монте-Кристо, – что почту долгом вам его сообщить.

– Ах, граф!

– Но только помните: в маленькой дозе – это лекарство, в большой дозе – яд. Одна капля возвращает к жизни, как вы сами в этом убедились; пять или шесть неминуемо принесут смерть тем более внезапную, что, растворенные в рюмке вина, они совершенно не меняют его вкуса. Но я умолкаю, сударыня, можно подумать, что я вам даю советы.

Часы пробили половину седьмого; доложили о приезде приятельницы г-жи де Вильфор, которая должна была у нее обедать.

– Если бы я имела честь видеть вас уже третий или четвертый раз, граф, а не второй, – сказала г-жа де Вильфор, – если бы я имела честь быть вашим другом, а не только счастье быть вам обязанной, я бы настаивала на том, чтобы вы остались у меня обедать и не приняла бы вашего отказа.

– Весьма признателен, – возразил Монте-Кристо, – но я связан обязательством, которого не могу не исполнить. Я обещал проводить в театр одну греческую княжну, мою знакомую, которая еще не видала оперы и рассчитывает на меня, чтобы посетить ее.

– В таком случае до свидания, граф, но не забудьте о моем лекарстве.

– Ни в коем случае, сударыня; для этого нужно было бы забыть тот час, который я провел в беседе с вами, а это совершенно невозможно.

Монте-Кристо поклонился и вышел.

Госпожа де Вильфор задумалась.

– Вот странный человек, – сказала она себе, – и мне сдается, что его имя Адельмонте.

Что касается Монте-Кристо, то результат разговора превзошел все его ожидания. «Однако, – подумал он, уходя, – это благодарная почва; я убежден, что брошенное в нее семя не пропадет даром».

И на следующий день, верный своему слову, он послал обещанный рецепт.

XV. Роберт-Дьявол

Ссылка на Оперу была тем более основательной, что в этот вечер в королевской Музыкальной академии должно было состояться большое торжество. Левассер, впервые после долгой болезни, выступал в роли Бертрама, и произведение модного композитора, как всегда, привлекло самое блестящее парижское общество.

У Альбера, как у большинства богатых молодых людей, было кресло в оркестре; кроме того, для него всегда нашлось бы место в десятке лож близких знакомых, не считая того, на которое он имел неотъемлемое право в ложе светской золотой молодежи.

Соседнее кресло принадлежало Шато-Рено.

Бошан, как подобает журналисту, был королем всей залы и мог сидеть, где хотел.

В этот вечер Люсьен Дебрэ располагал министерской ложей и предложил ее графу де Морсер, который, в виду отказа Мерседес, передал ее Данглару, уведомив его, что попозже он навестит баронессу с дочерью, если дамы соизволят принять ложу. Дамы, разумеется, не отказались. Никто так не падок на даровые ложи, как миллионеры.

Что касается Данглара, то он заявил, что его политические принципы и положение депутата оппозиции не позволяют ему сидеть в министерской ложе. Поэтому баронесса послала Люсьену записку, прося заехать за ней, – не могла же она ехать в Оперу вдвоем с Эжени.

В самом деле, если бы дамы сидели в ложе вдвоем, это, наверно, сочли бы предосудительным, но если мадемуазель Данглар поедет в театр с матерью и ее возлюбленным, то против этого никто не возразит, – приходится мириться с общественными предрассудками.

Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале. Это опять-таки обычай нашего высшего света – приезжать в театр после начала спектакля; таким образом, во время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут смотреть и слушать пьесу: они лишь созерцают прибывающих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разговоры.

– Вот как! – сказал Альбер, увидав, что отворяется дверь в одной из нижних боковых лож. – Вот как! Графиня Г.

– Кто такая графиня Г.? – спросил Шато-Рено.

– Однако, барон, что за непростительный вопрос? Вы не знаете, кто такая графиня Г.?..

– Ах, да, – сказал Шато-Рено, – это, вероятно, та самая очаровательная венецианка?

– Вот именно.

В эту минуту графиня Г. заметила Альбера и с улыбкой кивнула, отвечая на его поклон.

– Вы знакомы с ней? – спросил Шато-Рено.

– Да, – отвечал Альбер, – Франц представил меня ей в Риме.

– Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, которую вам в Риме оказал Франц?

– С удовольствием.

– Тише! – крикнули в публике.

Молодые люди продолжали разговор, ничуть не считаясь с желанием партера слушать музыку.

– Она была на скачках на Марсовом Поле, – сказал Шато-Рено.

– Сегодня?

– Да.

– В самом деле, ведь сегодня были скачки. Вы играли?

– Пустяки, на пятьдесят луидоров.

– И кто выиграл?

– «Наutilus». Я ставил на него.

– Но ведь было три заезда?

– Да. Был приз Жокей-клуба, золотой кубок. Произошел даже довольно странный случай.

– Какой?

– Тише же! – снова крикнули им.

– Какой? – повторил Альбер.

– Эту скачку выиграла совершенно неизвестная лошадь с неизвестным жокеем.

– Каким образом?

– Да вот так. Никто не обратил внимания на лошадь, записанную под именем Вампа, и на жокея, записанного под именем Иова, как вдруг увидали чудного гнедого скакуна и крохотного жокея; пришлось насовать ему в карманы фунтов двадцать свинца, что не помешало ему опередить на три корпуса «Ариеля» и «Барбаро», шедших вместе с ним.

– И так и не узнали, чья это лошадь?

– Нет.

– Вы говорите, она была записана под именем...

– Вампа.

– В таком случае, – сказал Альбер, – я более осведомлен, чем вы; я знаю, кому она принадлежала.

– Да замолчите же, наконец! – в третий раз крикнули из партера.

На этот раз возмущение было настолько велико, что молодые люди, наконец, поняли, что возгласы относятся к ним. Они обернулись, ища в толпе человека, ответственного за такую дерзость, но никто не повторил окрика, и они снова повернулись к сцене.

В это время отворилась дверь в ложу министра, и г-жа Данглар, ее дочь и Люсьен Дебрэ заняли свои места.

– А вот и ваши знакомые, виконт, – сказал Шато-Рено. – Что это вы смотрите направо? Вас ищут.

Альбер обернулся и действительно встретился глазами с баронессой Данглар, которая движением веера приветствовала его. Что касается мадемуазель Эжени, то она едва соблаговолила опустить свои большие черные глаза к креслам оркестра.

– Право, дорогой мой, – сказал Шато-Рено, – если не говорить о мезальянсе, – а я не думаю, чтобы это обстоятельство вас очень беспокоило, – я совершенно не понимаю, что вы можете иметь против мадемуазель Данглар: она очень красива.

– Очень красива, разумеется, – сказал Альбер, – но, признаюсь, в смысле красоты я предпочел бы что-нибудь более нежное, более мягкое, словом более женственное.

– Вот нынешние молодые люди, – возразил Шато-Рено, который с высоты своих тридцати лет обращался с Альбером по-отечески, – они никогда ничем не бывают довольны. Помилуйте, дорогой мой, вам предлагают невесту, созданную по образу Дианы-охотницы, и вы еще жалуетесь!

– Вот именно, я предпочел бы что-нибудь вроде Венеры Милосской или Капуанской. Эта Диана-охотница, вечно окруженная своими нимфами, немного пугает меня; я боюсь, как бы меня не постигла участь Актеопа.

В самом деле, взглянув на эту девушку, можно было, пожалуй, понять то чувство, в котором признавался Альбер. Мадемуазель Данглар была красива, но, как сказал Альбер, в красоте ее было что-то суровое; волосы ее были прекрасного черного цвета, вьющиеся от природы, но в их завитках чувствовалось как бы сопротивление желавшей покорить их руке; глаза ее, такие же черные, как волосы, под великолепными бровями, единственным недостатком которых было то, что они иногда хмурились, поражали выражением твердой воли, не свойственным женскому взгляду; нос ее был точно такой, каким ваятель снабдил бы Юнону; только рот был несколько велик, но зато прекрасны были зубы, еще более оттенявшие яркость губ, резко выделявшихся на ее бледном лице; наконец, черное родимое пятнышко в углу рта, более крупное, чем обычно бывают эти прихоти природы, еще сильнее подчеркивало решительный характер этого лица, несколько пугавший Альбера.

К тому же и фигура Эжени соответствовала лицу, которое мы попытались описать. Она, как сказал Шато-Рено, напоминала Диану-охотницу, но только в красоте ее было еще больше твердости и силы.

Если в полученном ею образовании можно было найти какой-либо недостаток, так это то, что, подобно некоторым чертам ее внешности, оно скорее подошло бы лицу другого пола. Она говорила на нескольких языках, мило рисовала, писала стихи и сочиняла музыку; этому искусству она предавалась с особенной страстью и изучала его с одной из своих школьных подруг, бедной девушкой, обладавшей, как уверяли, всеми необходимыми данными для того, чтобы стать превосходной певицей. Некий знаменитый композитор относился к ней, по слухам, с почти отеческой заботливостью и занимался с нею в надежде, что когда-нибудь ее голос принесет ей богатство. Возможность, что Луиза д'Армильи – так звали эту молодую певицу – выступит впоследствии на сцене, мешала мадемуазель Данглар показываться вместе с нею в обществе, хоть она и принимала ее у себя. Но и не пользуясь в доме банкира независимым положением подруги, Луиза всё же была более чем простая преподавательница.

Через несколько секунд после появления г-жи Данглар в ложе занавес упал: можно было во время получасового антракта погулять в фойе или навестить в ложах знакомых, и кресла оркестра почти опустели.

Альбер и Шато-Рено одними из первых покинули свои места. Одну минуту г-жа Данглар думала, что эта поспешность Альбера вызвана желанием приветствовать ее, и она уклонилась к дочери, чтобы предупредить ее об этом, но только покачала головой и улыбнулась; в эту самую минуту, как бы подкрепляя недоверие. Эжени, Альбер пошел в боковой ложе первого яруса. Это была ложа графини Г.

– А, вот и вы, господин путешественник! – сказала графиня, протягивая ему руку с приветливостью старой знакомой. – Очень мило с вашей стороны, что вы узнали меня, а главное, что предпочли навестить меня первую.

– Поверьте, графиня, – отвечал Альбер, – если бы я знал, что вы в Париже, и если бы мне был известен ваш фее, я не стал бы ждать так долго. Но разрешите мне представить вам моего друга, барона Шато-Рено, одного из немногих сохранившихся во Франции аристократов; он только что сообщил мне, что вы присутствовали на скачках за Марсовом Поле.

Шато-Рено поклонился.

– Вы были на скачках? – с интересом спросила его графиня.

– Да, сударыня.

– Тогда не можете ли вы мне сказать, – живо продолжала она, – кому принадлежала лошадь, выигравшая приз Жокей-клуба?

– Не знаю, – отвечал Шато-Рено, – я только что задал этот самый вопрос Альберу.

– Вам это очень важно, графиня? – спросил Альбер.

– Что?

– Узнать имя владельца лошади?

– Бесконечно. Представьте себе... Но, может быть, вы его знаете, виконт?

– Графиня, вы хотели что-то рассказать. «Представьте себе» – сказали вы.

– Да, представьте себе, этот чудесный гнедой скакун и этот очаровательный маленький жокей в розовом с первого же взгляда внушили мне такую симпатию, что я от всей души желала им удачи, как будто я поставила на них половину моего состояния, а когда я увидела, что они пришли первыми, опередив остальных на три корпуса, я так обрадовалась, что стала хлопать, как безумная. Вообразите мое изумление, когда, вернувшись домой, я встретила у себя на лестнице маленького розового жокея! Я подумала, что победитель, вероятно, живет в одном доме со мной, но когда я открыла дверь моей гостиной, мне сразу бросился в глаза золотой кубок, выигранный сегодня неизвестной лошадей и неизвестным жокеем. В кубке лежала записка: «Графине Г. лорд Рутвен».

– Так и есть, – сказал Альбер.

– То есть как это? Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что это тот самый лорд Рутвен.

– Какой лорд Рутвен?

– Да наш вампир, которого мы видели в театре Арджентина.

– Неужели? – воскликнула графиня. – Разве он здесь?

– Конечно.

– И вы видите с ним? Он у вас бывает? Вы посещаете его?

– Это мой близкий друг, и даже господин де Шато-Рено имеет честь быть с ним знакомым.

– Почему вы думаете, что это именно он взял приз?

– Его лошадь записана под именем Вампа.

– Что же из этого?

– А разве вы не помните, как звали знаменитого разбойника, который взял меня в плен?

– Да, правда.

– Из рук которого меня чудесным образом спас граф?

– Да, да.

– Его звали Вампа. Теперь вы сами видите, что это он.

– Но почему он прислал этот кубок мне?

– Во-первых, графиня, потому, что я, можете поверить, много рассказывал ему о вас, а во-вторых, вероятно, потому, что он был очень рад встретить соотечественницу и счастлив тем интересом, который она к нему проявила.

– Я надеюсь, что вы ничего не рассказывали ему о тех глупостях, которые мы болтали на его счет!

– Откровенно говоря, я за это не поручусь, а то, что он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена...

– Да ведь это ужасно! Он меня возненавидит!

– Разве его поступок свидетельствует о враждебности?

– Признаться, нет.

– Вот видите!

– Так, значит, он в Париже!

– Да.

– И какое он произвел впечатление?

– Что ж, – сказал Альбер, – о нем поговорили неделю, потом случилась коронация английской королевы и кража бриллиантов у мадемуазель Марс, – и стали говорить об этом.

– Дорогой мой, – сказал Шато-Рено, – сразу видно, что граф ваш друг, вы к нему соответственно относитесь. Не верьте ему, графиня, в Париже только и говорят, что о графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже Данглар пару лошадей, стоивших тридцать тысяч франков; потом спас жизнь госпоже де Вильфор; затем, по-видимому, взял приз Жокей-клуба. Что бы ни говорил Морсер, я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересованы графом и еще целый месяц только о нем и будут говорить, если он будет продолжать оригинальничать; впрочем, по-видимому, это его обычное занятие.

– Может быть, – сказал Альбер. – Кстати, кто это занял бывшую ложу русского посла?

– Которая это? – спросила графиня.

– В первом ярусе между колонн; по-моему, ее совершенно заново отделали.

– В самом деле, – заметил Шато-Рено. – Был ли там кто-нибудь во время первого действия?

– Где?

– В этой ложе.

– Нет, – отвечала графиня, – я никого не заметила; так что, по-вашему, – продолжала она, возвращаясь к предыдущему разговору, – это ваш граф Монте-Кристо взял приз?

– Я в этом уверен.

– И это он послал мне кубок?

– Несомненно.

– Но я же с ним не знакома, – сказала графиня, – я бы очень хотела вернуть ему кубок.

– Не делайте этого: он пришлет вам другой, высеченный из цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он всегда так делает, приходится с этим мириться.

В это время звонок возвестил начало второго действия. Альбер встал, чтобы вернуться на свое место.

– Я вас еще увижу? – спросила графиня.

– В антракте, если вы разрешите, я зайду осведомиться, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен в Париже.

– Господа, – сказала графиня, – по субботам, вечером, я дома для своих друзей, улица Риволи, двадцать два. Навестите меня.

Молодые люди поклонились и вышли из ложи.

Войдя в партер, они увидели, что вся публика стоит, глядя в одну точку залы; они взглянули туда же, и глаза их остановились на бывшей ложе русского посла. В нее только что вошел одетый в черное господин лет тридцати пяти – сорока в сопровождении молодой девушки в восточном костюме. Она была поразительно красива, а костюм ее до того роскошен, что, как мы уже сказали, все взоры немедленно обратились на нее.

– Да это Монте-Кристо со своей албанкой, – сказал Альбер.

Действительно, это были граф и Гайде.

Не прошло и нескольких минут, как Гайде привлекла к себе внимание не только партера, но и всей зрительной залы: дамы высовывались из своих лож, чтобы увидеть, как струится под огнями люстры искрящийся водопад алмазов.

Весь второй акт прошел под сдержанный гул, указывающий, что собравшаяся толпа поражена и взволнована. Никто не помышлял о том, чтобы восстановить тишину. Эта девушка, такая юная, такая красивая, такая ослепительная, была удивительнейшим из зрелищ.

На этот раз поданный Альберу знак ясно показывал, что г-жа Данглар желает видеть его в своей ложе в следующем антракте.

Альбер был слишком хорошо воспитан, чтобы заставлять себя ждать, если ему ясно показывали, что его ждут. Поэтому, едва действие кончилось, он поспешил подняться в литературную ложу.

Он поклонился обеим дамам и пожал руку Дебрэ.

Баронесса встретила его очаровательной улыбкой, а Эжени со своей обычной холодностью.

– Дорогой мой, – сказал ему Дебрэ, – вы видите перед собой человека, дошедшего до полного отчаяния и призывающего вас на помощь. Баронесса засыпает меня расспросами о графе и требует, чтобы я знал, кто он, откуда он, куда направляется. Честное слово, я не Калиостро, и, чтобы как-нибудь выпутаться, я сказал:

«Спросите об этом Морсера, он знает Монте-Кристо как свои пять пальцев». И вот вас призвали.

– Это невероятно, – сказала баронесса, – располагать полумиллионным секретным фондом и быть до такой степени неосведомленным!

– Поверьте, баронесса, – отвечал Люсьен, – что если бы я располагал полумиллионом, я употребил бы его на что-нибудь другое, а не на соби́рание сведений о графе Монте-Кристо, который, на мой взгляд, обладает только тем достоинством, что богат, как два набоба; но я уступаю место моему другу Морсеру: обратитесь к нему, меня это больше не касается.

– Едва ли набоб прислал бы мне пару лошадей ценой в тридцать тысяч франков, с четырьмя бриллиантами в ушах, по пять тысяч каждый.

– Бриллианты – его страсть, – засмеялся Альбер. – Мне кажется, что у него, как у Потемкина, ими всегда набиты карманы, и он сыплет ими, как мальчик-с-пальчик камешками.

– Он нашел где-нибудь алмазные копи, – сказала госпожа Данглар. – Вы знаете, что в банке барона у него неограниченный кредит?

– Нет, я не знал, – отвечал Альбер, – но меня это не удивляет.

– Он заявил господину Данглару, что собирается пробыть в Париже год и израсходовать шесть миллионов.

– Надо думать, что это персидский шах, путешествующий инкогнито.

– А какая красавица эта женщина! – сказала Эжени. – Вы заметили, господин Люсьен?

– Право, вы единственная из всех женщин, кого я знаю, которая отдает должное другим женщинам.

Люсьен вставил в глаз монокль.

– Очаровательна, – заявил он.

– А знает ли господин де Морсер, кто эта женщина?

– Знаю лишь приблизительно, как и все, что касается таинственной личности, о которой мы говорим, – сказал Альбер, отвечая на этот настойчивый вопрос. – Эта женщина – албанка.

– Это видно по ее костюму, и то, что вы нам сообщаете, уже известно всей публике.

– Мне очень жаль, что я такой невежественный чичероне, – сказал Альбер, – но должен сознаться, что на этом мои сведения кончаются; знаю еще только, что она музыкантша: однажды, завтракая у графа, я слышал звуки лютни, на которой, кроме нее, некому было играть.

– Так он принимает у себя гостей, ваш граф? – спросила г-жа Данглар.

– И очень роскошно, смею вас уверить.

– Надо заставить Данглара дать ему обед или бал, чтобы он в ответ пригласил нас.

– Как, вы бы поехали к нему? – сказал, смеясь, Дебрэ.

– Почему бы нет? Вместе с мужем!

– Да ведь он холост, этот таинственный граф!

– Вы же видите, что нет, – в свою очередь рассмеялась баронесса, указывая на красавицу албанку.

– Эта женщина – невольница; помните, Морсер, он сам нам об этом сказал у вас за завтраком.

– Согласитесь, дорогой Люсьен, – сказала баронесса, – что у нее скорее вид принцессы.

– Из «Тысячи и одной ночи», – вставил Альбер.

– Согласен, но что создает принцесс, дорогой мой? Бриллианты, а она ими осыпана.

– Их даже слишком много, – сказала Эжени, – без них она была бы еще красивее, потому что тогда были бы видны ее шея и руки, а они прелестны.

– Ах, эти художницы! – сказала г-жа Данглар. – Посмотрите, она уже загорелась.

– Я люблю все прекрасное, – ответила Эжени.

– В таком случае что вы скажете о графе? – спросил Дебрэ. – По-моему, он тоже недурен собою.

– Граф? – сказала Эжени, словно ей до сих пор не приходило в голову взглянуть на него. – Граф слишком бледен.

– Вот именно, – сказал Морсер, – как раз эта бледность и интересуется нас. Знаете, графиня Г. утверждает, что он вампир.

– А разве графиня Г. вернулась? – спросила баронесса.
– Она сидит в боковой ложе, мама, – сказала Эжени, – почти против нас. Видите, вот женщина с чудесными золотистыми волосами – это она.
– Да, вижу, – сказала г-жа Данглар. – Знаете, что вам следовало бы сделать, Морсер?
– Приказывайте, баронесса.
– Вам следовало бы пойти навестить вашего графа Монте-Кристо и привести его к нам.

– Зачем это? – спросила Эжени.
– Да чтобы поговорить с ним; разве тебе не интересно видеть его?
– Нисколько.
– Странная девочка! – пробормотала баронесса.
– Он, вероятно, и сам придет, – сказал Альбер. – Вон он увидел вас, баронесса, и кланяется вам.

Баронесса, очаровательно улыбаясь, ответила графу на его поклон.

– Хорошо, – сказал Альбер, – я принесу себя в жертву: я покину вас и посмотрю, нельзя ли с ним поговорить.

– Пойдите к нему в ложу; нет ничего проще.
– Но я не был представлен.
– Кому?
– Красавице албанке.
– Но ведь вы говорите, что это невольница.
– Да, но вы утверждаете, что это принцесса... По, может быть, увидав, что я иду, он выйдет тоже.
– Это возможно. Идите.
– Иду.

Альбер поклонился и вышел. Действительно, когда он проходил мимо ложи графа, дверь ее открылась и вышел Монте-Кристо; он сказал несколько слов по-арабски Али, стоявшему в коридоре, и взял Альбера под руку. Али закрыл дверь и встал перед нею; вокруг нубийца в коридоре образовалось целое сборище.

– Право, – сказал Монте-Кристо, – ваш Париж очень странный город, и ваши парижане удивительные люди. Можно подумать, что они в первый раз видят негра. Посмотрите, как они столпились около бедного Али, который не понимает, в чем дело. Смею вас заверить, что, если парижанин приедет в Тунис, Константинополь, Багдад или Каир, вокруг него нигде не соберется толпа.

– Это потому, что на Востоке люди обладают здравым смыслом и смотрят только на то, на что стоит смотреть, – по, поверьте, Али пользуется таким успехом только потому, что принадлежит вам, а вы сейчас самый модный человек в Париже.

– В самом деле? А чему я обязан этим счастьем?

– Да самому себе. Вы дарите запряжки в тысячу луидоров; вы спасаете жизнь женам королевских прокуроров; под именем майора Блэка вы посылаете на скачки кровных скакунов и жокеев ростом с обезьяну уистити; наконец, вы выигрываете золотые кубки и посылаете их хорошеньким женщинам.

– Кто это рассказал вам все эти басни?

– Первую – госпожа Данглар, которой до смерти хочется видеть вас в своей ложе, или, вернее, чтобы другие вас там видели; вторую – газета Бошана; а третью – моя собственная догадливость. Зачем вы называете свою лошадь Вампа, если хотите сохранить инкогнито?

– Да, действительно, – сказал граф, – это было неосторожно. Но скажите, разве граф де Морсер не бывает в Опере? Я внимательно смотрел, но нигде не видел его.

– Он будет сегодня.

– Где?

– Думаю, что в ложе баронессы.

– Эта очаровательная особа рядом с нею, вероятно, ее дочь?

– Да.

– Позвольте поздравить вас.

Альбер улыбнулся.

– Мы поговорим об этом подробнее в другой раз. Как вам нравится музыка?

– Какая музыка?

– Да та, которую мы сейчас слышали.

– Превосходная музыка, если принять во внимание, что ее сочинил человек и исполняют двуногие и бескрылые птицы, как говорил покойный Диоген.

– Вот как, дорогой граф? Можно подумать, что при желании вы можете услаждать ваш слух пением семи ангельских хоров?

– Почти что так, виконт. Когда мне хочется послушать восхитительную музыку, такую, которой никогда не слышало ухо смертного, я засыпаю.

– Ну, так вы попали как раз в надлежащее место; спите на здоровье, дорогой граф, опера для того и создана.

– Нет, говоря откровенно, ваш оркестр производит слишком много шума. Чтобы спать тем сном, о котором я вам говорю, мне нужны покой и тишина и, кроме того, некоторая подготовка...

– Знаменитый гашиш?

– Вот именно. Виконт, когда вам захочется послушать музыку, приходите ко мне ужинать.

– Я уже слушал ее, когда завтракал у вас.

– В Риме?

– Да.

– А, это была лютия Гайде. Да, бедная изгнанница иногда развлекается тем, что играет мне песни своей родины.

Альбер не стал спрашивать, замолчал и граф.

В эту минуту раздался звонок.

– Вы меня извините? – сказал граф, направляясь к своей ложе.

– Помилуйте.

– Прошу вас передать графине Г. привет от ее вампира.

– А баронессе?

– Передайте, что, если она разрешит, я в течение вечера буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение.

Начался третий акт. Во время этого акта граф де Морсер, согласно своему обещанию, явился в ложу г-жи Данглар.

Граф был не из тех людей, которые приводят в смятение зрительную залу, так что никто, кроме тех, кто сидел в той же ложе, не заметил его появления.

Монте-Кристо все же заметил его, и легкая улыбка пробежала по его губам.

Что касается Гайде, то, чуть только поднимали занавес, она ничего уже не видела вокруг. Как все непосредственные натуры, ее увлекало все, что говорит слуху и зрению.

Третий акт прошел, как всегда; балерины Нобле, Жюлия и Леру проделали свои обычные антраша; Роберт-Марио бросил вызов принцу Гренадскому; наконец, величественный король, держа за руку дочь, прошелся по сцене, чтобы показать зрителям свою бархатную мантию; после чего занавес упал, и публика рассеялась по фойе и коридорам.

Граф вышел из своей ложи и через несколько секунд появился в ложе баронессы Данглар.

Баронесса не могла удержаться от возгласа радостного удивления.

– Ах, граф, как я рада вас видеть! – воскликнула она. – Мне так хотелось поскорее присоединить мою устную благодарность к той записке, которую я вам послала.

– Неужели вы еще помните об этой безделице, баронесса? Я уже совсем забыл о ней.

– Да, но нельзя забыть, что на следующий день вы спасли моего дорогого друга, госпожу де Вильфор, от опасности, которой она подвергалась из-за тех же самых лошадей.

– И за это я не заслуживаю вашей благодарности, сударыня; эту услугу имел счастье оказать госпоже де Вильфор мой нубиец Али.

– А моего сына от рук римских разбойников тоже спас Али? – спросил граф де Морсер.

– Нет, граф, – сказал Монте-Кристо, пожимая руку, которую ему протягивал генерал, – нет; на этот раз я принимаю благодарность, но ведь вы уже высказали мне ее, я ее выслушал, и, право, мне совестно, что вы еще вспоминаете об этом. Пожалуйста, окажите мне честь, баронесса, и представьте меня вашей дочери.

– Она уже знает вас, по крайней мере по имени, потому что вот уже несколько дней мы только о вас и говорим. Эжени, – продолжала баронесса, обращаясь к дочери, – это граф Монте-Кристо!

Граф поклонился; мадемуазель Данглар слегка кивнула головой.

– С вами в ложе сидит замечательная красавица, граф, – сказала она, – это ваша дочь?

– Нет, мадемуазель, – сказал Монте-Кристо, удивленный этой бесконечной наивностью или поразительным апломбом, – это несчастная албанка; я ее опекун.

– И ее зовут?

– Гайде, – отвечал Монте-Кристо.

– Албанка! – пробормотал граф де Морсер.

– Да, граф, – сказала ему г-жа Данглар, – и скажите, видали вы когда-нибудь при дворе Али-Тебелина, которому вы так славно служили, такой чудесный костюм, как у нее?

– Так вы служили в Янине, граф? – спросил Монте-Кристо.

– Я был генерал-инспектором войск паши, – отвечал Морсер, – и не скрою, тем незначительным состоянием, которым я владею, я обязан щедротам знаменитого албанского владыки.

– Да взгляните же на нее, – настаивала г-жа Данглар.

– Где она? – пробормотал Морсер.

– Вот! – сказал Монте-Кристо.

И, положив руку графу на плечо, он наклонился с ним через барьер ложи.

В эту минуту Гайде, искавшая глазами графа, заметила его бледное лицо рядом с лицом Морсера, которого он держал, обняв за плечо. Это зрелище произвело на молодую девушку такое же впечатление, как если бы она увидела голову Медузы; она наклонилась немного вперед, словно впиваясь в них взглядом, потом сразу же откинулась назад, испустив слабый крик, все же услышанный ближайшими соседями и Али, который немедленно открыл дверь.

– Посмотрите, – сказала Эжени, – что случилось с вашей питомицей, граф? Ей, кажется, дурно.

– В самом деле, – отвечал граф, – но вы не пугайтесь. Гайде очень нервна и поэтому очень чувствительна ко всяким запахам: антипатичный ей запах уже вызывает у нее обморок, но, – продолжал граф, вынимая из кармана флакон, – у меня есть средство от этого.

И, поклонившись баронессе и ее дочери, он еще раз пожал руку графу и Дебрэ и вышел из ложи г-жи Данглар.

Вернувшись в свою ложу, он нашел Гайде еще очень бледной; не успел он войти, как она схватила его за руку.

Монте-Кристо заметил, что руки молодой девушки влажны и холодны, как лед.

– С кем это ты разговаривал, господин? – спросила она.

– Да с графом де Морсер, – отвечал Монте-Кристо, – он служил у твоего доблестного отца и говорит, что обязан ему своим состоянием.

– Негодяй! – воскликнула Гайде. – Это он продал его туркам, и его состояние – цена измены. Неужели ты этого не знал, мой дорогой господин?

– Я что-то слышал об этом в Эпире, – сказал Монте-Кристо, – но не знаю всех подробностей этой истории. Пойдем, дитя мое, ты мне все расскажешь, это, должно быть, очень любопытно.

– Да, да, уйдем, мне кажется, я умру, если еще останусь вблизи этого человека.

Гайде быстро встала, завернулась в свой бурнус из белого кашемира, вышитый жемчугом и кораллами, и поспешно вышла из ложи в ту минуту, как подымался занавес.

– Посмотрите, – сказала графиня Г. Альберу, который снова вернулся к ней, – этот человек ничего не делает так, как все! Он благоговейно слушает третий акт «Роберта» и уходит как раз в ту минуту, когда начинается четвертый.

XVI. Биржевая игра

Через несколько дней после этой встречи Альбер де Морсер посетил графа Монте-Кристо в его особняке на Елисейских Полях, уже принявшем тот дворцовый облик, который граф, благодаря своему огромному состоянию, придавал даже временным своим жилищам. Он явился еще раз выразить ему от имени г-жи Данглар признательность, уже однажды высказанную ею в письме, подписанном баронессой Данглар, урожденной Эрмини де Сервьер.

Альбера сопровождал Люсьен Дебрэ, присовокупивший к словам своего друга несколько любезностей, не носивших, конечно, официального характера, но источник которых не мог укрыться от наблюдательного взора графа. Ему даже показалось, что Люсьен приехал к нему движимый двойным любопытством и что половина этого чувства исходит от обитателей улицы

Шоссе д'Антен. В самом деле, он, не боясь ошибиться, легко мог предположить, что г-жа Данглар, лишенная возможности увидеть собственными глазами, как живет человек, который дарит лошадей в тридцать тысяч франков и ездит в театр с невольницей, увешанной бриллиантами, поручила глазам, которым она имела обыкновение доверять, собрать кое-какие сведения о его домашней жизни.

Но граф не подал вида, что ему понятна связь этого визита Люсьена с любопытством баронессы.

– Вы часто встречаетесь с бароном Дангларом? – спросил он Альбера.

– Конечно, граф; вы же помните, что я вам говорил.

– Значит, все по-прежнему?

– Более чем когда-либо, – сказал Люсьен, – это дело решенное.

И находя, по-видимому, что он принял уже достаточное участие в разговоре, Люсьен вставил в глаз черепаховый монокль и, покусывая золотой набалдашник трости, начал обходить комнату, рассматривая оружие и картины.

– Но, судя по вашим словам, мне казалось, что окончательное решение еще не так близко, – сказал Монте-Кристо Альберу.

– Что поделаешь? Дела идут так быстро, что и не замечаешь этого; не думаешь о них, а они думают о тебе; и когда оглянешься, остается только удивляться, как далеко они зашли. Мой отец и господин Данглар вместе служили в Испании, мой отец в войсках, а господин Данглар по провиантской части. Именно там мой отец, разоренный революцией, положил начало своей недурной политической и военной карьере, а господин Данглар, никогда не обладавший достатком, – своей изумительной политической и финансовой карьере.

– В самом деле, – сказал Монте-Кристо, – я припоминаю, что господин Данглар, когда я у него был, рассказывал мне об этом. – Он взглянул на Люсьена, перелистывавшего альбом, и прибавил: – А ведь она хорошенькая, мадемуазель Эжени! Помнится, ее зовут Эжени, не так ли?

– Очень хорошенькая, или, вернее, очень красивая, – отвечал Альбер, – но я не ценитель этого рода красоты. Я недостоин!

– Вы говорите об этом, словно она уже ваша жена!

– Ох, – вздохнул Альбер, посмотрев в свою очередь, чем занят Люсьен.

– Мне кажется, – сказал Монте-Кристо, понижая голос, – что вы не очень восторженно относитесь к этому браку.

– Мадемуазель Данглар, на мой взгляд, слишком богата, это меня пугает.

– Вот так причина! – отвечал Монте-Кристо. – Разве вы сами не богаты?

– У моего отца, что-то около пятидесяти тысяч ливров годового дохода, и, когда я женюсь, он, вероятно, выделит мне тысяч десять или двенадцать.

– Конечно, это довольно скромно, – сказал граф, – особенно для Парижа, но богатство еще не все, – знатное имя и положение – в обществе тоже что-нибудь да значат. У вас знаменитое имя, великолепное общественное положение; к тому же граф де Морсер – солдат, и приятно видеть, когда неподкупность Байяра сочетается с бедностью Дюгесклена. Бескорыстие – тот солнечный луч, в котором ярче всего блещет благородный меч. Я, напротив, считаю этот брак как нельзя более подходящим; мадемуазель Данглар принесет вам богатство, а вы ей – благородное имя!

Альбер задумчиво покачал головой.

– Есть еще одно обстоятельство, – сказал он.

– Признаюсь, – продолжал граф, – мне трудно понять ваше отвращение к богатой и красивой девушке.

– Знаете, – сказал Морсер, – если это можно назвать отвращением, то я не один испытываю его.

– А кто же еще? Ведь вы говорили, что ваш отец желает этого брака.

– Моя мать, а у нее зоркий и верный глаз. И вот моей матери этот брак не нравится; у нее какое-то предубеждение против Дангларов.

– Ну, это понятно, – сказал граф, слегка натянутым тоном, – графиню де Морсер, олицетворение изысканности, аристократичности, душевной тонкости, немного пугает прикосновение тяжелой и грубой плебейской руки, это естественно.

– Право, не знаю, так ли это, – отвечал Альбер, – но я знаю, что, если этот брак состоится, она будет несчастна. Уже полтора месяца назад решено было собраться, чтобы обсудить деловую сторону вопроса, но у меня начались такие мигрени...

– Подлинные? – спросил, улыбаясь, граф.

– Самые настоящие – вероятно, от страха... из-за них совещание отложили на два месяца. Вы понимаете, дело не к спеху: мне еще нет двадцати одного года, а Эжени только семнадцать, но двухмесячная отсрочка истекает на будущей неделе. Придется выполнить обязательство. Вы не можете себе представить, дорогой граф, как это меня смущает... Ах, как вы счастливы, что вы свободный человек!

– Да кто же вам мешает быть тоже свободным?

– Для моего отца было бы слишком большим разочарованием, если бы я не женился на мадемуазель Данглар.

– Ну, так женитесь на ней, – сказал граф, как-то особенно передернув плечами.

– Да, – возразил Альбер, – но для моей матери это будет уже не разочарованием, а горем.

– Тогда не женитесь, – сказал граф.

– Я подумаю, я попытаюсь; вы не откажете мне в советах, правда? Может быть, вы могли бы выручить меня? Знаете, чтобы не огорчать мою матушку, я, пожалуй, пойду на ссору с отцом.

Монте-Кристо отвернулся; он казался взволнованным.

– Чем это вы занимаетесь, – обратился он к Дебрэ, который сидел в глубоком кресле на другом конце гостиной, держа в правой руке карандаш, а в левой записную книжку, – срисовываете Пуссена?

– Срисовываю? Как бы не так! – спокойно отвечал тот. – Я для этого слишком люблю живопись! Нет, я делаю как раз обратное, я подсчитываю.

– Подсчитываете?

– Да, я произвожу расчеты; это косвенно касается и вас, виконт; я подсчитываю, что заработал банк Данглара на последнем повышении Гаити; в три дня акции поднялись с двухсот шести до четырехста девяти, а предусмотрительный банкир купил большую партию по двести шесть. По моим расчетам, он должен был заработать тысяч триста.

– Это еще не самое удачное его дело, – сказал Альбер, – заработал же он в этом году миллион на испанских облигациях.

– Послушайте, дорогой мой, – заметил Люсьен, – граф Монте-Кристо мог бы вам ответить вместе с итальянцами:

Danaro e santità –
Meta della meta.⁹

И это еще слишком много. Так что, когда мне рассказывают что-нибудь в этом роде, я только пожимаю плечами.

– Но ведь вы сами рассказали о Гаити, – сказал Монте-Кристо.

– Гаити – другое дело; Гаити – это биржевое экарте. Можно любить бульот, увлекаться винтом, обожать бостон и все же, наконец, остыть к ним; но экарте никогда не теряет своей прелести – это приправа. Итак, Данглар продал вчера по четыреста шесть и положил в карман триста тысяч франков; подожди он до сегодня, бумаги снова упали бы до двухсот пяти, и вместо того чтобы выиграть триста тысяч франков, он потерял бы тысяч двадцать – двадцать пять.

– А почему они упали с четырехсот девяти до двухсот пяти? – спросил Монте-Кристо. – Прошу извинить меня, но я полный невежда во всех этих биржевых интригах.

– Потому, – смеясь, ответил Альбер, – что известия чередуются и не совпадают.

– Черт возьми! – воскликнул граф. – Так господин Данглар рискует в один день выиграть или проиграть триста тысяч франков? Значит, он несметно богат?

– Играет вовсе не он, а госпожа Данглар, – живо воскликнул Люсьен, – это удивительно смелая женщина.

– Но ведь вы благоразумный человек, Люсьен, и, находясь у самого первоисточника, отлично знаете цену известиям; вам следовало бы останавливать ее, – заметил с улыбкой Альбер.

⁹ Деньги и святость – половина и половина (итал.).

– Как я могу, когда даже ее мужу это не удается? – спросил Люсьен. – Вы знаете характер баронессы: она не поддается ничьему влиянию и делает только то, что захочет.

– Ну, будь я на вашем месте... – сказал Альбер.

– Что тогда?

– Я бы излечил ее; это была бы большая услуга ее будущему зятю.

– Каким образом?

– Очень просто. Я дал бы ей урок.

– Урок?

– Да. Ваше положение личного секретаря министра делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей, вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немедленно стенографируются биржевиками; заставьте ее раз за разом проиграть тысяч сто франков, и она станет осторожнее.

– Я не понимаю вас, – пробормотал Люсьен.

– А между тем это очень ясно, – отвечал с неподдельным чистосердечием Альбер, – сообщите ей в одно прекрасное утро что-нибудь неслыханное, – телеграмму, содержание которой может быть известно только вам; ну, например, что накануне у Габриэль видели Генриха Четвертого, – это вызовет повышение на бирже, она захочет воспользоваться этим и, несомненно, проиграет, когда на следующий день Бошан напечатает в своей газете:

«Утверждение осведомленных людей, будто бы короля Генриха Четвертого видели третьего дня у Габриэль, не соответствует действительности; этот факт никогда не имел места; король Генрих Четвертый не покидал Нового моста».

Люсьен кисло усмехнулся. Монте-Кристо, сидевший во время этого разговора с безучастным видом, не пропустил, однако, ни слова, и от его пронизательного взора не укрылось тайное смущение личного секретаря.

Вследствие этого смущения, совершенно не замеченного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив голос, несколько слов и тот ответил:

– Очень охотно, граф, я согласен.

Граф вернулся к молодому Морсеру.

– Не находите ли вы, по зрелом размышлении, – сказал он ему, – что при господине Дебрэ вам не следовало так говорить о вашей теще?

– Прошу вас, граф, – сказал Морсер, – не употребляйте раньше времени это слово.

– В самом деле, без преувеличения, графиня до такой степени настроена против этого брака?

– До такой степени, что баронесса очень редко бывает у нас, а моя мать, я думаю, и двух раз в жизни не была у госпожи Данглар.

– В таком случае, – сказал граф, – я решаюсь говорить с вами откровенно: господин Данглар – мой банкир, господин де Вильфор осыпал меня любезностями в ответ на услугу, которую счастливый случай помог мне ему оказать. Поэтому я предвижу целую лавину званных обедов и раутов. А для того чтобы не казалось, будто я высокомерно всем этим пренебрегаю, и даже, если угодно, чтобы самому предупредить других, я приглашаю на мою виллу в Отейле господина и госпожу Данглар, господина и госпожу де Вильфор. Если я к этому обеду приглашу вас, так же как графа и графиню де Морсер, то не будет ли это похоже на какую-то встречу перед свадьбой? По крайней мере не покажется ли так графине де Морсер, особенно если барон Данглар окажет мне честь привезти с собой свою дочь? Графиня может тогда меня возненавидеть, а я ни в коем случае не желал бы этого; наоборот, – и прошу вас при случае ее в этом заверить, – я очень дорожу ее хорошим мнением обо мне.

– Поверьте, граф, – отвечал Морсер, – я вам очень признателен за вашу откровенность и согласен не присутствовать на вашем обеде. Вы говорите, что дорожите мнением моей матери, – так ведь она прекрасно к вам относится.

– Вы так думаете? – с большим интересом спросил Монте-Кристо.

– Я в этом убежден. После того как вы у нас были, мы целый час о вас беседовали; но вернемся к нашему разговору. Так вот, если бы моя мать узнала о вашем внимании по отношению к ней, – а я возьму на себя смелость ей об этом рассказать, – я уверен, она была бы вам чрезвычайно признательна. Правда, отец пришел бы в ярость.

Граф рассмеялся.

– Ну вот, – сказал он Альберу, – теперь вы знаете, как обстоит дело. Кстати, не только ваш отец будет взбешен: господин и госпожа Данглар будут смотреть на меня, как на крайне невоспитанного человека. Они знают, что мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый старый знакомый, и вдруг вас не будет у меня на обеде; они меня спросят, почему я вас не пригласил. Попробуйте по крайней мере заручиться заранее сколько-нибудь правдоподобным приглашением и предупредите меня об этом запиской. Вы же знаете, для банкиров только письменные доказательства имеют значение.

– Я сделаю лучше, граф, – сказал Альбер. – Моя мать хочет поехать куда-нибудь подышать морским воздухом. На какой день назначен ваш обед?

– На субботу.

– Прекрасно. Сегодня у нас вторник. Мы уедем завтра вечером, а послезавтра будем в Трепоре. Знаете, граф, это страшно мило с вашей стороны, что вы позволяете людям не стесняться.

– Право, вы меня переоцениваете; мне просто хочется быть вам приятным.

– Когда вы разослали ваши приглашения?

– Сегодня.

– Отлично! Я сейчас же отправлюсь к Данглару и сообщу ему, что мы с матерью завтра покидаем Париж. Я с вами не видался, следовательно, ничего не знаю о вашем обеде.

– Опомнитесь! А Дебрэ, который только что видел вас у меня!

– Да, правда.

– Напротив, я вас видел и здесь же, без всякой официальности, пригласил, а вы мне чистосердечно ответили, что не можете быть моим гостем, потому что уезжаете в Трепор.

– Ну вот, так и решим. Но, может быть, вы навестите мою мать до ее отъезда?

– До ее отъезда это довольно трудно сделать; кроме того, я помешаю вашим сборам.

– Ну, так сделайте еще лучше! До сих пор вы были только очаровательным человеком, заслужите наше обожание.

– Что я должен сделать, чтобы достичь этого совершенства?

– Что вы должны сделать?

– Да, я хочу знать.

– Вы сегодня, кажется, свободны; поедem к нам обедать; мы будем совсем одни, вы, матушка и я. Вы видели графиню только мельком; теперь вы познакомитесь с ней ближе. Это удивительная женщина, и я жалею только о том, что на свете не существует второй такой же, но моложе лет на двадцать; клянусь, что очень скоро, кроме графини де Морсер, появилась бы еще и виконтесса де Морсер. Моего отца вы не увидите; у него сегодня комиссия, и он обедает у референдария. Поедем, поговорим о путешествиях. Вы видели весь мир, – расскажите нам о своих приключениях, расскажите историю той красавицы албанки, которая была с вами в Опере и которую вы называете вашей невольницей, а обращаетесь с ней, как с принцессой. Мы будем говорить, по-итальянски, по-испански. Да соглашайтесь же! Графиня будет вам признательна.

– Я вам очень благодарен, – отвечал граф, – предложение ваше как нельзя более лестно для меня, и я очень сожалею, что не могу его принять. Вы напрасно думаете, что я свободен: у меня, напротив, чрезвычайно важное свидание.

– Берегитесь, вы только что научили меня, как можно избавиться от неприятного обеда. Мне нужны доказательства. Я, к счастью, не банкир, как Данглар, но предупреждаю вас: я так же недоверчив, как и он.

– Так я дам вам доказательства, – сказал граф.

И он позвонил.

– Однако вы уже второй раз отказываетесь пообедать у моей матери, граф, – сказал Морсер. – Видимо, у вас есть на то основания.

Монте-Кристо вздрогнул.

– Я надеюсь, что вы этого не думаете, – сказал он, – кстати, вот идет мое доказательство.

Вошел Батистен и остановился у двери.

– Ведь я не был предупрежден о вашем посещении.

– Как сказать! Вы такой необыкновенный человек, что я не поручусь.

– Во всяком случае я не мог предвидеть, что вы пригласите меня обедать.

– Ну, это, пожалуй, верно.

– Прекрасно. Послушайте, Батистен, что я вам сказал сегодня утром, когда позвал к себе в кабинет?

– Не принимать никого, кто приедет к вашему сиятельству после пяти часов.

– А затем?

– Но, граф... – начал Альбер.

– Нет, нет, я во что бы то ни стало хочу избавиться от той таинственной репутации, которую вы мне создали, дорогой виконт. Слишком тягостно всегда изображать Манфреда. Я хочу жить на виду у всех. Затем?.. Продолжайте, Батистен.

– Затем принять только господина майора Бартоломео Кавальканти с сыном.

– Вы слышите: майора Бартоломео Кавальканти, отпрыска одного из древнейших родов Италии, генеалогией которого соблаговолил заняться сам Данте... как вы помните, а может быть, и не помните, в десятой песне «Ада»; и, кроме того, его сына, очень милого молодого человека ваших лет, виконт, и носящего тот же титул; он вступает в парижское общество, опираясь на миллионы своего отца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына – контино, как говорят у нас в Италии. Он мне его поручает. Я буду направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хорошо?

– Разумеется! Так этот майор Кавальканти ваш старый друг? – спросил Альбер.

– Ничуть; это очень достойный господин, очень вежливый, очень скромный, очень тактичный, таких в Италии великое множество, это потомки захиревших старинных родов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и в Болонье, и в Лукке, и он известил меня о своем приезде сюда. Дорожные знакомые очень требовательные люди: они повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, которое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у культурного человека, который умеет со всяким провести приятный час, не бывает скрытых побуждений! Добрейший майор Кавальканти собирается снова взглянуть на Париж, который он видел только проездом, во времена Империи, отправляясь замерзнуть в Москву. Я угощу его хорошим обедом; он мне поручит своего сына, я пообещаю присмотреть за ним и предоставлю ему развлекаться, как ему вздумается; таким образом, мы будем квиты.

– Чудесно! – сказал Альбер. – Я вижу, вы неоченимый наставник. Итак, до свидания; мы вернемся в воскресенье. Кстати, я получил письмо от Франца.

– Вот как! – сказал Монте-Кристо. – Он по-прежнему доволен Италией?

– Мне кажется, да; но он жалеет о вашем отсутствии... Он говорит, что вы были солнцем Рима и что без вас там пасмурно. Я даже не поручусь, не утверждает ли он, что там идет дождь.

– Значит, ваш друг изменил свое мнение обо мне?

– Напротив, он продолжает утверждать, что вы прежде всего существо фантастическое; поэтому он и жалеет о вашем отсутствии.

– Очень приятный человек! – сказал Монте-Кристо. – Я почувствовал к нему живейшую симпатию в первый же вечер нашего знакомства, когда он был занят поисками ужина и любезно согласился поужинать со мной. Если не ошибаюсь, он сын генерала д'Эпине?

– Совершенно верно.

– Того самого, которого так подло убили в тысяча восемьсот пятнадцатом году?

– Да, бонапартисты.

– Вот-вот! Право, он мне очень нравится. Не собираются ли женить и его?

– Да, он женится на мадемуазель де Вильфор.

– Это решено?

– Так же, как моя женитьба на мадемуазель Данглар, – смеясь, ответил Альбер.

– Вы смеетесь?..

– Да.

– Почему?

– Потому что мне кажется, что в этом браке столько же обоюдной симпатии, как в моем с мадемуазель Данглар. Но, право, граф, мы с вами болтаем о женщинах, совсем как женщины болтают о мужчинах; это непростительно!

Альбер встал.

– Вы уже уходите?

– Это мило! Уже два часа я вам надоедаю, и вы настолько любезны, что спрашиваете меня, ухажу ли я. Поистине, граф, вы самый вежливый человек на свете! А как вышколены ваши слуги! Особенно Батистен. Я никогда не мог заполучить такого. У меня они всегда кик будто

подражают лакеям из Французского театра, которые именно потому, что им надо произнести одно только слово, всякий раз подходят для этого к самой рампе. Так что, если вы захотите расстаться с Батистеном, уступите его мне.

– Это решено, виконт.

– Подождите, это еще не все. Передайте, пожалуйста, мой привет вашему скромному приезжему из Лукки, синьору Кавальканти де Кавальканти, и если бы оказалось, что он не прочь женить своего сына, постарайтесь найти ему жену, очень богатую, очень родовитую, хотя бы по женской линии, и баронессу по отцу. Я вам в этом помогу.

– Однако, – воскликнул Монте-Кристо, – неужели дело обстоит так?

– Да.

– Не зарекайтесь, мало ли что может случиться.

– Ах, граф, – воскликнул Морсер, – какую бы вы мне оказали услугу! Я в сто раз сильнее полюбил бы вас, если бы, благодаря вам, остался холостым, хотя бы еще десять лет!

– Все возможно, – серьезно ответил Монте-Кристо.

И, простившись с Альбером, он вернулся к себе и три раза позвонил.

Вошел Бертуччо.

– Бертуччо, – сказал он, – имейте в виду, что я в субботу принимаю гостей в моей вилле в Отейле.

Бертуччо слегка вздрогнул.

– Слушаю, ваше сиятельство, – сказал он.

– Вы мне необходимы, чтобы все как следует устроить, – продолжал граф. – Это прекрасный дом или во всяком случае он может стать прекрасным.

– Для этого его надо целиком обновить, ваше сиятельство; обивка стен очень выцвела.

– Тогда перемените ее всюду, кроме спальни, обитой красным штофом; ее вы оставите точно в таком же виде, как она есть.

Бертуччо поклонился.

– Точно так же ничего не трогайте в саду; зато со двором делайте все, что хотите; мне было бы даже приятно, если бы он стал неузнаваем.

– Я сделаю все, что могу, чтобы угодить вашему сиятельству, по я был бы спокойнее, если бы ваше сиятельство сооблаговостили дать мне указания относительно обеда.

– Право, дорогой Бертуччо, – сказал граф, – я нахожу, что с тех пор, как мы в Париже, вы не в своей тарелке, вы полны сомнений; разве вы разучились понимать меня?

– Но, может быть, ваше сиятельство, хотя бы сообщите мне, кого вы приглашаете?

– Я еще и сам не знаю, и вам тоже незачем знать. Лукулл обедает у Лукулла, вот и все.

Бертуччо поклонился и вышел.

XVII. Майор Кавальканти

Ни граф, ни Батистен не лгали, сообщая Альберу о визите луккского майора, из-за которого Монте-Кристо отклонил приглашение на обед.

Только что пробило семь часов и прошло уже два часа с тех пор, как Бертуччо, исполняя приказание графа, уехал в Отейль, когда у ворот остановился извозчик и, словно сконфуженный, немедленно отъехал, высадив человека лет пятидесяти двух, облаченного в один из тех зеленых сюртуков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда не переведутся в Европе. На приехавшем были также широкие синие суконные панталоны, высокие, еще довольно новые, хоть и несколько тусклые сапоги на слишком, пожалуй, толстой подошве, замшевые перчатки, шляпа, напоминающая головной убор жандарма, и черный воротник с белой выпушкой, который можно было бы принять за железный ошейник, если бы владелец не носил его по доброй воле. Личность в таком живописном костюме позвонила у калитки, осведомилась, живет ли в доме № 30 по авеню Елисейских Полей граф Монте-Кристо, и, после утвердительного ответа привратника, вошла в калитку, закрыла ее за собой и направилась к крыльцу.

Батистен, заранее получивший подробное описание внешности посетителя и ожидавший его в вестибюле, узнал его по маленькой острой голове, сидящим волосам и густым белым усам, – и не успел тот назвать себя расторопному камердинеру, как уже о его прибытии было доложено Монте-Кристо.

Чужестранца ввели в самую скромную из гостиных. Граф уже ожидал его там и, улыбаясь, пошел ему навстречу.

- А, любезный майор, – сказал он, – добро пожаловать. Я вас ждал.
- Неужели? – спросил приезжий из Лукки. – Ваше сиятельство меня ждали?
- Да, я был предупрежден, что вы явитесь ко мне сегодня в семь часов.
- Что я к вам явлюсь? Предупреждены?
- Вот именно.
- Тем лучше; по правде говоря, я боялся, что забудут принять эту предосторожность.
- Какую?
- Предупредить вас.
- О, нет!
- Но вы уверены, что не ошибаетесь?
- Уверен.
- Ваше сиятельство сегодня в семь часов ждали именно меня?
- Именно вас. Впрочем, мы можем проверить.
- Нет, если вы меня ждали, – сказал приезжий из Лукки, – тогда не стоит.
- Но почему же? – возразил Монте-Кристо.

Приезжий из Лукки, казалось, слегка встревожился.

- Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – ведь вы маркиз Бартоломео Кавальканти?
- Бартоломео Кавальканти, – обрадовано повторил приезжий из Лукки, – совершенно

верно.

- Отставной майор австрийской армии?
- Разве я был майором? – робко осведомился старый воин.
- Да, – сказал Монте-Кристо, – вы были майором. Так называют во Франции тот чин, который вы носили в Италии.
- Хорошо, – ответил приезжий из Лукки, – мне-то, вы понимаете, безразлично...
- Впрочем, вы приехали сюда не по собственному побуждению, – продолжал Монте-

Кристо.

- Ну, еще бы!
- Вас направили ко мне?
- Да.
- Добрейший аббат Бузони?
- Да, да, – радостно воскликнул майор.
- И вы привезли с собой письмо?
- Вот оно.
- Ну, вот видите! Давайте сюда!

И Монте-Кристо взял письмо, распечатал его и прочел. Майор смотрел на графа выпученными, удивленными глазами; взгляд его с любопытством окидывал комнату, но неизменно возвращался к ее владельцу.

– Так оно и есть... аббат пишет... «майор Кавальканти, знатный луккский патриций, потомок флорентийских Кавальканти, – продолжал, пробегая глазами письмо, Монте-Кристо, – обладающий годовым доходом в полмиллиона...»

Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил поклон.

– Полмиллиона! – сказал он. – Черт возьми, дорогой господин Кавальканти!

– Разве там написано полмиллиона? – спросил приезжий из Лукки.

– Черным по белому: так оно, несомненно, и есть; аббат Бузони лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен о всех крупных состояниях в Европе.

– Что ж, пусть будет полмиллиона, – сказал приезжий из Лукки, – но, честное слово, я не думал, что цифра будет так велика.

– Потому что ваш управляющий вас обкрадывает; что подделаешь, дорогой господин Кавальканти, это наш общий удел!

– Вы открыли мне глаза, – серьезно заметил приезжий из Лукки, – придется прогнать негодяя.

Монте-Кристо продолжал:

– «Для полного счастья ему недостает только одного».

– Боже мой, да! Только одного! – сказал со вздохом приезжий из Лукки.

– «Найти обожаемого сына».

– Обожаемого сына!
– «Похищенного в детстве врагом его благородной семьи или цыганами».
– В пятилетнем возрасте, сударь! – сказал с тяжким вздохом приезжий из Лукки, возводя глаза к небу.

– Несчастный отец! – сказал Монте-Кристо. Потом продолжал читать:
– «Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф, сообщив, что вы можете помочь ему найти сына, которого он тщетно ищет вот уже пятнадцать лет».

Приезжий из Лукки взглянул на Монте-Кристо с каким-то смутным беспокойством.

– Я могу это сделать, – ответил Монте-Кристо.

Майор выпрямился.

– А, – сказал он, – значит все в письме оказалось правдой?

– Неужели вы сомневались в этом, дорогой господин Бартоломео?

– Нет, нет, ни одной минуты! Что вы! Такой серьезный человек, в духовном сане, как аббат Бузони, не позволил бы себе подобной шутки, но вы еще не все прочли, ваше сиятельство.

– Ах, да, – сказал Монте-Кристо, – имеется еще приписка.

– Да... – повторил приезжий из Лукки, – приписка...

– «Чтобы не затруднять майора Кавальканти переводом денег из одного банка в другой, я посылаю ему на путевые расходы чек на две тысячи франков и перевожу на него сумму в сорок восемь тысяч франков, которую вы оставались мне должны».

Майор с видимой тревогой следил за чтением этой приписки.

– Так, – сказал граф.

– Он сказал мне, – пробормотал приезжий из Лукки. – Так что... граф... – продолжал он.

– Так что? – спросил Монте-Кристо.

– Так что приписка...

– Что приписка?..

– Принята вами так же благосклонно, как и все письмо?

– Разумеется, У нас свои счета с аббатом Бузони; я в точности не помню, должен ли я ему именно сорок восемь тысяч ливров, но несколько лишних ассигнаций в ту или другую сторону нас не обеспокоят. А что, вы придавали большое значение этой приписке, дорогой господин Кавальканти?

– Должен вам признаться, – отвечал приезжий из Лукки, – что, вполне доверяя подписи аббата Бузони, я не запасся другими деньгами; так что, если бы мои надежды на эту сумму не оправдались, я оказался бы в Париже в очень затруднительном положении.

– Полно, разве такой человек, как вы, может где-либо попасть в затруднительное положение? – сказал Монте-Кристо.

– Но если никого не знаешь... – заметил приезжий из Лукки.

– Зато вас все знают.

– Да, меня знают, так что...

– Я вас слушаю, дорогой господин Кавальканти.

– Так что вы вручите мне эти сорок восемь тысяч ливров?

– По первому вашему требованию.

Майор вытаращил глаза от изумления.

– Да присядьте же, пожалуйста, – сказал Монте-Кристо, – право, я не знаю, что со мной... Я держу вас на ногах уже четверть часа.

– Помилуйте!

Майор придвинул кресло и сел.

– Разрешите что-нибудь предложить вам, – дорогой граф, – рюмку хереса, портвейна, аликанте?

– Аликанте, если позволите; это мое любимое вино.

– У меня найдется отличное. И кусочек бисквита, не правда ли?

– И кусочек бисквита, раз уж вы настаиваете.

Монте-Кристо позвонил. Явился Батистен.

Граф подошел к нему.

– Ну, что?.. – тихо спросил он.

– Молодой человек уже здесь, – ответил так же тихо камердинер.

– Отлично; куда вы его провели?

- В голубую гостиную, как велели ваше сиятельство.
- Превосходно. Подайте бутылку аликанте и бисквиты.

Батистен вышел.

- Право, сударь, – заметил приезжий из Лукки, – я очень смущен, что доставляю вам столько хлопот.
- Ну, что вы! – сказал Монте-Кристо.

Батистен вернулся, неся вино, рюмки и бисквиты.

Граф наполнил одну рюмку, а в другую налил только несколько капель того жидкого рубина, который заключала в себе бутылка, вся покрытая паутиной и прочими признаками, красноречивее свидетельствующими о возрасте вина, чем морщины о годах человека.

Майор не ошибся в выборе: он взял полную рюмку и бисквит.

Граф приказал Батистену поставить поднос рядом с гостем, который сначала едва пригубил вино, потом сделал одобрительную гримасу и осторожно обмакнул в рюмку бисквит.

– Итак, сударь, – сказал Монте-Кристо, – вы жили в Лукке, были богатым человеком, благородного происхождения, пользовались всеобщим уважением, у вас было всё, чтобы быть счастливым?

- Всё, ваше сиятельство, – отвечал майор, поглощая бисквит, – решительно всё.
- И для полного счастья вам не доставало только одного?
- Только одного, – ответил приезжий из Лукки.
- Найти вашего сына?

– Ах, – сказал почтенный майор, беря второй бисквит, – этого мне очень не хватало.

Он поднял глаза к небу и сделал попытку вздохнуть.

– Теперь скажите, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – что это за сын, о котором вы так тоскуете? Ведь мне говорили, что вы холостяк.

– Все это думали, – отвечал майор, – и я сам...

– Да, – продолжал Монте-Кристо, – и вы сами не опровергали этого слуха. Грех юности, который вы хотели скрыть.

Приезжий из Лукки выпрямился в своем кресле, принял самый спокойный и почтенный вид и при этом скромно опустил глаза – не то для того, чтобы чувствовать себя увереннее, не то, чтобы помочь своему воображению; в то же время он исподлобья поглядывал на графа, чья застывшая на губах улыбка свидетельствовала все о том же доброжелательном любопытстве.

– Да, сударь, – сказал он, – я хотел скрыть эту ошибку.

– Не ради себя, – сказал Монте-Кристо, – мужчинам это не ставится в вину.

– Нет, разумеется, не ради себя, – сказал майор, с улыбкой качая головой.

– Но ради его матери, – сказал граф.

– Ради его матери! – воскликнул приезжий из Лукки, принимаясь за третий бисквит.

– Ради его бедной матери!

– Да пейте же, пожалуйста, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, наливая гостю вторую рюмку аликанте. – Волнение душит вас.

– Ради его бедной матери! – прошептал приезжий из Лукки, пытаясь силой воли воздействовать на слезную железу, дабы увлажнить глаза притворной слезой.

– Она принадлежала, насколько я помню, к одному из знатнейших семейств в Италии?

– Патрицианка из Фьезоле, граф!

– И ее звали?..

– Вы желаете знать ее имя?

– Бог мой, – сказал Монте-Кристо, – можете не говорить; оно мне известно.

– Вашему сиятельству известно все, – сказал с поклоном приезжий из Лукки.

– Олива Корсинари, не правда ли?

– Олива Корсинари!

– Маркиза?

– Маркиза!

– И, несмотря на противодействие семьи, вам в конце концов удалось жениться на ней?

– В конце концов удалось.

– И вы привезли с собой все необходимые документы? – продолжал Монте-Кристо.

– Какие документы? – спросил приезжий из Лукки.

- Да ваше брачное свидетельство и метрику сына.
– Метрику сына?
– Метрику Андреа Кавальканти, вашего сына; разве его зовут не Андреа?
– Кажется, да, – сказал приезжий из Лукки.
– То есть как это кажется?
– Видите, я не смею этого утверждать, он так давно исчез.
– Вы правы, – сказал Монте-Кристо. – Но документы у вас с собой?
– Граф, я должен вам с прискорбием заявить, что, не будучи предупрежден о необходимости запастись этими документами, я не позаботился взять их с собою.
– Черт возьми! – сказал Монте-Кристо.
– Разве они так нужны?
– Необходимы!
- Приезжий из Лукки почесал лоб.
– А, пер Вассо! – сказал он. – Необходимы!
– Разумеется, а вдруг здесь возникнут какие-нибудь сомнения в том, действителен ли ваш брак, законно ли рождение вашего сына?
– Вы правы, могут возникнуть сомнения.
– Вашему сыну это было бы крайне неприятно.
– Это было бы для него роковым ударом.
– Из-за этого он может потерять великолепную невесту.
– О, рессато!¹⁰
– Во Франции, понимаете ли, на это смотрят строго; здесь нельзя, как в Италии, пойти к священнику и заявить: «Мы любим друг друга, повенчайте нас». Во Франции установлен гражданский брак, а для совершения гражданского брака нужны документы, удостоверяющие личность.
– Вот беда, у меня нет этих документов.
– Хорошо, что они есть у меня, – сказал Монте-Кристо.
– У вас?
– Да.
– Они у вас есть?
– Есть.
– Вот уж действительно, – сказал приезжий из Лукки, который, видя, что отсутствие бумаг лишает его путешествие всякого смысла, испугался, как бы это упущение не вызвало затруднений в вопросе о сорока восьми тысячах, – вот уж действительно это большое счастье. Да, – продолжал он, – это большое счастье: ведь я об этом и не подумал.
– Еще бы, охотно вам верю; обо всем не подумаешь. Но на ваше счастье, аббат Бузони об этом подумал.
– Уж этот милый аббат!
– Предусмотрительный человек.
– Замечательный человек, – сказал приезжий из Лукки, – и он вам переслал их?
– Вот они.
- Приезжий из Лукки в знак восхищения молитвенно сложил руки.
– Вы венчались с Оливой Корсинари в церкви святого Павла в Монте-Каттини; вот удостоверение священника.
– Да, действительно, вот оно, – сказал майор, с удивлением разглядывая бумагу.
– А вот свидетельство о крещении Андреа Кавальканти, выданное священником в Саравецце.
– Все в порядке, – сказал майор.
– В таком случае возьмите эти бумаги, мне они не нужны; передайте их вашему сыну, у него они будут в сохранности.
– Еще бы!.. Если бы он их потерял..
– Да? Если бы он их потерял? – спросил Монте-Кристо.
– Ну, пришлось бы писать туда, – сказал приезжий из Лукки, – и очень долго доставать новые.
– Да, это было бы трудно, – сказал Монте-Кристо.

¹⁰ Как жаль! (итал.).

- Почти невозможно, – ответил приезжий из Лукки.
- Я очень рад, что вы понимаете ценность этих документов.
- Я считаю, что они просто неоценимы.
- Теперь, – сказал Монте-Кристо, – что касается матери молодого человека...
- Что касается матери молодого человека... – с беспокойством повторил майор.
- Что касается маркизы Корсинари...
- Боже мой! – сказал приезжий из Лукки, под ногами которого выросли все новые препятствия, – неужели она может понадобиться?
- Нет, – сказал Монте-Кристо. – Впрочем, ведь она...
- Да, да... она...
- Отдала дань природе...
- Увы, да, – подхватил приезжий из Лукки.
- Я это знал, – продолжал Монте-Кристо, – уже десять лет, как она умерла.
- И я все еще оплакиваю ее смерть, – сказал приезжий из Лукки, вытаскивая из кармана клетчатый платок и вытирая сначала левый глаз, а затем правый.
- Что поделаешь, – сказал Монте-Кристо, – все мы смертны. Теперь вы понимаете, дорогой господин Кавальканти, что во Франции не к чему говорить о том, что вы были пятнадцать лет в разлуке с сыном. Все эти истории с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у вас воспитывался в провинциальном коллеже, а теперь вы желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском свете. Поэтому вы и покинули Виа-Реджо, где вы жили после смерти вашей жены. Этого будет вполне достаточно.
- Вы так полагаете?
- Конечно.
- Тогда все прекрасно.
- Если бы откуда-нибудь возникли слухи об этой разлуке...
- Что же я тогда скажу?
- Что вероломный воспитатель, продавшийся врагам вашей семьи...
- То есть этим Корсинари?
- Конечно... похитил ребенка, чтобы ваш род угас.
- Правильно, ведь он единственный сын.
- А теперь, когда мы обо всем сговорились, когда вы освежили ваши воспоминания и они уже вас не подведут, вы, надеюсь, догадываетесь, что я приготовил вам сюрприз?
- Приятный? – спросил приезжий из Лукки.
- Я вижу, – сказал Монте-Кристо, – что нельзя обмануть глаз и сердце отца.
- Гм! – пробормотал майор.
- Кто-нибудь уже проговорился вам или, вернее, вы догадались, что он здесь?
- Кто здесь?
- Ваше дитя, ваш сын, ваш Андреа.
- Я догадался, – ответил приезжий из Лукки с полным хладнокровием. – Так он здесь?
- Здесь, рядом, – сказал Монте-Кристо, – когда мой камердинер приходил сюда, он доложил мне о нем.
- Превосходно! Превосходно! – сказал майор, расправляя при каждом возгласе петлицы своей венгерки.
- Дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – ваше волнение мне понятно. Надо дать вам время прийти в себя; кроме того, я хотел бы приготовить к этой счастливой встрече и молодого человека, который, я полагаю, обуреваем таким же нетерпением, как и вы.
- Не сомневаюсь, – сказал Кавальканти.
- Ну так вот, через каких-нибудь четверть часа мы предстанем перед вами.
- Так вы приведете его ко мне? Вы так добры, что хотите сами мне его представить?
- Нет, я не хочу становиться между отцом и сыном; но не беспокойтесь: даже если бы голос крови безмолвствовал, вы не сможете ошибиться: он войдет в эту дверь. Это красивый молодой человек, белокурый, пожалуй, даже слишком белокурый, с приятными манерами; впрочем, вы сами увидите.

– Кстати, – сказал майор, – я, знаете ли, взял с собой только две тысячи франков, которые я получил через посредство добрейшего аббата Бузони. Часть из них я потратил на дорогу, и...

– И вам нужны деньги... это вполне естественно, дорогой господин Кавальканти. Вот вам, для ровного счета, восемь тысячефранковых билетов.

Глаза майора засверкали, как карбункулы.

– Значит, за мной еще сорок тысяч франков, – сказал Монте-Кристо.

– Может быть, ваше сиятельство желает получить расписку? – спросил майор, пряча деньги во внутренний карман своей венгерки.

– Зачем? – сказал граф.

– Да как оправдательный документ при ваших расчетах с аббатом Бузони.

– Вы дадите мне общую расписку, когда получите остальные сорок тысяч франков.

Между честными людьми эти предосторожности излишни.

– Да, верно, между честными людьми, – сказал майор.

– Еще одно слово, маркиз.

– К вашим услугам.

– Вы разрешите мне дать вам небольшой совет?

– Еще бы! Прошу вас!

– Было бы неплохо, если бы вы расстались с этим сюртуком.

– В самом деле? – сказал майор, не без самодовольства оглядывая свое одеяние.

– Да, такие еще носят в Виа-Реджо, но в Париже, несмотря на всю свою элегантность, этот костюм уже давно вышел из моды.

– Это досадно, – сказал приезжий из Лукки.

– Ну, если он вам так нравится, вы его опять наденете при отъезде.

– Но что же я буду носить?

– То, что найдется у вас в чемоданах.

– Как в чемоданах? У меня с собой только дорожный мешок.

– При вас, разумеется. Какой смысл затруднять себя лишними вещами? К тому же старый воин любит ходить налегке.

– Вот потому-то...

– Но вы человек предусмотрительный и отправили свои вещи вперед. Они вчера прибыли в гостиницу Принцев, на улице Ришелье, где вы заказали себе помещение.

– Значит, в чемоданах?..

– Я полагаю, вы распорядились, чтобы ваш камердинер уложил в них все необходимое: штатское платье, мундиры. В особо торжественных случаях надевайте мундир, это очень эффектно. Не забывайте ордена. Во Франции над ними посмеиваются, но все-таки носят.

– Прекрасно, прекрасно, прекрасно! – сказал майор, все более и более изумляясь.

– А теперь, – сказал Монте-Кристо, – когда ваше сердце закалено для, глубоких волнений, приготовьтесь, господин Кавальканти, увидеть вашего сына Андреа.

И с обворожительной улыбкой поклонившись восхищенному майору, Монте-Кристо исчез за портьерой.

XVIII. Андреа Кавальканти

Граф Монте-Кристо вошел в гостиную, которую Батистен назвал голубой; там его уже ждал молодой человек, довольно изящно одетый, которого за полчаса до этого подвез к воротам особняка наемный кабриолет.

Батистен без труда узнал его: это был именно тот высокий молодой человек со светлыми волосами, рыжеватой бородкой и черными глазами, с ослепительно белой кожей, чью внешность Батистену описал его хозяин. В ту минуту, когда граф вошел в гостиную, молодой человек, небрежно развалясь на софе, рассеянно постукивал по башмаку тросточкой с золотым набалдашником.

Заметив входящего Монте-Кристо, он быстро поднялся.

– Граф Монте-Кристо? – спросил он.

– Да, – ответил тот, – и я, по-видимому, имею честь говорить с виконтом Андреа Кавальканти?

– С виконтом Андреа Кавальканти, – повторил молодой человек, непринужденно кланяясь.

– У вас должно быть адресованное мне письмо? – спросил Монте-Кристо.

– Я не упомянул о нем из-за подписи, она показалась мне довольно странной.

– Синдбад-Мореход, не правда ли?

– Совершенно верно. А так как я никогда не слышал о другом Синдбаде-Мореходе, кроме того, который описан в «Тысяче и одной ночи»...

– Так это один из его потомков, мой приятель, богатейший человек, англичанин, более чем оригинал, почти сумасшедший; его настоящее имя лорд Уилмор.

– А, теперь мне все понятно, – сказал Андреа. – Тогда все чудесно складывается. Это тот самый англичанин, с которым я познакомился... в... да, отлично... Граф, я к вашим услугам.

– Если то, что я имею честь слышать от вас, соответствует истине, – возразил с улыбкой граф, – то, надеюсь, вы не откажитесь сообщить мне некоторые подробности о себе и о своих родных.

– Охотно, граф, – отвечал молодой человек с легкостью, свидетельствующей о его хорошей памяти. – Я, как вы сами сказали, виконт Андреа Кавальканти, сын майора Бартоломео Кавальканти, потомок тех Кавальканти, что записаны в золотую книгу Флоренции. Наша семья до сих пор очень состоятельна, так как мой отец обладает полумиллионом годового дохода, но испытала много несчастий; я сам, когда мне было лет пять или шесть, был похищен предателем-гувернером и целых пятнадцать лет не видел своего родителя. С тех пор как я стал взрослым, с тех пор как я свободен и завишу только от себя, я разыскиваю его, но тщетно. И вот это письмо вашего друга Синдбада извещает меня, что он в Париже и разрешает мне обратиться к вам, чтобы узнать о нем.

– В самом деле, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, – сказал граф, глядя с мрачным удовольствием на развязного молодого человека, отмеченного какойто сатанинской красотой. – Вы прекрасно сделали, что последовали совету моего друга Синдбада, потому что ваш отец здесь и разыскивает вас.

Граф, с той самой минуты как вошел в гостиную, не сводил глаз с молодого человека; он восхищался уверенностью его взгляда и твердостью его голоса, но при столь естественных словах, как: «Ваш отец здесь и разыскивает вас», Андреа подскочил и воскликнул:

– Мой отец! Мой отец здесь!

– Разумеется, – отвечал Монте-Кристо, – ваш отец майор Бартоломео Кавальканти.

Ужас, написанный на лице молодого человека, мгновенно исчез.

– Да, правда, – сказал он, – майор Бартоломео Кавальканти. Так вы говорите, граф, что мой дорогой отец здесь?

– Да, сударь. Мало того, я только что с ним разговаривал; все, что он мне рассказал о своем любимом сыне, давно потерянном, меня очень растрогало, поистине его страдания, его опасения, его надежды могли бы составить трогательную поэму. И вот однажды его уведомили, что похитители его сына предлагают возратить его или сообщить, где он находится, за довольно значительную сумму. Но ничто не могло остановить любящего отца; эта сумма была им отослана на пьемонтскую границу, и вместе с ней визированный паспорт для Италии. Вы, кажется, были в то время на юге Франции?

– Да, граф, – отвечал с несколько смущенным видом Андреа, – да, я был на юге Франции.

– Вас в Ницце должен был ожидать экипаж?

– Совершенно верно: он доставил меня из Ниццы в Геную; из Генуи в Турин, из Турина в Шамбери, из Шамбери в Поп-де-Бовуазеп, из Поп-де-Бовуазена в Париж.

– Превосходно? Он все время надеялся встретить вас в пути, так как ехал той же дорогой, вот почему и для вас был намечен такой маршрут.

– Но, – заметил Андреа, – если бы мой дорогой отец меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал; я несколько изменился, с тех пор как мы потеряли друг друга из вида.

– А голос крови! – сказал Монте-Кристо.

– Да, верно, – ответил молодой человек, – я не подумал о голосе крови!

– Одно только беспокоит маркиза Кавальканти, – продолжал Монте-Кристо, – а именно: что вы делали, пока были в разлуке с ним? как обращались с вами ваши угнетатели? относились ли к вам с тем уважением, которого требовало ваше происхождение? не потускнели ли вследствие ваших нравственных страданий, в сто раз более тяжелых, чем страдания физические, дарования, которыми так щедро наделила вас природа, и считаете ли вы себя в состоянии снова занять то высокое положение, на которое вы имеете право?

– Я надеюсь, сударь, – растерянно пробормотал молодой человек, – что никакое ложное донесение...

– Что вы! Я в первый раз услышал про вас от моего друга Уилмора, филантропа. Он мне сказал, что нашел вас в затруднительном положении, не знаю каком; я не стал спрашивать – я не любопытен. Раз он проявил к вам сочувствие, значит в вас было что-то, достойное участия. Он сказал, что хочет вернуть вам то положение в свете, которого вы лишились, что он будет разыскивать вашего отца и найдет его; он принялся его разыскивать и, очевидно, нашел, потому что отец ваш здесь: наконец, вчера он предупредил меня о вашем прибытии и дал мне кое-какие указания, касающиеся вашего имущества, – вот и все. Я знаю, что мой друг Уилмор большой оригинал, но так как в то же время он человек верный, богатый, как золотая россыпь, и, следовательно, имеет возможность оригинальничать, не опасаясь разорения, то я обещал следовать его указаниям. Теперь, сударь, я прошу вас, не обижайтесь на мой вопрос: так как я должен буду немного вам покровительствовать, я хотел бы знать, не сделали ли вас ваши несчастья – несчастья, в которых вы неповинны и которые ничуть не умаляют моего к вам уважения, – несколько чуждым тому обществу, в котором ваше состояние и ваше имя дают вам право занять такое видное положение?

– На этот счет будьте совершенно спокойны, сударь, – отвечал молодой человек, к которому, пока граф говорил, возвращался его апломб. – Похитители, по-видимому, намеревались, как они это и сделали, впоследствии продать меня ему; они рассчитали, что, для того чтобы извлечь из меня наибольшую пользу, им следует не умалять моей ценности, а, если возможно, даже увеличить ее. Поэтому я получил недурное образование, и эти похитители младенцев обращались со мной приблизительно так, как малоазийские рабовладельцы обращались с невольниками, делая из них ученых грамматиков, врачей и философов, чтобы подороже продать их.

Монте-Кристо удовлетворенно улыбнулся: по-видимому, он ожидал меньшего от Андреа Кавальканти.

– Впрочем, – продолжал Андреа, – если бы во мне и сказался некоторый недостаток воспитания или, вернее, привычки к светскому обществу, я надеюсь, что ко мне будут снисходительны, принимая во внимание несчастья, сопровождавшие мое детство и юность.

– Ну что же, – небрежно сказал Монте-Кристо, – вы поступите, как вам будет угодно, виконт, – это ваше личное дело и только вас касается. Но поверьте, я бы не обмолвился на вашем месте ни словом обо всех этих приключениях; ваша жизнь похожа на роман, а свет, обожающий романы в желтой обложке, до странности недоверчиво относится к тем, которые жизнь переплетает в живую кожу, даже если она и позолоченная, как ваша. Вот на это затруднение я и позволю себе указать вам, виконт; не успеете вы рассказать кому-нибудь трогательную историю вашей жизни, как она уже обежит весь Париж в совершенно искаженном виде. Вам придется разыгрывать из себя Антони, а время таких Антони уже прошло. Быть может, вы вызовете любопытство, и это даст вам некоторый успех, но не всякому приятно быть мишенью для пересудов. Вам это может показаться утомительным.

– Я думаю, что вы правы, граф, – сказал Андреа, невольно бледнея под пристальным взглядом Монте-Кристо, – это серьезное неудобство.

– Ну, не следует и преувеличивать, – сказал Монте-Кристо, – желая избежать ошибки, можно сделать глупость. Нет, надо просто вести себя обдуманно, а для такого умного человека, как вы, это тем легче сделать, что совпадает с вашими интересами. Все темное, что может оказаться в вашем прошлом, надо опровергать доказательствами и свидетельством достойных друзей.

Андреа был, видимо, смущен.

– Я бы охотно был вашим поручителем, – продолжал Монте-Кристо, – но у меня привычка сомневаться в лучших друзьях и какая-то потребность возбуждать сомнения в других; так что я был бы не в своем амплуа, как говорят актеры, и рисковал бы быть освиственным, а это уже лишнее.

– Однако, граф, – решился возразить Андреа, – из уважения к лорду Уилмору, который вам меня рекомендовал...

– Да, разумеется, – сказал Монте-Кристо, – но лорд Уилмор не скрыл от меня, что вы провели несколько бурную молодость. Нет, нет, – заметил граф, уловив движение Андреа, – я от вас не требую исповеди; впрочем, для того и вызвали из Лукки вашего отца, чтобы вы ни в ком другом не нуждались. Вы его сейчас увидите; он суховат, держится немного неестественно, но

это – из-за мундира, и когда узнают, что он уже восемнадцать лет служит в австрийских войсках, с него не станут взыскивать: мы вообще не требовательны к австрийцам. В конечном счете как отец он вполне приличен, уверяю вас.

– Вы меня успокаиваете, граф; я так давно разлучен с ним, что совсем его не помню.

– А кроме того, знаете, крупное состояние заставляет на многое смотреть снисходительно.

– Так мой отец действительно богат?

– Он миллионер... пятьсот тысяч ливров годового дохода.

– Значит, – с надеждой спросил молодой человек, – мое положение будет довольно... приятное?

– Чрезвычайно приятное, мой дорогой, он назначил вам по пятьдесят тысяч ливров в год на все время, пока вы будете жить в Париже.

– В таком случае я буду здесь жить всегда.

– Гм! Кто может ручаться за будущее, дорогой виконт? Человек предполагает, а бог располагает.

Андреа вздохнул.

– Но во всяком случае, – сказал он, – пока я в Париже и... пока обстоятельства не вынудят меня уехать, эти деньги, о которых вы упомянули мне обеспечены?

– Разумеется.

– Моим отцом? – с беспокойством осведомился Андреа.

– Да, но под ручательством лорда Уилмора, который, по просьбе вашего отца, открыл вам ежемесячный кредит в пять тысяч франков у господина Данглара, одного из самых солидных парижских банкиров.

– А мой отец собирается долго пробыть в Париже?

– Только несколько дней, – отвечал Монте-Кристо. – Он не может оставить свою службу дольше, чем на две, три недели.

– Ах, милый отец! – сказал Андреа, явно обрадованный этим скорым отъездом.

– Поэтому, – сказал Монте-Кристо, делая вид, что не понял тона этих слов, – я не хочу больше оттягивать ни на минуту ваше свидание. Готовы ли вы обнять почтенного господина Кавальканти?

– Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом?

– Ну, так пройдите в эту гостиную, мой друг: там вы найдете своего отца, он вас ждет.

Андреа поклонился графу и прошел в гостиную.

Граф проводил его глазами и, когда он вышел, надавил пружину, скрытую в одной из картин, которая, выдвинувшись из рамы, образовала щель, позволявшую видеть все, что происходит в гостиной.

Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, который встал, как только слышал шаги.

– О, мой дорогой отец, – громко сказал Андреа, так чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери, – неужели это вы?

– Здравствуйте, мой милый сын, – серьезно произнес майор.

– Какое счастье вновь увидеться с вами после стольких лет разлуки, – сказал Андреа, бросая взгляд на дверь.

– Действительно, разлука была долгая.

– Обнимемся? – предложил Андреа.

– Извольте, мой сын, – ответил майор.

И они поцеловались, как целуются во Французском театре: приложившись щека к щеке.

– Итак, мы снова вместе! – сказал Андреа.

– Мы снова вместе, – повторил майор.

– Чтобы никогда больше не расставаться?

– Напротив, дорогой сын: ведь для вас, я думаю, Франция стала теперь вторым отечеством?

– Должен признаться, – сказал молодой человек, – что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось покинуть Париж.

– А я не мог бы жить вдали от Лукки. Так что я возвращаюсь в Италию при первой возможности.

– Но раньше, чем уехать, дорогой отец, вы, конечно, передадите мне документы, на основании которых я мог бы доказать свое происхождение?

– Само собой: ведь именно для этого я и приехал, и мне стоило таких трудов разыскать вас, чтобы передать их вам, что было бы невысказанно сделать это вторично. На это ушли бы последние дни моей жизни.

– И эти документы...

– Вот они.

Андреа жадно схватил брачное свидетельство своего отца и свою метрику и, развернув их с вполне естественным сыновним нетерпением, пробежал оба акта быстрым и привычным взглядом, свидетельствующим о немалой опытности, так же как о живейшем интересе.

Когда он кончил, лицо его засияло невыразимой радостью, и он со странной улыбкой взглянул на майора.

– Вот как? – сказал он на чистейшем тосканском наречии. – Что же, в Италии нет больше каторги?

Майор выпрямился.

– Это к чему? – сказал он.

– Да к тому, что там безнаказанно фабрикуют такие бумаги. За половину такой проделки, мой дорогой отец, вас во Франции отправили бы проветриться в Тулон лет на пять.

– Что вы сказали? – спросил майор, пытаясь принять величественный вид.

– Дорогой господин Кавальканти, – сказал Андреа, беря майора за локоть, – сколько вам платят за то, чтобы вы были моим отцом?

Майор хотел ответить.

– Шш, – сказал Андреа, понизив голос, – я подам вам пример доверия: мне дают пятьдесят тысяч франков в год, чтобы я изображал вашего сына; таким образом, вы понимаете, у меня нет никакой охоты отрицать, что вы мой отец.

Майор с беспокойством оглянулся.

– Не беспокойтесь, здесь никого нет, – сказал Андреа, – притом мы говорим по-итальянски.

– Ну, а мне, – сказал приезжий из Лукки, – дают одновременно пятьдесят тысяч франков.

– Господин Кавальканти, – спросил Андреа, – верите ли вы в волшебные сказки?

– Раньше не верил, но теперь приходится поверить.

– Так у вас появились доказательства?

Майор вытащил из кармана пригоршню луидоров.

– Осязаемые, как видите.

– Так, по-вашему, я могу доверять данным мне обещаниям?

– По-моему, да.

– И этот милейший граф их выполнит?

– В точности, но вы сами понимаете, чтобы достигнуть этого, мы должны хорошо играть свою роль.

– Ну еще бы!..

– Я – нежного отца...

– А я – почтительного сына, раз они желают, чтобы я был вашим сыном.

– Кто это – «они»?

– Ну, не знаю, – те, кто вам писал: ведь вы получили письмо?

– Получил.

– От кого?

– От какого-то аббата Бузони.

– Вы его не знаете?

– Никогда его не видел.

– Что ж было в этом письме?

– Вы меня не выдадите?

– Зачем мне это делать? Интересы у нас общие.

– Ну так читайте.

И майор подал молодому человеку письмо.

Андреа вполголоса прочел:

– «Вы бедны, вас ожидает несчастная старость. Хотите сделаться если не богатым, то во всяком случае независимым человеком?»

Немедленно выезжайте в Париж и отправляйтесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских Полей, № 30. Вы его спросите о вашем сыне, рожденном от брака с маркизой Корсинари и похищенном у вас в пятилетнем возрасте.

Этого сына зовут Андреа Кавальканти.

Дабы у вас не возникло сомнений в том, что нижеподписавшийся желает вам добра, вы найдете приложенные к этому:

1) Чек на две тысячи четыреста тосканских ливров, выписанный на банк г. Гоцци во Флоренции.

2) Рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, который по моему поручению выплатит вам сорок восемь тысяч франков.

Явитесь к графу 26 мая, в 7 часов вечера.

Аббат Бузони».

– Так и есть.

– Что значит «так и есть»? Что вы хотите этим сказать? – спросил майор.

– Что получил почти такое же письмо.

– Вы?

– Да, я.

– От аббата Бузони?

– Нет.

– А от кого же?

– От одного англичанина, некоего лорда Уилмора, который называет себя Синдбадом-Мореходом.

– И которого вы знаете не больше, чем я – аббата Бузони.

– Нет, я больше осведомлен, чем вы.

– Вы его видали?

– Да, однажды.

– Где это?

– Вот этого я не могу сказать; вы тогда знали бы столько же, сколько и я, а это лишнее.

– И что же в этом письме?..

– Читайте.

– «Вы бедны, и вам предстоит печальная будущность. Хотите получить знатное имя, быть свободным, быть богатым?»

– Черт возьми, – сказал Андреа, раскачиваясь на каблуках, – как будто об этом надо спрашивать.

– «Садитесь в почтовую карету, которая будет ждать вас при выезде из Ниццы, у Генуэзских ворот. Поезжайте через Турин, Шамбери и Пон-де-Бовуазен. Явитесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских Полей, № 30, двадцать шестого мая, в семь часов вечера, и спросите у него о вашем отце.

Вы сын маркиза Бартоломео Кавальканти и маркизы Оливы Корсинари, как это удостоверяют документы, которые вам передаст маркиз и которые позволят вам появиться под этим именем в парижском обществе.

Что касается вашего положения, то годовой доход в пятьдесят тысяч ливров позволит вам его достойно поддержать.

При сем прилагаю чек на пять тысяч ливров, выписанный на банк г. Ферреа в Ницце, и рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, которому я поручил заботиться о ваших нуждах.

Синдбад-Мореход».

– Недурно! – заметил майор.

– Не правда ли?

– Вы видели графа?

– Я только что от него.

– И он подтвердил написанное?

– Полностью.

– Вы что-нибудь понимаете в этом?

- По правде говоря, нет.
- Тут кого-то надувают.
- Во всяком случае не нас с вами?
- Нет, разумеется.
- Ну, тогда...
- Не всё ли нам равно, правда?
- Именно это я хотел сказать: доиграем до конца и дружно.
- Идет, вы увидите, что я достоин быть вашим партнером.
- Я ни минуты в этом не сомневался, дорогой отец.
- Вы оказываете мне большую честь, дорогой сын.

Монте-Кристо выбрал эту минуту, чтобы вернуться в гостиную. Услышав его шаги, собеседники бросились друг другу в объятия; так их застал граф.

– Ну что, маркиз? – сказал Монте-Кристо. – По-видимому, вы довольны своим сыном?

- Ах, граф, я задыхаюсь от радости.
- А вы, молодой человек?
- Ах, граф, я сам не свой от счастья.
- Счастливый отец! Счастливое дитя! – сказал граф.
- Одно меня огорчает, – сказал майор, – необходимость так быстро покинуть Париж.
- Но, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности познакомить вас кое с кем из друзей!
- Я весь к услугам вашего сиятельства, – отвечал майор.
- Теперь, молодой человек, исповедайтесь.
- Кому?
- Да вашему отцу, скажите ему откровенно, в каком состоянии ваши денежные дела.
- Черт возьми! – заявил Андреа, – вы коснулись больного места.
- Слышите, майор? – сказал Монте-Кристо.
- Конечно, слышу.
- Да, но понимаете ли вы?
- Великолепно.
- Он говорит, что нуждается в деньгах, этот милый мальчик.
- А что же я должен сделать?
- Дать их ему.
- Я?
- Да, вы.

Монте-Кристо стал между ними.

- Возьмите, – сказал он Андреа, сунув ему в руку пачку ассигнаций.
- Что это такое?
- Ответ вашего отца.
- Моего отца?
- Да. Ведь вы ему намекнули, что вам нужны деньги?
- Да. Ну и что же?
- Ну, и вот. Он поручает мне передать вам это.
- В счет моих доходов?
- Нет, на расходы по обзаведению.
- Дорогой отец?
- Тише! – сказал Монте-Кристо. – Вы же видите, он не хочет, чтобы я говорил, что это от него.

– Я очень ценю его деликатность, – сказал Андреа, засовывая деньги в карман.
– Хорошо, – сказал граф, – а теперь идите!
– А когда мы будем иметь честь снова увидеться с вашим сиятельством? – спросил Кавальканти.

– Да, верно, – сказал Андреа, – когда мы будем иметь эту честь?
– Если угодно, хоть в субботу... да... отлично... в субботу. У меня на вилле в Отейле, улица Фонтен, номер двадцать восемь, будет к обеду несколько человек, и между прочим господин Данглар, ваш банкир. Я вас с ним познакомлю: надо же ему знать вас обоих, раз он будет выплачивать вам деньги.

– В парадной форме? – спросил вполголоса майор.

– В парадной форме: мундир, ордена, короткие панталоны.

– А я? – спросил Андреа.

– Вы совсем просто: черные панталоны, лакированные башмаки, белый жилет, черный или синий фрак, длинный галстук; закажите платье у Блена или Вероника. Если вы не знаете их адреса, Батистен вам скажет. Чем менее претенциозно вы, при ваших средствах, будете одеты, тем лучше. Покупая лошадей, обратитесь к Деведе, а фэтон закажите у Батиста.

– В котором часу мы можем явиться? – спросил Андреа.

– Около половины седьмого.

– Хорошо, – сказал майор, берясь за шляпу.

Оба Кавальканти откланялись и удалились.

Граф подошел к окну и смотрел, как они под руку переходят двор.

– Вот уж поистине два негодяя! – сказал он. – Какая жалость, что это не на самом деле отец и сын!

Он постоял минуту в мрачном раздумье.

– Поеду к Моррелям, – сказал он. – Кажется, меня душит не столько ненависть, сколько отвращение.

XIX. Огород, засеянный люцерной

Теперь мы вернемся в огород, смежный с домом г-на де Вильфор, и у решетки, потонувшей в каштановых деревьях, мы снова встретим наших знакомых.

На этот раз первым явился Максимилиан. Это он прижался лицом к доскам ограды и сторожит, не мелькнет ли в глубине сада знакомая тень, не захрустит ли под атласной туфелькой песок аллеи.

Наконец, послышались шаги, но вместо одной тени появились две. Валентина опоздала из-за визита г-жи Данглар и Эжени, затянувшегося дольше того часа, когда она должна была явиться на свидание. Тогда, чтобы не пропустить его, Валентина предложила мадемуазель Данглар пройтись по саду, желая показать Максимилиану, что она не виновата в этой задержке.

Моррель так и понял, с быстротой интуиции, присущей влюбленным, и у него стало легче на душе. К тому же, хоть и не приближаясь на расстояние голоса, Валентина направляла свои шаги так, чтобы Моррель мог все время видеть ее, и всякий раз, когда она проходила мимо, взгляд, незаметно для спутницы брошенный ею в сторону ворот, говорил ему: «Потерпите, друг, вы видите, что я не виновата».

И Максимилиан запасался терпением, восхищаясь тем контрастом, который являли обе девушки: блондинка с томным взглядом, гибкая, как молодая ива, и брюнетка, с гордыми глазами, стройная, как тополь; разумеется, все преимущества, по крайней мере в глазах Морреля, оказывались на стороне Валентины.

Погуляв полчаса, девушки удалились: Максимилиан понял, что визит г-жи Данглар пришел к концу.

В самом деле, через минуту Валентина вернулась уже одна. Боясь, как бы нескромный взгляд не следил за ее возвращением, она шла медленно; и вместо того чтобы прямо подойти к воротам, она села на скамейку, предварительно, как бы невзначай, окинув взглядом все кусты и заглянув во все аллеи. Приняв все эти меры предосторожности, она подбежала к воротам.

– Валентина, – произнес голос из-за ограды.

– Здравствуйте, Максимилиан. Я заставила вас ждать, но вы видели, почему так вышло.

– Да, я узнал мадемуазель Данглар, – я не думал, что вы так дружны с нею.

– А кто вам сказал, что мы дружим?

– Никто, но мне это показалось по тому, как вы гуляли под руку, как вы беседовали, словно школьные подруги, которые делятся своими тайнами.

– Мы действительно откровенничали, – сказала Валентина, – она призналась мне, что ей не хочется выходить замуж за господина де Морсер, а я ей говорила, каким несчастьем будет для меня брак с господином д'Эпипе.

– Милая Валентина!

– Вот почему вам показалось, что мы с Эжени большие друзья, – продолжала девушка. – Ведь говоря о человеке, которого я не люблю, я думала о том, кого я люблю.

– Какая вы хорошая, Валентина, и как много в вас того, чего никогда не будет у мадемуазель Данглар, – того неизъяснимого очарования, которое для женщины то же самое, что аромат для цветка и сладость для плода: ведь и цветку и плоду мало одной красоты.

– Это вам кажется потому, что вы меня любите.

– Нет, Валентина, клянусь вам. Вот сейчас я смотрел на вас обеих, и, честное слово, отдавая должное красоте мадемуазель Данглар, я не понимал, как можно в нее влюбиться.

– Это потому, что, как вы сами говорите, я была тут, и мое присутствие делало вас пристрастным.

– Нет... но скажите мне... я спрашиваю просто из любопытства, которое объясняется моим мнением о мадемуазель Данглар...

– И, наверное, несправедливым мнением, хоть я и не знаю, о чем идет речь. Когда вы судите нас, бедных женщин, нам не приходится рассчитывать на снисхождение.

– Можно подумать, что, когда вы говорите между собою, вы очень справедливы друг к другу!

– Это оттого, что наши суждения почти всегда бывают пристрастны. Но что вы хотели спросить?

– Разве мадемуазель Данглар кого-нибудь любит, что не хочет выходить замуж за господина де Морсер?

– Максимилиан, я уже вам сказала, что Эжени мне вовсе не подруга.

– Да ведь и не будучи подругами, девушки поверяют друг другу свои тайны, – сказал Моррель. – Сознайтесь, что вы расспрашивали ее об этом. А, я вижу, вы улыбаетесь!

– Видимо, вам не очень мешает эта деревянная перегородка?

– Так что же она вам сказала?

– Сказала, что никого не любит, – отвечала Валентина, – что с ужасом думает о замужестве; что ей больше всего хотелось бы вести жизнь свободную и независимую и что она почти желает, чтобы ее отец разорился, тогда она сможет стать артисткой, как ее приятельница Луиза д'Армилли.

– Вот видите!

– Что же это доказывает? – спросила Валентина.

– Ничего, – улыбаясь, ответил Максимилиан.

– Так почему же вы улыбаетесь?

– Вот видите, – сказал Максимилиан, – вы тоже смотрите сюда.

– Хотите, я отойду?

– Нет, нет! Но поговорим о вас.

– Да, вы правы: нам осталось только десять минут.

– Это ужасно! – горестно воскликнул Максимилиан.

– Да, вы правы, я плохой друг, – с грустью сказала Валентина. – Какую жизнь вы из-за меня ведете, бедный Максимилиан, а ведь вы созданы для счастья! Поверьте, я горько упрекаю себя за это.

– Не все ли равно, Валентина: ведь в этом мое счастье! Ведь это вечное ожидание искупают пять минут, проведенных с вами, два слова, слетевшие с ваших уст. Я глубоко убежден, что бог не мог создать два столь созвучных сердца и не мог соединить их столь чудесным образом только для того, чтобы их разлучить.

– Благодарю, Максимилиан. Продолжайте надеяться за нас обоих, что делает меня почти счастливой.

– Что у вас опять случилось, Валентина, почему вы должны так скоро уйти?

– Не знаю; госпожа де Вильфор просила меня зайти к ней; она хочет сообщить мне что-то, от чего, как она говорит, зависит часть моего состояния. Боже мой, я слишком богата, пусть возьмут себе мое состояние, пусть оставят мне только покой и свободу, – вы меня будете любить и бедной, правда, Моррель?

– Я всегда буду любить вас! Что мне бедность или богатство, – лишь бы моя Валентина была со мной и я был уверен, что никто не может ее у меня отнять! Но, скажите, это сообщение не может относиться к вашему замужеству?

– Не думаю.

– Послушайте, Валентина, и не пугайтесь, потому что, пока я жив, я не буду принадлежать другой.

– Вы думаете, это меня успокаивает, Максимилиан?

– Простите! Вы правы, я сказал нехорошо. Да, так я хотел сказать вам, что я на днях встретил Морсера.

– Да?

– Вы знаете, что Франц его друг?

– Да, так что же?

– Он получил от Франца письмо; Франц пишет, что скоро вернется.

Валентина побледнела и прислонилась к воротам.

– Господи, – сказала она, – неужели? Но нет, об этом мне сообщила бы не госпожа де Вильфор.

– Почему?

– Почему... сама не знаю... но мне кажется, что госпожа де Вильфор, хоть она открыто и не против этого брака, в душе не сочувствует ему.

– Знаете, Валентина, я, кажется, начну обожать госпожу де Вильфор!

– Не спешите, Максимилиан, – сказала Валентина, грустно улыбаясь.

– Но если этот брак ей неприятен, то, может быть, чтобы помешать ему, она отнесется благосклонно к какому-нибудь другому предложению?

– Не надейтесь на это, Максимилиан; госпожа де Вильфор отвергает не мужей, а замужество.

– Как замужество? Если она против брака, зачем же она сама вышла замуж?

– Вы не понимаете, Максимилиан. Когда я год тому назад заговорила о том, что хочу уйти в монастырь, она, хоть и считала нужным возражать, приняла эту мысль с радостью; даже мой отец согласился – и это благодаря ее увещаниям, я уверена; меня удержал только мой бедный дедушка. Вы не можете себе представить, Максимилиан, как выразительны глаза этого несчастного старика, который любит на всем свете только меня одну и, – да простит мне бог, если я клеветчу! – которого люблю только я одна. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, когда узнал о моем решении, сколько было упрека в этом взгляде и сколько отчаяния в его слезах, которые текли без жалоб, без вздохов по его неподвижному лицу. Мне стало стыдно, я бросилась к его ногам и воскликнула: «Простите! Простите, дедушка! Пусть со мной будет, что угодно, я никогда с вами не расстанусь». Тогда он поднял глаза к небу... Максимилиан, мне, может быть, придется много страдать, но за все страдания меня заранее вознаградила этот взгляд моего старого деда.

– Дорогая Валентина, вы ангел, и я, право, не знаю, чем я заслужил, когда направо и налево рубил бедуинов, – разве что бог принял во внимание, что это неверные, – чем я заслужил счастье вас узнать. Но послушайте, почему же госпожа де Вильфор может не хотеть, чтобы вы вышли замуж?

– Разве вы не слышали, как я только что сказала, что я богата, слишком богата? После матери я унаследовала пятьдесят тысяч ливров годового дохода; мои дедушка и бабушка, маркиз и маркиза де Сен-Меран, оставят мне столько же; господин Нуартье, очевидно, намерен сделать меня своей единственной наследницей. Таким образом, по сравнению со мной, мой брат Эдуард беден. Со стороны госпожи де Вильфор ему ждать нечего. А она обожает этого ребенка. Если я уйду в монастырь, все мое состояние достанется моему отцу, который будет наследником маркиза, маркизы и моим, а потом перейдет к его сыну.

– Странно, откуда такая жадность в молодой, красивой женщине.

– Заметьте, что она думает не о себе, а о своем сыне, и то, что вы ставите ей в вину, с точки зрения материнской любви, почти добродетель.

– Послушайте, Валентина, – сказал Моррель, – а если бы вы отдали часть своего имущества ее сыну?

– Как предложить это женщине, которая вечно твердит о своем бескорыстии?

– Валентина, моя любовь была для меня всегда священна, и, как все священное, я таил ее под покровом своего благоговения и хранил в глубине сердца; никто в мире, даже моя сестра, не подозревает об этой любви, тайну ее я не доверил ни одному человеку. Валентина, вы мне позволите рассказать о ней другу?

Валентина вздрогнула.

– Другу? – сказала она. – Максимилиан, мне страшно даже слышать об этом. А кто этот друг?

– Послушайте, Валентина, испытывали ли вы по отношению к кому-нибудь такую неодолимую симпатию, что, видя этого человека в первый раз, вы чувствуете, будто знаете его

уже давно, и спрашиваете себя, где и когда его видели, и, не в силах припомнить, начинаете верить, что это было раньше, в другом мире, и что эта симпатия – только проснувшееся воспоминание?

– Да.

– Ну, вот, это я испытал в первый же раз, когда увидел этого необыкновенного человека.

– Необыкновенного человека?

– Да.

– И вы с ним давно знакомы?

– Какую-нибудь педелью или дней десять.

– И вы называете другом человека, которого знаете всего неделю? Я думала, Максимилиан, что вы не так щедро раздаете прекрасное имя – друг.

– Логически вы правы, Валентина; по говорите, что угодно, я не откажусь от этого инстинктивного чувства. Я убежден, что этот человек сыграет роль во всем, что со мной в будущем случится хорошего, и мне иногда кажется, что он своим глубоким взглядом проникает в это будущее и направляет его своей властной рукой.

– Так это предсказатель? – улыбаясь, спросила Валентина.

– Право, – сказал Максимилиан, – я порой готов поверить, что он предугадывает... особенно хорошее.

– Познакомьте меня с ним, пусть он мне скажет, найду ли я в любви награду за все мои страдания!

– Мой бедный друг! Но вы его знаете.

– Я?

– Да. Он спас жизнь вашей мачехе и ее сыну.

– Граф Монте-Кристо?

– Да, он.

– Нет, – воскликнула Валентина, – он никогда не будет моим другом, он слишком дружен с моей мачехой.

– Граф – друг вашей мачехи, Валентина? Нет, мое чувство не может до такой степени меня обманывать; я уверен, что вы ошибаетесь.

– Если бы вы только знали, Максимилиан! У нас в доме царит уже не Эдуард, а граф. Мачеха преклоняется перед ним и считает его кладезем всех человеческих познаний. Отец восхищается, – слышите, восхищается им и говорит, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так красноречиво высказывал такие возвышенные мысли. Эдуард его обожает и, хоть и боится его больших черных глаз, бежит к нему навстречу, как только его увидит, и всегда получает из его рук какую-нибудь восхитительную игрушку; в нашем доме граф Монте-Кристо уже не гость моего отца или госпожи де Вильфор, – граф Монте-Кристо у себя дома.

– Ну что же, если все это так, как вы рассказываете, то вы должны были уже почувствовать или скоро почувствуете его магическое влияние. Он встречается в Италии Альбера де Морсер – и выручает его из рук разбойников; он знакомится с госпожой Данглар – и делает ей царский подарок; ваша мачеха и брат проносятся мимо его дома – и его нубиец спасает им жизнь. Этот человек явно обладает даром влиять на окружающее. Я ни в ком не встречал соединения более простых вкусов с большим великолепием. Когда он мне улыбается, в его улыбке столько нежности, что я не могу понять, как другие находят ее горькой. Скажите, Валентина, улыбнулся ли он вам так? Если да, вы будете счастливы.

– Я! – воскликнула молодая девушка. – Максимилиан, он даже не смотрит на меня или, вернее, если я прохожу мимо, он отворачивается от меня. Нет, он совсем не великодушен или не обладает пронизательностью, которую вы ему приписываете, и не умеет читать в сердцах людей. Если бы он был великодушным человеком, то, увидав, как я печальна и одинока в этом доме, он защитил бы меня своим влиянием, и если он действительно, как вы говорите, играет роль солнца, то он согрел бы мое сердце своими лучами. Вы говорите, что он вас любит, Максимилиан; а откуда вы это знаете? Люди приветливо улыбаются сильному офицеру пяти футов и шести дюймов ростом, с длинными усами и большой саблей, но они, не задумываясь, раздавят несчастную плачущую девушку.

– Валентина, клянусь, вы ошибаетесь!

– Подумайте, Максимилиан, если бы это было иначе, если бы он обращался со мной дипломатически, как человек, который стремится так или иначе утвердиться в доме, он хоть раз

подарил бы меня той улыбкой, Которую вы так восхваляете. Но нет, он видит, что я несчастна, он понимает, что не может иметь от меня никакой пользы, и даже не обращает на меня внимания. Кто знает, может быть, желая угодить моему отцу, госпоже де Вильфор или моему брату, он тоже станет преследовать меня, если это будет в его власти? Давайте будем откровенны: я ведь не такая женщина, которую можно вот так, без причины, презирать; вы сами это говорили. Простите меня, – продолжала она, заметив, какое впечатление ее слова производят на Максимилиана, – я дурная и высказываю вам сейчас мысли, которых сама в себе не подозревала. Да, я не отрицаю, что в этом человеке есть сила, о которой вы говорите, и она действует даже на меня, но, как видите, действует вредно и губит добрые чувства.

– Хорошо, – со вздохом произнес Моррель, – не будем говорить об этом. Я не скажу ему ни слова.

– Я огорчаю вас, мой друг, – сказала Валентина. – Почему я не могу пожать вам руку, чтобы попросить у вас прощения? Но я и сама была бы рада, если бы вы меня переубедили; скажите, что же собственно сделал для вас граф Монте-Кристо?

– Признаться, вы ставите меня в трудное положение, когда спрашиваете, что именно сделал для меня граф, – ничего определенного, я это сам понимаю. Мое чувство к нему совершенно бессознательно, в нем нет ничего разумно обоснованного. Разве солнце что-нибудь сделало для меня? Нет. Оно согревает меня, и при его свете я вижу вас, вот и все. Разве тот или иной аромат сделал что-нибудь для меня? Нет. Он просто приятен. Мне больше нечего сказать, если меня спрашивают, почему я люблю этот запах. Так и в моем дружеском чувстве к графу есть что-то необъяснимое, как и в его отношении ко мне. Внутренний голос говорит мне, что эта взаимная и неожиданная симпатия не случайна. Я чувствую какую-то связь между малейшими его поступками, между самыми сокровенными его мыслями и моими поступками и мыслями. Вы опять будете смеяться надо мной, Валентина, но с тех пор как я познакомился с этим человеком, у меня возникла нелепая мысль, что все, что со мной происходит хорошего, исходит от него. А ведь я прожил на свете тридцать лет, не чувствуя никакой потребности в таком покровителе, правда? Все равно, вот вам пример: он пригласил меня на субботу к обеду; это вполне естественно при наших отношениях, так? И что же я потом узнал? К этому обеду приглашены ваш отец и ваша мачеха. Я встречаюсь с ними, и кто знает, к чему может привести эта встреча? Казалось бы, самый простой случай, по я чувствую в нем нечто необыкновенное: он вселяет в меня какую-то странную уверенность. Я говорю себе, что этот человек необычайный человек, который все знает и все понимает, хотел устроить мне встречу с господином и госпожой де Вильфор. Порой даже, клянусь вам, я стараюсь прочесть в его глазах, не угадал ли он мою любовь.

– Друг мой, – сказала Валентина, – я бы сочла вас за духовидца и не на шутку испугалась бы за ваш рассудок, если бы слышала от вас только такие рассуждения. Как, вам кажется, что эта встреча – не случайность? Но подумайте хорошенько. Мой отец, который никогда нигде не бывает, раз десять пробовал заставить госпожу де Вильфор отказаться от этого приглашения, по она, напротив, горит желанием побывать в доме этого необыкновенного набоба и, хоть с большим трудом, добилась все-таки, чтобы он ее сопровождал. Нет, нет, поверьте, на этом свете, кроме вас, Максимилиан, мне но от кого ждать помощи, как только от дедушки, живого трупа, не у кого искать поддержки, кроме моей матери, бесплотной тени!

– Я чувствую, что вы правы, Валентина, и что логика на вашей стороне, – сказал Максимилиан, – но ваш нежный голос, всегда так властно на меня действующий, сегодня не убеждает меня.

– А ваш меня, – отвечала Валентина, – и признаюсь, что если у вас нет другого примера...

– У меня есть еще один, – нерешительно проговорил Максимилиан, – но я должен сам признаться, что он еще более нелеп, чем первый.

– Тем хуже, – сказала, улыбаясь, Валентина.

– А все-таки, – продолжал Моррель, – для меня он убедителен, потому что я человек чувства, интуиции и за десять лет службы не раз обязан был жизнью молниеносному наитию, которое вдруг подсказывает отклониться вправо или влево, чтобы пуля, несущая смерть, пролетела мимо.

– Дорогой Максимилиан, почему вы не приписываете моим молитвам, что пули отклоняются от своего пути? Когда вы там, я молю бога и свою мать уже не за себя, а за вас.

– Да, с тех пор как мы узнали друг друга, – с улыбкой сказал Моррель, – но прежде, когда я еще не знал вас, Валентина?

– Ну, хорошо, злой вы; если вы не хотите быть мне ничем обязанным, вернемся к примеру, который вы сами признаете нелепым.

– Так вот посмотрите в щелку: видите там, под деревом, новую лошадь, на которой я приехал?

– Какой чудный конь! Почему вы не подвели его сюда? Я бы поговорила с ним.

– Вы сами видите, это очень дорогая лошадь, – сказал Максимилиан. – А вы знаете, что мои средства ограничены, Валентина, и я, что называется, человек благоразумный. Ну, так вот, я увидел у одного торговца этого великолепного Медеа, как я его зову. Я справился о цене; мне ответили: четыре с половиной тысячи франков; я само собой должен был перестать им восхищаться и ушел, признаюсь, очень огорченный, потому что лошадь смотрела на меня приветливо, ласкалась ко мне и гарцевала подо мной самым кокетливым и очаровательным образом. В тот вечер у меня собрались приятели – Шато-Рено, Дебрэ и еще человек пять-шесть повес, которых вы имеете счастье не знать даже по именам. Вздумали играть в бульот; я никогда не играю в карты, потому что я не так богат, чтобы проигрывать, и не так беден, чтобы стремиться выиграть. Но это происходило у меня в доме, и мне не оставалось ничего другого, как послать за картами.

Когда мы сели играть, приехал граф Монте-Кристо. Он сел к столу, стали играть, и я выиграл – я едва решаюсь вам в этом признаться, Валентина, – я выиграл пять тысяч франков. Гости разошлись около полуночи. Я не выдержал, нанял кабриолет и поехал к этому торговцу. Дрожа от волнения, я позвонил, тот, кто открыл мне дверь, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Я бросился в конюшню, заглянул в стойло. О, счастье! Медеа мирно жевал сено. Я хватаю седло, сам седлаю лошадь, надеваю уздечку. Медеа подчиняется всему этому с полной охотой. Затем, сунув в руки ошеломленному торговцу четыре с половиной тысячи франков, я возвращаюсь домой – вернее, всю ночь езжу взад и вперед по Елисейским Полям. И знаете? В окнах графа горел свет, мне показалось, что я вижу на шторах его тень. Так вот, Валентина, я готов поклясться, что граф знал, как мне хочется иметь эту лошадь, и нарочно проиграл, чтобы я мог ее купить.

– Милый Максимилиан, – сказала Валентина, – вы, право, слишком большой фантазер... Вы недолго будете меня любить... Человек, который, подобно вам, витает в поэтических грезах, не сможет прозябать в такой монотонной любви, как наша... Но, боже мой, меня зовут... Слышите?

– Валентина, – сказал Максимилиан, – через щелку... ваш самый маленький пальчик... чтоб я мог поцеловать его.

– Максимилиан, ведь мы условились, что будем друг для друга только два голоса, две тони!

– Как хотите, Валентина.

– Вы будете рады, если я исполню ваше желание?

– О, да!

Валентина взобралась на скамейку и протянула не мизинец в щелку, а всю руку поверх перегородки.

Максимилиан вскрикнул, вскочил на тумбу, схватил эту обожаемую руку и припал к ней жаркими губами, но в тот же миг маленькая ручка выскользнула из его рук, и Моррель слышал только, как убежала Валентина, быть может, испуганная пережитым ощущением.

Часть четвертая

І. Господин Нуартье де Вильфор

Вот что произошло в доме королевского прокурора после отъезда г-жи Данглар и ее дочери, в то время как происходил переданный нами разговор.

Вильфор в сопровождении жены явился в комнату своего отца; что касается Валентины, то мы знаем, где она находилась.

Поздоровавшись со стариком и отослав Барруа, старого лакея, прослужившего у Нуартье больше четверти века, они сели.

Нуартье сидел в большом кресле на колесиках, куда его сажали утром и откуда поднимали вечером; перед ним было зеркало, в котором отражалась вся комната, так что, Даже не шевелясь, – что, впрочем, было для него невозможно, – он мог видеть, кто к нему входит, кто выходит и что делается вокруг. Неподвижный, как труп, он смотрел живым и умным взглядом на своих детей, церемонное приветствие которых предвещало нечто значительное и необычное.

Зрение и слух были единственными чувствами, которые, подобно двум искрам, еще тлели в этом теле, уже на три четверти готовом для могилы; да и то из этих двух чувств только одно могло свидетельствовать о внутренней жизни, еще теплившейся в этом истукане, и взгляд, выразивший эту внутреннюю жизнь, походил на далекий огонек, который ночью указывает заблудившемуся в пустыне страннику, что где-то есть живое существо, бодрствующее в безмолвии и мраке.

Зато в черных глазах старого Нуартье, с нависшими над ними черными бровями, тогда как его длинные волосы, спадающие до плеч, были совершенно белы, в этих глазах – как бывает всегда, когда тело уже перестает вам повиноваться, – сосредоточилась вся энергия, вся воля, вся сила, весь разум, некогда оживлявшие его тело и дух. Конечно, недоставало жеста руки, звука голоса, движений тела, но этот властный взор заменял все. Глаза отдавали приказания, глаза благодарили; это был труп, в котором жили глаза; и ничто не могло быть страшнее подчас, чем мраморное лицо, в верхней половине которого зажигался гнев или светилась радость. Только три человека умели понимать этот язык несчастного паралитика: Вильфор, Валентина и тот старый слуга, о котором мы уже упомянули. Но так как Вильфор видел своего отца только изредка и лишь тогда, когда это было, так сказать, неизбежно, а когда видел – ничем не старался угодить ему, даже и понимая его, то все счастье старика составляла его внучка. Валентина научилась, благодаря самоотверженности, любви и терпению, читать по глазам все мысли Нуартье. На этот немой и никому другому не понятный язык она отвечала своим голосом, лицом, всей душой, так что оживленные беседы возникали между молодой девушкой и этой брэнной плотью, почти обратившейся в прах, которая, однако, еще была человеком огромных знаний, неслыханной проницательности и настолько сильной воли, насколько это возможно для духа, который томился в теле, переставшем ему повиноваться.

Таким образом, Валентине удалось разрешить нелегкую задачу: понимать мысли старика и передавать ему свои; и благодаря этому умению почти не бывало случая, чтобы в обыденных вещах она не угадывала вполне точно желания этой живой души или потребности этого полубесчувственного трупа.

Что касается Барруа, то он, как мы сказали, служил своему хозяину уже двадцать пять лет и так хорошо знал все его привычки, что Нуартье почти не требовалось о чем-либо его просить.

Вильфору не нужна была ничья помощь, чтобы начать с отцом тот странный разговор, для которого он явился. Он сам, как мы уже сказали, отлично знал весь словарь старика, и если он так редко с ним беседовал, то это происходило лишь от полного равнодушия. Поэтому он предоставил Валентине спуститься в сад, отослал Барруа и уселся по правую руку от своего отца, между тем как г-жа де Вильфор села слева.

– Не удивляйтесь, сударь, – сказал он, – что Валентина не пришла с нами и что я отослал Барруа; предстоящая нам беседа не могла бы вестись в присутствии дочери или лакея. Госпожа де Вильфор и я намерены сообщить вам нечто важное.

Во время этого вступления лицо Нуартье оставалось безучастным, тогда как взгляд Вильфора, казалось, хотел проникнуть в самое сердце старика.

– Мы уверены, госпожа, де Вильфор и я, – продолжал королевский прокурор своим обычным ледяным тоном, не допускающим каких-либо возражений, – что вы сочувственно встретите это сообщение.

Взгляд старика был по-прежнему неподвижен; он просто слушал.

– Мы выдаем Валентину замуж, – продолжал Вильфор.

Восковая маска не могла бы остаться при этом известии более холодной, чем лицо старика.

– Свадьба состоится через три месяца, – продолжал Вильфор.

Глаза старика были все так же безжизненны.

Тут заговорила г-жа де Вильфор.

– Нам казалось, – поспешила она добавить, – что это известие должно вас заинтересовать; к тому же вы, по-видимому, всегда были привязаны к Валентине; нам остается только назвать вам имя молодого человека, который ей предназначен. Это одна из лучших партий, на которые Валентина могла бы рассчитывать; тот, кого мы ей предназначаем и чье имя

вам, вероятно, знакомо, хорошего рода и богат, а его образ жизни и вкусы служат для нее порукой счастья. Речь идет о Франце де Кенель, бароне д'Эпине.

Пока его жена произносила эту маленькую речь, Вильфор буквально впился взглядом в лицо старика. Едва г-жа де Вильфор произнесла имя Франца, как в глазах Нуартье, так хорошо знакомых его сыну, что-то дрогнуло, и между его век, раскрывшихся, словно губы, собирающиеся что-то сказать, сверкнула молния.

Королевский прокурор, знавший об открытой вражде, некогда существовавшей между его отцом и отцом Франца, понял эту вспышку и это волнение; но он сделал вид, будто ничего не заметил, и заговорил, продолжая речь своей жены:

– Вы отлично понимаете, сударь, как важно, чтобы Валентина, которой скоро минет девятнадцать лет, была, наконец, пристроена. Тем не менее, обсуждая это, мы не забыли и вас и заранее условились, что муж Валентины согласится если и не жить вместе с нами – и это могло бы стеснить молодую чету, – то во всяком случае на то, чтобы выделили вместе с ними; ведь Валентина вас очень любит, и вы, по-видимому, отвечаете ей такой же любовью. Таким образом, ваша привычная жизнь ни в чем не изменится, и разница будет только в том, что за вами будут ухаживать двое детей вместо одного.

Сверкающие глаза Нуартье налились кровью.

Очевидно, в душе старика происходило что-то ужасное; очевидно, крик боли и гнева, не находя себе выхода, душил его, потому что лицо его побагровело и губы стали синими.

Вильфор спокойно отворил окно, говоря:

– Здесь очень душно, поэтому господину Нуартье трудно дышать.

Затем он вернулся на место, но остался стоять.

– Этот брак, – прибавила г-жа де Вильфор, – по душе господину д'Эпине и его родным; их, впрочем, только двое – дядя и тетка. Его мать умерла при его рождении, а отец был убит в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда ребенку было всего два года, так что он зависит только от себя.

– Загадочное убийство, – сказал Вильфор, – виновники которого остались неизвестны; подозрение витало над многими головами, но ни на кого не пало.

Нуартье сделал такое усилие, что губы его искривились, словно для улыбки.

– Впрочем, – продолжал Вильфор, – истинные виновники, те, кто знает, что именно они совершили преступление, те, кого при жизни может постигнуть человеческое правосудие, а после смерти правосудие небесное, были бы рады оказаться на нашем месте и иметь возможность предложить свою дочь Францу д'Эпине, чтобы устранить даже тень какого-либо подозрения.

Нуартье овладел собой усилием воли, которого трудно было бы ожидать от беспомощного паралитика.

– Да, я понимаю вас, – ответил его взгляд Вильфору; и в этом взгляде выразились одновременно глубокое презрение и гнев.

На этот взгляд, который он хорошо понял, Вильфор ответил легким пожатием плеч.

Затем он знаком предложил своей жене подняться.

– А теперь, – сказала г-жа де Вильфор, – позвольте нам откланяться. Угодно ли вам, чтобы Эдуард зашел поздороваться с вами?

Было условлено, что старик выражал свое согласие, закрывая глаза, отказ – миганием, а когда ему нужно было выразить какое-нибудь желание, он поднимал глаза к небу.

Если он желал видеть Валентину, он закрывал только правый глаз.

Если он звал Барруа, он закрывал левый.

Услышав предложение г-жи де Вильфор, он усиленно заморгал.

Госпожа де Вильфор, видя явный отказ, закусила губу.

– В таком случае я пришло к вам Валентину, – сказала она.

– Да, – отвечал старик, быстро закрывая глаза.

Супруги де Вильфор поклонились и вышли, приказав позвать Валентину, уже, впрочем, предупрежденную, что она днем будет нужна деду.

Валентина, еще вся розовая от волнения, вошла к старику. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как страдает ее дед и как он жаждет с ней говорить.

– Дедушка, – воскликнула она, – что случилось? Тебя расстроили, и ты сердисься?

– Да, – ответил он, закрывая глаза.

– На кого же? на моего отца? нет; на госпожу де Вильфор? нет; на меня?

Старик сделал знак, что да.

– На меня? – переспросила удивленная Валентина.

Старик сделал тот же знак.

– Что же я сделала, дедушка? – воскликнула Валентина.

Никакого ответа; она продолжала:

– Я сегодня не видела тебя; значит, тебе что-нибудь про меня сказали?

– Да, – поспешно ответил взгляд старика.

– Попробую отгадать, в чем дело. Боже мой, уверяю тебя, дедушка... Ах, вот что!..

Господин и госпожа де Вильфор только что были здесь, правда?

– Да.

– И это они сказали тебе то, что рассердило тебя? Что же это может быть? Хочешь, я пойду спрошу их, чтобы знать, за что мне просить у тебя прощения?

– Нет, нет, – ответил взгляд.

– Ты меня пугаешь! Что же они могли сказать?

И она задумалась.

– Я догадываюсь, – сказала она, понижая голос и подходя ближе к старику. – Может быть, они говорили о моем замужестве?

– Да, – ответил гневный взгляд.

– Понимаю, ты сердишься за то, что я молчала. Но, видишь ли, они мне строго-настрого запретили тебе об этом говорить; они и мне ничего не говорили, и я совершенно случайно узнала эту тайну; вот почему и не была откровенна с тобой. Прости, дедушка.

Взгляд, снова неподвижный и безучастный, казалось, говорил: «Меня огорчает не только твое молчание».

– В чем же дело? – спросила Валентина. – Или ты думаешь, что я покину тебя, дедушка, что, выходя замуж, я тебя забуду?

– Нет, – ответил старик.

– Значит, они сказали тебе, что господин д'Эпине согласен на то, чтобы мы жили вместе?

– Да.

– Так почему же ты сердишься?

В глазах старика появилось выражение бесконечной нежности.

– Да, я понимаю, – сказала Валентина, – потому, что ты меня любишь?

Старик сделал знак, что да.

– И ты боишься, что я буду несчастна?

– Да.

– Ты не любишь Франца?

Глаза несколько раз подряд ответили:

– Нет, нет, нет.

– Так тебе очень тяжело, дедушка?

– Да.

– Тогда слушай, – сказала Валентина, опускаясь на колени подле Нуартье и обнимая его обеими руками, – мне тоже очень тяжело, потому что я тоже не люблю Франца д'Эпине.

Луч радости мелькнул в глазах деда.

– Помнишь, как ты рассердился на меня, когда я хотела уйти в монастырь?

Под иссохшими веками старика показались слезы.

– Ну, так вот, – продолжала Валентина, – я хотела это сделать, чтобы избежать этого брака, который приводит меня в отчаяние.

Дыхание старика стало прерывистым.

– Так этот брак очень огорчает тебя, дедушка? Ах, если бы ты мог мне помочь, если бы мы вдвоем могли помешать их планам! Но ты бессилен против них, хотя у тебя такой светлый ум и такая сильная воля; когда надо бороться, ты так же слаб, как и я, даже слабее. Когда ты был силен и здоров, ты мог бы меня защитить, а теперь ты можешь только понимать меня и радоваться или печалиться вместе со мной. Это последнее счастье, которое бог забыл отнять у меня.

При этих словах в глазах Нуартье появилось выражение такого глубокого лукавства, что девушке показалось, будто он говорит:

– Ты ошибаешься, я еще многое могу сделать для тебя.

– Ты можешь что-нибудь для меня сделать, дедушка? – выразила словами его мысль Валентина.

– Да.

Нуартье поднял глаза к небу. Это был условленный между ним и Валентиной знак, выражающий желание.

– Что ты хочешь, дедушка? Я постараюсь понять.

Валентина стала угадывать, высказывая вслух свои предположения, по мере того как они у нее возникали; но на все ее слова старик неизменно отвечал «нет».

– Ну, – сказала она, – прибегнем к решительным мерам, раз уж я так недогадлива!

И она стала называть подряд все буквы алфавита, от А до Н, с улыбкой следя за глазами паралитика; когда она дошла до буквы Н, Нуартье сделал утвердительный знак.

– Так! – сказала Валентина. – То, чего ты хочешь, начинается с буквы Н; значит, мы имеем дело с Н? Ну-с, что же нам от него нужно, от этого Н? На, не, ни, но...

– Да, да, да, – ответил старик.

– Так это но?

– Да.

Валентина принесла словарь и, положив его перед Нуартье на пюпитр, раскрыла его; увидев, что взгляд старика сосредоточился на странице, она начала быстро скользить пальцем сверху вниз, по столбцам.

С тех пор как, шесть лет тому назад, Нуартье впал в то тяжелое состояние, в котором он теперь находился, она научилась легко справляться с этим делом и угадывала мысль старика так же быстро, как если бы он сам искал в словаре нужное ему слово.

На слове нотариус Нуартье сделал ей знак остановиться.

– Нотариус, – сказала она, – ты хочешь видеть нотариуса, дедушка?

Нуартье показал, что он действительно желает видеть нотариуса.

– Значит, надо послать за нотариусом? – спросила Валентина.

– Да, – показал старик.

– Надобно, чтобы об этом знал мой отец?

– Да.

– А спешно тебе нужен нотариус?

– Да.

– За ним сейчас пошлют. Это все, что тебе нужно?

– Да.

Валентина подбежала к звонку и вызвала лакея, чтобы пригласить к деду господина или госпожу де Вильфор.

– Ты доволен? – спросила Валентина. – Да... еще бы! Не так-то легко было догадаться!

И она улыбнулась деду, как улыбнулась бы ребенку.

В комнату вошел Вильфор, приведенный Барруа.

– Что вам угодно, сударь? – спросил он паралитика.

– Отец, – сказала Валентина, – дедушка хочет видеть нотариуса.

При этом странном, а главное – неожиданном требовании Вильфор обменялся взглядом с паралитиком.

– Да, – показал тот с твердостью, которая ясно говорила, что с помощью Валентины и своего старого слуги, осведомленного теперь о его желании, он готов на борьбу.

– Вы желаете видеть нотариуса? – повторил Вильфор.

– Да.

– Зачем?

Нуартье ничего не ответил.

– Но для чего вам нужен нотариус? – спросил Вильфор.

Взгляд старика оставался неподвижным, немым; это означало: «Я настаиваю на своем».

– Чтобы чем-нибудь досадить нам? – сказал Вильфор. – К чему это?

– Но, однако, – сказал Барруа, готовый с настойчивостью, присущей старым слугам, добиваться своего, – если мой господин желает видеть нотариуса, так, видно, он ему нужен. И я пойду за нотариусом.

Барруа не признавал иных хозяев, кроме Нуартье, и не допускал, чтобы в чем-нибудь противоречили его желаниям.

– Да, я желаю видеть нотариуса, – показал старик, закрывая глаза с таким вызывающим видом, словно он говорил: «Посмотрим, осмелятся ли не исполнить моего желания».

– Если вы так настаиваете, нотариуса приведут, но мне придется извиниться перед ним за себя и за вас, потому что это будет смехотворно.

– Все равно, – сказал Барруа, – я схожу за ним.

И старый слуга удалился торжествуя.

II. Завещание

Когда Барруа выходил из комнаты, Нуартье лукаво и многозначительно взглянул на внучку. Валентина поняла этот взгляд; понял его и Вильфор, потому что лицо его омрачилось и брови сдвинулись.

Он взял стул и, усевшись против паралитика, приготовился ждать.

Нуартье смотрел на него с полнейшим равнодушием, но уголком глаза он велел Валентине не беспокоиться и тоже оставаться в комнате.

Через три четверти часа Барруа вернулся вместе с нотариусом.

– Сударь, – сказал Вильфор, поздоровавшись с ним, – вас вызвал присутствующий здесь господин Нуартье де Вильфор; общий паралич лишил его движения и голоса, и только мы одни, и то с большим трудом, умудряемся понимать кое-какие обрывки его мыслей.

Нуартье обратил на Валентину свой взгляд, такой серьезный и властный, что она немедленно вступилась:

– Я, сударь, понимаю все, что хочет сказать мой дед.

– Это верно, – прибавил Барруа, – все, решительно все, как я уже сказал по дороге господину нотариусу.

– Разрешите, господа, сказать вам, – обратился нотариус к Вильфору и Валентине, – что это как раз один из тех случаев, когда должностное лицо не может действовать опрометчиво, не навлекая этим на себя тяжкой ответственности. Для того чтобы акт был законным, нотариус прежде всего должен быть убежден, что он в точности передал волю того, кто ему его диктует. Я же не могу быть уверен в согласии или несогласии клиента, лишённого дара речи; и так как предмет его желания или нежелания будет для меня не ясен ввиду его немоты, то мое участие совершенно бесполезно и было бы противозаконно.

Нотариус собирался удалиться. Еле уловимая торжествующая улыбка мелькнула на губах королевского прокурора.

Со своей стороны Нуартье взглянул на Валентину с таким горестным выражением, что она преградила нотариусу дорогу.

– Сударь, – сказала она, – тот язык, на котором я объясняюсь с моим дедом, настолько легко усвоить, что я в несколько минут могу вас научить так же хорошо понимать его, как понимаю сама. Скажите, что вам нужно для того, чтобы ваша совесть была совершенно спокойна?

– То, что необходимо для законности наших актов, – отвечал нотариус, – уверенность в согласии или несогласии. Завещатель может быть болен телом, но он должен быть здрав рассудком.

– Ну, так вот, сударь, два знака убедят вас в том, что рассудок моего деда никогда не был более здоровым, чем сейчас. Господин Нуартье, лишённый голоса, лишённый движения, закрывает глаза, когда хочет сказать «да», и мигает несколько раз, когда хочет сказать «нет». Теперь вы знаете достаточно, чтобы беседовать с ним; попробуйте же.

Взгляд, брошенный стариком на Валентину, был так полон любви и благодарности, что даже нотариус понял его.

– Вы слышали и поняли все, что сказала ваша внучка, сударь? – спросил нотариус.

Нуартье медленно закрыл глаза и через секунду снова открыл их.

– И вы подтверждаете то, что она сказала? То есть что названные ею знаки именно те, с помощью которых вы передаете другим вашу мысль?

– Да, – показал старик.

– Это вы меня пригласили?

– Да.

– Чтобы составить ваше завещание?

– Да.

– И вы не желаете, чтобы я ушел, не составив этого завещания?

Паралитик быстро заморгал глазами.

– Ну вот, сударь, теперь вы его понимаете? – спросила Валентина. – Ваша совесть может быть спокойна?

Но раньше, чем нотариус успел ответить, Вильфор отвел его в сторону:

– Сударь, – сказал он, – неужели вы считаете, что такое ужасное физическое потрясение, какое перенес господин Нуартье де Вильфор, может не отразиться в сильной степени и на его умственных способностях?

– Меня беспокоит не столько это, – отвечал нотариус, – сколько то, каким образом мы будем угадывать его мысли, чтобы вызывать ответы?

– Вы же сами видите, что это невозможно, – сказал Вильфор.

Валентина и старик слышали этот разговор. Нуартье остановил пристальный и решительный взгляд на Валентине; этот взгляд явно требовал, чтобы она возразила.

– Не беспокойтесь об этом, сударь, – сказала она. – Как бы ни было трудно или, вернее, как бы вам ни казалось трудно понять мысль моего деда, я вам ее раскрою, так что у вас не останется никаких сомнений. Вот уже шесть лет, как я нахожусь около господина Нуартье, и пусть он сам вам скажет, был ли за эти шесть лет хоть один случай, чтобы какое-нибудь его желание осталось у него на сердце, оттого что я не могла его понять?

– Нет, – показал старик.

– Так попробуем, – сказал нотариус, – вы согласны на то, чтобы мадемуазель де Вильфор была вашим переводчиком?

Паралитик сделал знак, что да.

– Отлично! Итак, сударь, чего же вы от меня желаете и какой акт хотите совершить?

Валентина стала называть по порядку буквы алфавита. Когда они дошли до буквы З, красноречивый взгляд Нуартье остановил ее.

– Господину Нуартье нужна буква З, – сказал нотариус, – это ясно.

– Подождите, – сказала Валентина, потом обернулась к деду, – за...

Старик сразу же остановил ее.

Тогда Валентина взяла словарь и на глазах у внимательно наблюдавшего нотариуса стала перелистывать страницы.

– Завещание, – указал се палец, остановленный взглядом Нуартье.

– Завещание! – воскликнул нотариус. – Это ясно. Господин Нуартье желает составить завещание.

– Да, – несколько раз показал Нуартье.

– Да, это удивительно, сударь, согласитесь сами, – сказал нотариус изумленному Вильфору.

– Действительно, – возразил тот, – и еще удивительнее было бы это завещание, потому что все же я сомневаюсь, чтобы его пункты, слово за словом, могли ложиться на бумагу без искусного подсказывания моей дочери. А Валентина, быть может, слишком заинтересована в этом завещании, чтобы быть подходящим истолкователем никому не ведомых желаний господина Нуартье де Вильфор.

– Нет, нет, нет! – показал паралитик.

– Как! – сказал Вильфор. – Валентина не заинтересована в вашем завещании?

– Нет, – показал Нуартье.

– Сударь, – сказал нотариус, который, в восторге от проделанного опыта, уже готовился рассказывать в обществе все подробности этого живописного эпизода, – сударь, то, что я сейчас только считал невозможным, кажется мне теперь совершенно легким; и это завещание будет простопросто тайным завещанием, то есть предусмотренным и разрешенным законом, если только оно оглашено в присутствии семи свидетелей, подтверждено при них завещателем и запечатано нотариусом опять-таки в их присутствии. Времени же оно потребует едва ли многим больше, чем обыкновенное завещание; прежде всего существуют узаконенные формы, всегда неизменные, а что касается подробностей, то их нам укажет главным образом само положение дел завещателя, а также вы, который их вели и знаете их. Впрочем, для того чтобы этот акт явился неоспоримым, мы придадим ему полнейшую достоверность; один из моих коллег послужит мне помощником и, в отступление от обычаев, будет присутствовать при его составлении. Удовлетворит ли это вас, сударь? – продолжал нотариус, обращаясь к старику.

– Да, – ответил Нуартье, радуясь, что его поняли.

«Что он задумал?» – недоумевал Вильфор, которого его высокое положение заставляло быть сдержанным и который все еще не мог понять, куда клонит его отец.

Он обернулся, чтобы послать за вторым нотариусом, которого назвал первый, но Барруа, все слышавший и догадавшийся о желании своего хозяина, успел уже выйти.

Тогда королевский прокурор распорядился пригласить наверх свою жену.

Через четверть часа все собрались в комнате паралитика, и прибыл второй нотариус.

Оба нотариуса быстро сговорились. Г-ну Нуартье прочитали обычный текст завещания, затем, как бы для того, чтобы испытать его разум, первый нотариус, обратясь к нему, сказал:

– Когда пишут завещание, сударь, то это делают в чью-нибудь пользу.

– Да, – показал Нуартье.

– Имеете ли вы представление о том, как велико ваше состояние?

– Да.

– Я назову вам несколько цифр, постепенно возрастающих, вы меня остановите, когда я дойду до той, которую вы считаете правильной.

– Да.

В этом допросе было нечто торжественное; да и едва ли борьба разума с немощной плотью выступала когда-нибудь так наглядно, – это было зрелище если не возвышенное, как мы чуть было не сказали, то во всяком случае любопытное.

Все столпились вокруг Нуартье; второй нотариус уселся за стол и приготовился писать; первый нотариус стоял перед паралитиком и предлагал вопросы.

– Ваше состояние превышает триста тысяч франков, не так ли? – спросил он.

Нуартье сделал знак, что да.

– Оно составляет четыреста тысяч франков? – спросил нотариус.

Нуартье остался недвижим.

– Пятьсот тысяч франков?

Та же неподвижность.

– Шестьсот тысяч? семьсот тысяч? восемьсот тысяч? девятьсот тысяч?

Нуартье сделал знак, что да.

– Вы владеете девятьюстами тысячами франков?

– Да.

– В недвижимости? – спросил нотариус.

Нуартье сделал знак, что нет.

– В государственных процентных бумагах?

Нуартье сделал знак, что да.

– Эти бумаги у вас на руках?

При взгляде, брошенном на Барруа, старый слуга вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся маленькую шкатулку.

– Разрешите ли вы открыть эту шкатулку?

Нуартье сделал знак, что да.

Шкатулку открыли и нашли в ней на девятьсот тысяч франков билетов государственного казначейства.

Первый нотариус передал билеты, один за другим, своему коллеге; они составляли сумму, указанную Нуартье.

– Все правильно, – сказал он, – вполне очевидно, что разум совершенно ясен и тверд.

Затем, обернувшись к паралитику, он спросил:

– Итак, вы обладаете капиталом в девятьсот тысяч франков, и он приносит вам, благодаря бумагам, в которые вы его поместили, около сорока тысяч годового дохода?

– Да, – показал Нуартье.

– Кому вы желаете оставить это состояние?

– Здесь не может быть сомнений, – сказала г-жа де Вильфор. – Господин Нуартье любит только свою внучку, мадемуазель Валентину де Вильфор; она ухаживает за ним уже шесть лет; она своими неустанными заботами снискала любовь своего деда, и я бы сказала, его благодарность; поэтому будет вполне справедливо, если она получит награду за свою преданность.

Глаза Нуартье блеснули, показывая, что г-жа де Вильфор не обманула его, притворно одобряя приписываемые ему намерения.

– Так вы оставляете эти девятьсот тысяч франков мадемуазель Валентине де Вильфор? – спросил нотариус, считавший, что ему остается только вписать этот пункт, но желавший

все-таки удостовериться в согласии Нуартье и дать в нем удостовериться всем свидетелям этой необыкновенной сцены.

Валентина отошла немного в сторону и плакала, опустив голову; старик взглянул на нее с выражением глубокой нежности; потом, глядя на нотариуса, самым выразительным образом замигал.

– Нет? – сказал нотариус. – Как, разве вы не мадемуазель Валентину де Вильфор назначаете вашей единственной наследницей?

Нуартье сделал знак, что нет.

– Вы не ошибаетесь? – воскликнул удивленный нотариус. – Вы действительно говорите нет?

– Нет! – повторил Нуартье. – Нет!

Валентина подняла голову; она была поражена не тем, что ее лишают наследства, но тем, что она могла вызвать то чувство, которое обычно внушает такие поступки.

Но Нуартье глядел на нее с такой глубокой нежностью, что она воскликнула:

– Я понимаю, дедушка, вы лишаете меня только своего состояния, но не своей любви?

– Да, конечно, – сказали глаза паралитика, так выразительно закрываясь, что Валентина не могла сомневаться.

– Спасибо, спасибо! – прошептала она.

Между тем этот отказ пробудил в сердце г-жи де Вильфор внезапную надежду, она подошла к старику.

– Значит, дорогой господин Нуартье, вы оставляете свое состояние вашему внуку Эдуарду де Вильфор? – спросила она.

Было что-то ужасное в том, как заморгал старик; его глаза выражали почти ненависть.

– Нет, – пояснил нотариус. – В таком случае – вашему сыну, здесь присутствующему?

– Нет, – возразил старик.

Оба нотариуса изумленно переглянулись; Вильфор и его жена покраснели: один от стыда, другая – от злости.

– Но чем же мы провинились перед вами, дедушка? – сказала Валентина. – Вы нас больше не любите?

Взгляд старика бегло окинул Вильфора, потом его жену и с выражением глубокой нежности остановился на Валентине.

– Послушай, дедушка, – сказала она, – если ты меня любишь, то как же согласовать твою любовь с тем, что ты сейчас делаешь. Ты меня знаешь, ты знаешь, что я никогда не думала о твоих деньгах. К тому же говорят, что я получила большое состояние после моей матери, слишком даже большое. Объясни же, в чем дело?

Нуартье уставился горящим взглядом на руку Валентины.

– Моя рука? – Спросила она.

– Да, – показал Нуартье.

– Ее рука! – повторили все присутствующие.

– Ах, господа, – сказал Вильфор, – вы же видите, что все это бесполезно и что мой бедный отец не в своем уме.

– Я понимаю! – воскликнула вдруг Валентина. – Мое замужество, дедушка, да?

– Да, да, да, – три раза повторил паралитик, сверкая гневным взором каждый раз, как он поднимал веки.

– Ты недоволен нами из-за моего замужества, да?

– Да.

– Но это нелепо! – сказал Вильфор.

– Простите, сударь, – сказал нотариус, – все это, напротив, весьма логично и, на мой взгляд, вполне вытекает одно из другого.

– Ты не хочешь, чтобы я вышла замуж за Франца д'Эпине?

– Нет, не хочу, – сказал взгляд старика.

– И вы лишаете вашу внучку наследства за то, что она выходит замуж вопреки вашему желанию? – воскликнул нотариус.

– Да, – ответил Нуартье.

– Так что, не будь этого брака, она была бы вашей наследницей?

– Да.

Вокруг старика воцарилось глубокое молчание.

Нотариусы совещались друг с другом; Валентина с благодарной улыбкой смотрела на деда; Вильфор кусал свои тонкие губы, его жена не могла подавить радость, помимо ее воли выразившуюся на ее лице.

– Но мне кажется, – сказал наконец Вильфор, первым прерывая молчание, – что я один призван судить, насколько нам подходит этот брак. Я один распоряжаюсь рукой моей дочери, я хочу, чтобы она вышла замуж за господина Франца д'Эпине, и она будет его женой.

Валентина, вся в слезах, опустила в кресло.

– Сударь, – сказал нотариус, обращаясь к старику, – как вы намерены распорядиться вашим состоянием в том случае, если мадемуазель Валентина выйдет замуж за господина д'Эпине?

Старик был недвижим.

– Однако вы намерены им распорядиться?

– Да, – показал Нуартье.

– В пользу кого-нибудь из вашей семьи?

– Нет.

– Так в пользу бедных?

– Да.

– Но вам известно, – сказал нотариус, – что закон не позволит вам совсем обделить вашего сына?

– Да.

– Так что вы распорядитесь только той частью, которой вы можете располагать по закону?

Нуартье остался недвижим.

– Вы продолжаете настаивать на том, чтобы распорядиться всем вашим состоянием?

– Да.

– Но после вашей смерти ваше завещание будет оспорено.

– Нет.

– Мой отец меня знает, сударь, – сказал Вильфор, – он знает, что его воля для меня священна; притом он понимает, что я в моем положении не могу судиться с бедными.

Во взгляде Нуартье светилось торжество.

– Как вы решите, сударь? – спросил нотариус Вильфора.

– Никак; мой отец так решил, а я знаю, что он не меняет своих решений. Мне остается только подчиниться. Эти девятьсот тысяч франков уйдут из семьи и обогатят приюты; но я не исполню каприза старика и поступлю согласно своей совести.

И Вильфор удалился в сопровождении жены, предоставляя отцу изъявлять свою волю, как ему угодно.

В тот же день завещание было составлено; привели свидетелей, оно было прочитано и одобрено стариком, запечатано при всех и отдано на хранение г-ну Дешан, нотариусу семьи Вильфор.

III. Телеграф

Вернувшись к себе, супруги Вильфор узнали, что в гостиной их ждет приехавший с визитом граф Монте-Кристо; г-жа де Вильфор, слишком взволнованная, чтобы сразу выйти к нему, прошла к себе в спальню, королевский прокурор, более в себе уверенный, прямо направился в гостиную. Но как он ни умел держать себя в руках, как ни владел выражением своего лица, он не был в силах скрыть свою мрачность, и граф, на губах которого сияла лучезарная улыбка, обратил внимание на его озабоченный и угрюмый вид.

– Что с вами, господин де Вильфор? – спросил он после первых приветствий. – Быть может, я явился как раз в ту минуту, когда вы писали какой-нибудь нешуточный обвинительный акт?

Вильфор попытался улыбнуться.

– Нет, граф, – сказал он, – в данном случае жертва – я сам. Это я проиграл дело, а над обвинительным актом работали случай, упрямство и безумие.

– Что вы хотите сказать? – спросил Монте-Кристо с прекрасно разыгранным участием. – У вас в самом деле серьезные неприятности?

– Не стоит и говорить, граф, – сказал Вильфор с полным горечи спокойствием, – пустяки, просто денежная потеря.

– Да, конечно, – ответил Монте-Кристо, – денежная потеря – пустяки, если обладать таким состоянием, как ваше, и таким философским и возвышенным умом, как ваш!

– Поэтому, – ответил Вильфор, – я и озабочен не из-за денег, хотя как-никак девятьсот тысяч франков стоят того, чтобы о них пожалеть или во всяком случае, чтобы подосадовать. Меня огорчает больше всего эта игра судьбы, случая, предопределения, не знаю, как назвать ту силу, что обрушила на меня этот удар, уничтожила мои надежды на богатство и, быть может, разрушила будущность моей дочери из-за каприза вставшего в детство старика.

– Да что вы! Как же так? – воскликнул граф. – Девятьсот тысяч франков, вы говорите? Вы правы, эта сумма стоит того, чтобы о ней пожалел даже философ, но кто же вам доставил такое огорчение?

– Мой отец, о котором я вам рассказывал.

– Господин Нуартье? Неужели? Но вы мне говорили, насколько я помню, что он совершенно парализован и утратил все свои способности?

– Да, физические способности, потому что он не в состоянии двигаться, не в состоянии говорить, и, несмотря на это, он мыслит, он желает, он действует, как видите. Я ушел от него пять минут тому назад; он сейчас занят тем, что диктует двум нотариусам свое завещание.

– Так, значит, он заговорил?

– Нет, но заставил себя понять.

– Каким образом?

– Взглядом; его глаза продолжают жить и, как видите, убивают.

– Мой друг, – сказала г-жа де Вильфор, входя в комнату, – мне кажется, вы преувеличиваете.

– Сударыня... – приветствовал ее с поклоном граф.

Госпожа де Вильфор ответила самой очаровательной улыбкой.

– Но что я слышу от господина де Вильфор? – спросил Монте-Кристо. – Что за непонятная немилость?..

– Непонятная, вот именно! – сказал королевский прокурор, пожимая плечами. – Старческий каприз!

– А разве нет способа заставить его изменить решение?

– Нет, есть, – сказала г-жа де Вильфор, – и только от моего мужа зависит, чтобы это завещание было составлено не в ущерб Валентине, а наоборот, в ее пользу.

Граф, видя, что супруги начали говорить загадками, принял рассеянный вид и стал с глубочайшим вниманием и явным одобрением следить за Эдуардом, подливавшим чернила в птичье корытце.

– Дорогая моя, – возразил Вильфор жене, – вы знаете, что я не склонен разыгрывать у себя в доме патриарха и никогда не воображал, будто судьбы мира зависят от моего мановения. Но все же необходимо, чтобы моя семья считалась с моими решениями и чтобы безумие старика и капризы ребенка не разрушали давно обдуманного мною плана. Барон д'Эпине был моим другом, вы это знаете, и его сын был бы для нашей дочери наилучшим мужем.

– Так, по-вашему, – сказала г-жа де Вильфор, – Валентина с ним сговорилась?.. В самом деле... она всегда противилась этому браку, и я не удивлюсь, если все, что мы сейчас видели и слышали, окажется просто выполнением заранее составленного ими плана.

– Поверьте, – сказал Вильфор, – что так не отказываются от капитала в девятьсот тысяч франков.

– Она отказалась бы и от мира, ведь она год тому назад собиралась уйти в монастырь.

– Все равно, – возразил Вильфор, – говорю вам, этот брак состоится!

– Вопреки воле вашего отца? – сказала г-жа де Вильфор, пробуя играть на другой струне. – Это не шутка!

Монте-Кристо делал вид, что не слушает, но не пропускал ни одного слова из этого разговора.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – я должен сказать, что всегда почитал своего отца, потому что естественное сыновнее чувство соединилось у меня с сознанием его нравственного превосходства; наконец, потому, что отец для нас вдвойне священен: как наш создатель и как наш господин; но не могу же я считать теперь разумным старика, который, в память своей

ненависти к отцу, ненавидит сына; с моей стороны было бы смешно согласовать свое поведение с его капризами. Я не перестану относиться с глубочайшим почтением к господину Нуартье, я безропотно подчинюсь наложенной им на меня денежной каре, но решение мое останется непреклонным, и общество рассудит, на чьей стороне был здравый смысл. Я выдам замуж мою дочь за барона Франца д'Эпине, так как считаю, что это хороший и почетный брак, и так как в конечном счете я хочу выдать свою дочь за того, кто мне подходит.

– Вот как, – сказал граф, у которого королевский прокурор то и дело взглядом просил одобрения, – вот как! Господин Нуартье, по вашим словам, лишает мадемуазель Валентину наследства за то, что она выходит замуж за барона Франца д'Эпине?

– Вот именно в этом вся причина, – сказал Вильфор, пожимая плечами.

– Во всяком случае видимая причина, – прибавила г-жа де Вильфор.

– Действительная причина, сударыня. Поверьте, я знаю своего отца.

– Можете вы это понять? – спросила молодая женщина. – Чем, скажите пожалуйста, господин д'Эпине хуже всякого другого?

– В самом деле, – сказал граф, – я встречал господина Франца д'Эпине; это ведь сын генерала де Кенель, впоследствии барона д'Эпине?

– Совершенно верно, – ответил Вильфор.

– Он показался мне очаровательным молодым человеком.

– Поэтому я и уверена, что это только предлог, – сказала г-жа де Вильфор. – Старики становятся тиранами в отношении тех, кого они любят; господин Нуартье просто не желает, чтобы его внучка выходила замуж.

– Но, может быть, у этой ненависти есть какая-нибудь причина? – спросил Монте-Кристо.

– Бог мой, откуда же это можно знать?

– Может быть, политическая антипатия?

– Действительно, мой отец и отец господина д'Эпине жили в бурное время; я видел лишь последние дни его, – сказал Вильфор.

– Ваш отец, кажется, был бонапартист? – спросил Монте-Кристо. – Мне помнится, вы говорили что-то в этом роде.

– Мой отец был прежде всего якобинец, – возразил Вильфор, забыв в своем волнении о всякой осторожности, – и тога сенатора, накинутая на его плечи Наполеоном, изменила лишь его наряд, но не его самого. Когда мой отец участвовал в заговорах, он делал это не из любви к императору, а из ненависти к Бурбонам; самое страшное в нем было то, что он никогда не сражался за неосуществимые утопии, а всегда лишь за действительно возможное, и при этом следовал ужасной теории монтаньяров, которые не останавливались ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели.

– Ну, вот видите, – сказал Монте-Кристо, – в этом все дело. Нуартье и д'Эпине столкнулись на политической почве. Хотя генерал д'Эпине и служил в войсках Наполеона, но он в душе был роялистом, правда? Ведь это тот самый, что был убит однажды ночью, при выходе из бонапартистского клуба, куда его завлекли в надежде найти в нем собрата?

Вильфор почти с ужасом взглянул на графа.

– Я ошибаюсь? – спросил Монте-Кристо.

– Напротив, – сказала г-жа де Вильфор, – это так и есть; и именно поэтому мой муж, желая изгладить всякое воспоминание о былой вражде, решил соединить любовью двух детей, отцы которых ненавидели друг друга.

– Превосходная мысль! – сказал Монте-Кристо. – Мысль, исполненная милосердия; свет должен рукоплескать ей. В самом деле, было бы прекрасно, если бы мадемуазель Нуартье де Вильфор стала называться госпожой Франц д'Эпине.

Вильфор вздрогнул и посмотрел на Монте-Кристо, как бы желая прочесть в глубине его сердца намерение, которое продиктовало ему эти слова.

Но на губах графа играла обычная приветливая улыбка; и на этот раз королевский прокурор, несмотря на всю свою пронизательность, опять не увидел ничего, кроме оболочки.

– Поэтому, – продолжал Вильфор, – хотя утрата состояния деда и большое несчастье для Валентины, я всетаки не думаю, чтобы это могло расстроить ее брак. Я не думаю, чтобы господина д'Эпине могла смутить эта денежная потеря; он увидит, что я, пожалуй, стою больше этой суммы, я, жертвующий ею ради того, чтобы сдержать свое слово; он примет также в расчет, что Валентина и без того унаследовала после матери большое состояние; оно находится в

распоряжении маркиза и маркизы де СенМеран, ее деда и бабки с материнской стороны, а они оба ее нежно любят.

– И они заслуживают того, чтобы их любили и за ними ухаживали так же, как это делает Валентина по отношению к господину Нуартье, – сказала г-жа де Вильфор. – Впрочем, не позже чем через месяц они приедут в Париж, и Валентине после такого оскорбления не к чему будет вечно сидеть с Нуартье, как она сидела до сих пор.

Граф благосклонно внимал нестройным голосам оскорбленного самолюбия и обманутой корысти.

– Я заранее прошу вас простить мне то, что я скажу, – заметил Монте-Кристо после краткого молчания, – но мне кажется, что если господин Нуартье и лишает наследства мадемуазель де Вильфор, виновную в том, что она хочет выйти замуж за человека, отца которого он ненавидел, то он не может сделать подобного упрека нашему милому Эдуарду.

– Ведь правда, граф? – воскликнула г-жа де Вильфор с непередаваемым выражением. – Правда, это несправедливо, чудовищно несправедливо? Бедный Эдуард такой же внук господина Нуартье, как и Валентина, а между тем, если бы она не выходила замуж за Франца д'Эпине, Нуартье оставил бы ей все свое состояние. Наконец, Эдуард – носитель родового имени, и все же Валентина, даже если дед лишит ее наследства, окажется втрое богаче, чем он.

Монте-Кристо не произносил ни слова и только внимательно слушал.

– Знаете, граф, – сказал Вильфор, – не будем больше говорить об этих семейных неурядицах. Да, правда, мое состояние пойдет на увеличение доходов бедных, а в наше время они-то и являются настоящими богачами. Да, мой отец лишил меня законных надежд, и притом без всякой моей вины; но я поступлю, как человек здравомыслящий, как человек благородный. Я обещал господину д'Эпине доходы с этого капитала – и он их получит, даже если мне ради этого придется пойти на самые тяжкие лишения.

– А все-таки, – возразила г-жа де Вильфор, неотступно возвращаясь к преследовавшей ее мысли, – может быть, лучше посвятить д'Эпине в эту неприятную историю, чтобы он сам возвратил данное ему слово?

– Это было бы большим несчастьем! – воскликнул Вильфор.

– Большим несчастьем? – переспросил Монте-Кристо.

– Разумеется, – сказал несколько спокойнее Вильфор, – расстроившийся, даже из-за денежных недоразумений, брак бросает тень на невесту; кроме того, всякие старые слухи, которым я хотел положить конец, возникнут снова. Но нет, этого не будет. Господин д'Эпине, если он честный человек, сочтет себя еще более связанным тем, что Валентина лишена наследства, иначе вышло бы, что им руководила только алчность; нет, этого не может быть.

– Я думаю так же, – сказал Монте-Кристо, пристально глядя на г-жу Вильфор, – будь я настолько другом господина де Вильфор, чтобы иметь право давать советы, я сказал бы: так как Франц д'Эпине должен, по-видимому, скоро вернуться, надо повести это дело так, чтобы оно уже не могло расстроиться; словом, я бы начал борьбу, которая может окончиться только к чести господина де Вильфор.

Этот последний встал, видимо очень обрадованный; жена его слегка побледнела.

– Отлично, – сказал Вильфор, – именно это я хотел услышать, и я воспользуюсь вашим советом, – добавил он, подавая руку Монте-Кристо. – Итак, прошу всех в этом доме считать, что то, что здесь произошло сегодня, не имеет никакого значения: наши планы остаются неизменными.

– Сударь, – сказал граф, – смею вас уверить, что как бы ни был несправедлив свет, он оценит вашу решимость; ваши друзья будут гордиться вами, а господин д'Эпине, даже если бы ему пришлось взять мадемуазель де Вильфор без всякого приданого, хотя это и не так, будет счастлив вступить в семью, где умеют подняться до такого самопожертвования, чтобы сдержать свое слово и исполнить свой долг.

С этими словами граф встал и собрался уходить.

– Вы нас покидаете, граф? – сказала г-жа де Вильфор.

– Я принужден это сделать, сударыня, я заехал только напомнить вам ваше обещание быть у меня в субботу.

– Неужели вы могли думать, что мы забудем?

– Вы слишком добры, сударыня, господин де Вильфор занят такими важными и подчас неотложными делами...

– Мой муж дал слово, граф – сказала г-жа де Вильфор, – а вы могли убедиться, что он верен ему даже в том случае, когда он многое теряет от этого, здесь же он может быть только в выигрыше.

– Обед состоится в вашем доме на Елисейских Полях? – спросил Вильфор.

– Нет, – отвечал Монте-Кристо, – тем ценнее ваша самоотверженность: это будет за городом.

– За городом?

– Да.

– Где же? В окрестностях Парижа?

– У самых ворот, полчаса езды от заставы: в Отейле.

– В Отейле! – воскликнул Вильфор. – Да, правда, жена говорила мне, что вы живете в Отейле, ей ведь оказали помощь в вашем доме. А в каком месте Отейля?

– На улице Фонтен.

– На улице Фонтен? – продолжал Вильфор сдавленным голосом. – Какой номер?

– Двадцать восемь.

– Так это вам продали дом маркиза де Сен-Меран? – воскликнул Вильфор.

– Маркиза де Сен-Меран? – спросил Монте-Кристо. – Разве этот дом принадлежал маркизу де Сен-Меран?

– Да, – отвечала г-жа де Вильфор, – и можете себе представить, граф, какая странность...

– Что именно?

– Вы согласны, что это прелестный дом, не правда ли?

– Очаровательный.

– А мой муж никогда не соглашался поселиться в нем.

– Право, сударь, – сказал Монте-Кристо, – это предубеждение, которого я не могу понять.

– Я не люблю Отейля, – с усилием ответил королевский прокурор.

– Но, надеюсь, я не буду столь несчастлив, – с беспокойством сказал Монте-Кристо, – чтобы эта антипатия лишила меня удовольствия видеть вас у себя.

– Нет, граф... я надеюсь... поверьте, я сделаю все возможное, – пробормотал Вильфор.

– Нет, я не принимаю никаких отговорок, – отвечал Монте-Кристо. – В субботу, в шесть часов, я жду вас, и если вы не приедете, то, знаете, я могу подумать... что с этим домом, уже двадцать лет необитаемым, связано нечто зловещее, какая-нибудь кровавая легенда.

– Я приеду, граф, приеду, – поспешно заявил Вильфор.

– Благодарю вас, – сказал Монте-Кристо. – А теперь разрешите откланяться.

– В самом деле, граф, вы сказали, что принуждены покинуть нас, – сказала г-жа де Вильфор, – и даже как будто собирались сказать, почему именно, но как раз заговорили о другом.

– Право, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – я боюсь сознаться вам, куда я еду.

– Все равно, скажите.

– Я, как настоящий ротозей, собираюсь поехать посмотреть на одну вещь, о которой я нередко мечтал целыми часами.

– Что же это такое?

– Телеграф.

– Телеграф? – повторила г-жа де Вильфор.

– Да, телеграф. Мне иногда приходилось, в яркий день, видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки, похожие на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением. Я думал о том, что эти странные знаки, так четко рассекающие воздух и передающие за триста лье неведомую волю человека, сидящего за столом, другому человеку, сидящему в конце линии за другим столом, вырисовываются на серых тучах или голубом небе только силою желаний этого всемогущего властелина; и я думал о духах, сильфах, гномах – словом, о тайных силах, – и смеялся. Но у меня никогда не являлось желания поближе рассмотреть этих огромных насекомых с белым брюшком и тощими черными лапами, потому что я боялся найти под их каменными крыльями маленькое человеческое существо, очень важное, очень педантичное, напичканное науками, каббалистикой или колдовством. Но в одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год тысячу двести франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не

воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляка, а такое же насекомое с белым брюшком и черными лапами, своего корреспондента, находящегося за четыре или пять лье от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой.

– И вы едете туда?

– Я еду туда.

– На какой телеграф? Министерства внутренних дел или Обсерватории?

– Ни в коем случае; там я встречу людей, которые пожелают растолковать мне то, чего я не хочу знать, и станут насильно объяснять мне тайну, которой сами не понимают. Черт возьми, я хочу сохранить свои иллюзии относительно насекомых; достаточно того, что я утратил иллюзии относительно людей. Так что я не поеду ни на телеграф министерства внутренних дел, ни на телеграф Обсерватории. Мне нужен телеграф на вольном воздухе, чтобы увидеть без прикрас бедного малого, окаменевшего в своей башенке.

– Хотя вы и знатный вельможа, но очень странный человек, – сказал Вильфор.

– Какую линию вы посоветуете мне осмотреть?

– Ту, где сейчас идет самая усиленная работа.

– Отлично. Значит, испанскую?

– Конечно. Хотите письмо от министра, чтобы вам объяснили...

– Нет, нет, – сказал Монте-Кристо, – наоборот, я же говорю, что ничего не хочу понимать. С той минуты, как я что-нибудь пойму, телеграф перестанет существовать для меня и останется только знак, посланный господином Дюшателем или господином де Монталиве и переданный байоннскому префекту в виде двух греческих слов. А я хочу оставить во всей их чистоте насекомое с черными лапами и страшное слово и сохранить все мое к ним почтение.

– Так поезжайте, потому что через два часа совсем стемнеет, и вы ничего не увидите.

– Вы меня пугаете! Который из них всего ближе?

– На дороге в Байонну?

– Да, хотя бы на дороге в Байонну.

– Шатильонский.

– А после Шатильонского?

Кажется, на башне Мольери.

Благодарю вас, до свидания! В субботу я скажу вам о своих впечатлениях.

В дверях граф столкнулся с нотариусами, которые только что лишили Валентину наследства и уходили, очень довольные тем, что составили акт, делающий им немалую честь.

IV. Способ избавить садовода от сонь, поедающих его персики

Не в тот же вечер, как он говорил, а на следующее утро граф Монте-Кристо выехал через заставу Анфер, направился по Орлеанской дороге, миновал деревню Лина, не останавливаясь около телеграфа, который, как раз в то время, когда граф проезжал мимо, двигал своими длинными, тощими руками, и доехал до башни Монлери, расположенной, как всем известно, на самой возвышенной точке одноименной долины.

У подножия холма граф вышел из экипажа и по узенькой круговой тропинке, шириной в полтора фута, начал подниматься в гору; дойдя до вершины, он оказался перед изгородью, на которой уже зеленели плоды, сменившие розовые и белые цветы.

Монте-Кристо принялся искать калитку и не замедлил ее найти. Это была деревянная решетка, привешенная на ивовых петлях и запирающаяся посредством гвоздя и веревки. Граф тотчас же освоился с этим механизмом, и калитка отворилась.

Граф очутился в маленьком садике в двадцать шагов длиной и двенадцать шириной; с одной стороны он был окаймлен той частью изгороди, в которой было устроено остроумное приспособление, описанное нами под названием калитки, а с другой примыкал к старой башне, обвитой плющом и усеянной желтыми левкоями и гвоздиками.

Никто бы не сказал, что эта башня, вся в морщинах и цветах, словно бабушка, которую пришли поздравить внуки, могла бы поведать немало ужасных драм, если бы У нее нашелся и голос в придачу к тем грозным ушам, которые старая пословица приписывает стенам.

Через садик можно было пройти по дорожке, посыпанной красным песком и окаймленной бордюром и многолетнею толстою букса, чьи оттенки привели он в восхищение взор Делакура, нашего современного Рубенса. Дорожка эта имела вид восьмерки и заворачивала, переплетаясь, так что на пространстве двадцати шагов можно было сделать прогулку в целых шестьдесят.

Никогда еще Флоре, веселой и юной богине добрых латинских садовников, не служили так старательно и так чистосердечно, как в этом маленьком садике.

В самом деле, на двадцати розовых кустах, составлявших цветник, не было ни одного листочка со следами мушки, ни одной жилки, обезображенной зеленой тлей, которая опустошает и пожирает растения на сырой почве. А между тем в саду было достаточно сыро; об этом говорили черная, как сажа, земля и густая листва деревьев. Впрочем, естественную влажность быстро заменила бы искусственная, благодаря врытой в углу сада бочке со стоячей водой, где на зеленой ряске неизменно пребывали лягушка и жаба, которые, вероятно, из-за несоответствия характеров, постоянно сидели друг к другу спиной на противоположных сторонах круга.

При всем том на дорожках не было ни травинки, на клумбах ни одного сорного побега; ни одна модница не холит и не подрезает так тщательно герани, кактусы и рододендроны в своей фарфоровой жардиньерке, как это делал хозяин садика, пока еще незримый.

Закрыв за собой калитку и зацепив веревку за гвоздь, Монте-Кристо остановился и окинул взглядом все это владение.

– По-видимому, – сказал он, – телеграфист держит садовников или сам страстный садовод.

Вдруг он наткнулся на что-то, притаившееся за тачкой, наполненной листьями; это что-то с удивленным восклицанием выпрямилось, и Монте-Кристо очутился лицом к лицу с человечком лет пятидесяти; человечек был занят собиранием земляники, которую он раскладывал на виноградных листьях.

У него было двенадцать виноградных листьев и почти столько же ягод земляники.

Поднимаясь, старичок едва не уронил ягоды, листья и тарелку.

– Собираете урожай? – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Простите, сударь, – ответил старичок, поднося руку к фуражке, – я, правда, не наверху, но я только что сошел оттуда.

– Не беспокойтесь из-за меня, мой друг, – сказал граф, – собирайте ваши ягоды, если это еще не все.

– Осталось еще десять, – сказал старичок, – видите, вот одиннадцать, а у меня их двадцать одна, на пять больше, чем в прошлом году. И не удивительно, весна в этом году стояла теплая, а землянике, сударь, если что нужно, так это солнце. Вот почему вместо шестнадцати, которые были в прошлом году, у меня теперь, как видите, одиннадцать уже сорванных, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... Боже мой, двух не хватает! Они еще вчера были, сударь, они были здесь, я в этом уверен, я их пересчитал. Это, наверное, сынишка тетки Симон напроказничал; я видел, как он шнырял здесь сегодня утром! Маленький негодяй, красть в саду! Видно, он не знает, чем это может кончиться!

– Да, это не шутка, – сказал Монте-Кристо. – Но надо принять во внимание молодость преступника и его желание полакомиться.

– Разумеется, – отвечал садовод, – но от этого не легче. Однако еще раз прошу вас извинить меня, сударь; может быть, я заставляю ждать начальника?

И он боязливо разглядывал графа и его синий фрак.

– Успокойтесь, мой друг, – сказал граф, со своей улыбкой, которая, по его желанию, могла быть такой страшной и такой доброжелательной и которая на этот раз выражала одну только доброжелательность, – я совсем не начальник, явившийся вас ревизовать, а просто путешественник; меня привлекло сюда любопытство, и я начинаю даже сожалеть о своем приходе, так как вижу, что отнимаю у вас время.

– Мое время недорого стоит, – возразил, грустно улыбаясь, старичок. – Правда, оно казенное, и мне не следовало бы его расточать; но мне дали знать, что я могу отдохнуть час (он взглянул на солнечные часы, ибо в садике при монлерийской башне имелось все что угодно, даже солнечные часы), видите, у меня осталось еще десять минут, а земляника моя поспела, и еще один день... К тому же, сударь, поверите ли, у меня ее поедают сони.

– Вот чего бы я никогда не подумал, – серьезно отвечал Монте-Кристо, – сони – неприятные соседи, раз уж мы не едим их в меду, как это делали римляне.

– Вот как? Римляне их ели? – спросил садовод. – Ели сонь?

– Я читал об этом у Петрония, – ответил граф.

– Неужели? Не думаю, чтобы это было вкусно, хоть и говорят: жирный, как соня. Да и не удивительно, что они жирные, раз они спят весь божий день и просыпаются только для того, чтобы грызть всю ночь. Знаете, в прошлом году у меня было четыре абрикоса; один они

испортили Созрел у меня и гладкокожий персик, единственный, правда, – это большая редкость, – ну так вот, сударь, они у него сожрали бок, повернутый к стене, чудный персик, удивительно вкусный! Я никогда такого не ел.

– Вы его съели? – спросил Монте-Кристо.

– То есть оставшуюся половину, понятно. Это было восхитительно. Да, эти господа умеют выбирать лакомые куски. Совсем как сынишка тетки Симон, он уж, конечно, выбрал не самые плохие ягоды! Но в этом году, – продолжал садовод, – будьте спокойны, такого не случится, хотя бы мне пришлось караулить всю ночь, когда плоды начнут созревать.

Монте-Кристо услышал достаточно. У каждого человека есть своя страсть, грызущая ему сердце, как у каждого плода есть свой червь, страстью телеграфиста было садоводство.

Монте-Кристо начал обрывать виноградные листья, заслонявшие солнце, и этим покори́л сердце садовода.

– Вы пришли посмотреть на телеграф, сударь? – спросил он.

– Да, если, конечно, это не запрещено вашими правилами.

– Отнюдь не запрещено, – отвечал садовод, – ведь в этом нет никакой опасности: никто не знает и не может знать, что мы передаем.

– Мне действительно говорили, – сказал граф, – что вы повторяете сигналы, которых сами не понимаете.

– Разумеется, сударь, и я этим очень доволен, – сказал, смеясь, телеграфист.

– Почему же?

– Потому что таким образом я не несу никакой ответственности. Я машина, и только, и раз я действую, то с меня ничего больше не спрашивают.

«Черт побери, – подумал Монте-Кристо, – неужели я натолкнулся на человека, который ни к чему не стремится? Тогда мне не повезло».

– Сударь, – сказал садовод, бросив взгляд на свои солнечные часы, – мои десять минут подходят к концу, и я должен вернуться на место. Не желаете ли подняться вместе со мной?

– Я следую за вами.

И Монте-Кристо вошел в башню, разделенную на три этажа; в нижнем находились кое-какие земледельческие орудия – заступы, грабли, лейки, стоявшие у стен, – это было его единственное убранство.

Второй этаж представлял обычное или, вернее, ночное жилье служащего; тут находилась скудная домашняя утварь, кровать, стол, два стула, каменный рукомойник да пучки сухих трав, подвешенные к потолку, граф узнал душистый горошек и испанские бобы, чьи зерна старичок сохранял вместе со стручками; все это он, с усердием ученого ботаника, снабдил соответствующими ярлычками.

– Скажите, сударь, много ли времени требуется, чтобы изучить телеграфное дело? – спросил Монте-Кристо.

– Долго тянется не обучение, а сверхштатная служба.

– А сколько вы получаете жалованья?

– Тысячу франков, сударь.

– Маловато.

– Да, но, как видите, дают квартиру.

Монте-Кристо окинул взглядом комнату.

– Не хватает только, чтобы он дорожил своим помещением, – пробормотал он.

Поднялись в третий этаж, – тут и помещался телеграф Монте-Кристо рассмотрел обе железные ручки, с помощью которых чиновник приводил в движение машину.

– Это чрезвычайно интересно, – сказал Монте-Кристо, – но в конце концов такая жизнь должна вам казаться скучноватой.

– Вначале, оттого что все время приглядываешься, сводит шею, но через год-другой привыкаешь, а потом ведь у нас бывают часы отдыха и свободные дни.

– Свободные дни?

– Да.

– Какие же?

– Когда туман.

– Да, верно.

– Это мои праздники; в такие дни я спускаюсь в сад и сажаю, подрезаю, подстригаю, обираю гусениц, в общем, время проходит незаметно.

– Давно вы здесь?

– Десять лет да пять лет сверхштатной службы, так что всего пятнадцать.

– А от роду вам...

– Пятьдесят пять.

– Сколько лет надо прослужить, чтобы получить пенсию?

– Ах, сударь, двадцать пять лет.

– А как велика пенсия?

– Сто экю.

– Бедное человечество! – пробормотал Монте-Кристо.

– Что вы сказали, сударь? – спросил чиновник.

– Я говорю, что все это чрезвычайно интересно.

– Что именно?

– Все, что вы мне показываете... И вы совсем ничего не понимаете в ваших сигналах?

– Совсем ничего.

– И никогда не пытались понять?

– Никогда; зачем мне это?

– Но ведь есть сигналы, относящиеся именно к вам?

– Разумеется.

– Их вы понимаете?

– Они всегда одни и те же.

– И они гласят?..

– «Ничего нового»... «У вас свободный час»... или: «До завтра»...

– Да, это сигналы невинные, – сказал граф. – Но посмотрите, кажется, ваш корреспондент приходит в движение?

– Да, верно; благодарю вас, сударь.

– Что же он вам говорит? Что-нибудь, что вы понимаете?

– Да, он спрашивает, готов ли я.

– И вы отвечаете?..

– Сигналом, который указывает моему корреспонденту справа, что я готов, и в то же время предлагает корреспонденту слева в свою очередь приготовиться.

– Остроумно сделано, – сказал граф.

– Вот вы сейчас увидите, – с гордостью продолжал старичок, – через пять минут он начнет говорить.

– Значит, у меня в распоряжении целых пять минут, – заметил Монте-Кристо, – это больше, чем мне нужно. Дорогой мой, – сказал он, – разрешите задать вам один вопрос?

– Пожалуйста.

– Вы любите садоводство?

– Страстно.

– И вам было бы приятно иметь сад я две десятины место площади в двадцать футов?

– Сударь, я обратил бы его в земной рай.

– Вам плохо живется на тысячу франков?

– Довольно плохо, но как-никак я справляюсь.

– Да, но садик у вас жалкий.

– Вот это верно, садик невелик.

– И к тому же населен сонями, которые все пожирают.

– Да, это мой бич.

– Скажите, что, если бы, на вашу беду, вы отвернулись в ту минуту, когда задвигается ваш корреспондент справа?

– Я бы не видел его сигналов.

– И что случилось бы?

– Я не мог бы их повторить.

– И тогда?

– Тогда меня оштрафовали бы за то, что я по небрежности не повторил их.

– На сколько?

– На сто франков.

- На десятую часть годового жалованья; недурно!
- Что поделаешь! – сказал чиновник.
- Это с вами случилось? – спросил Монте-Кристо.
- Однажды случилось, сударь, когда я делал прививку на кусте желтых роз.
- Ну, а если бы вам вздумалось что-нибудь переменить в сигналах или передать другие?
- Тогда другое дело; тогда меня сместили бы и я лишился бы пенсии.
- В триста франков?
- Да, сударь, в сто экую; так что, вы понимаете, я никогда не сделаю ничего подобного.
- Даже за сумму, равную вашему пятнадцатилетнему жалованью? Ведь об этом стоит подумать, как вы находите?
- За пятнадцать тысяч франков?
- Да.
- Сударь, вы меня пугаете.
- Ну, вот еще!
- Сударь, вы хотите соблазнить меня?
- Вот именно. Понимаете, пятнадцать тысяч франков!
- Сударь, позвольте мне лучше смотреть на моего корреспондента справа.
- Напротив, не смотрите на него, а посмотрите на это.
- Что это?
- Как? Вы не знаете этих бумажек?
- Кредитные билеты!
- Самые настоящие; и их здесь пятнадцать.
- А чьи они?
- Ваши, если вы пожелаете.
- Мои! – воскликнул, задыхаясь, чиновник.
- Ну да, ваши, в полную собственность.
- Сударь, мой корреспондент справа задвигался.
- Ну, и пусть себе.
- Сударь, вы отвлекли меня, и меня оштрафуют.
- Это вам обойдется в сто франков; вы видите, что в ваших интересах взять эти пятнадцать тысяч франков.
- Сударь, мой корреспондент справа теряет терпение, он повторяет свои сигналы.
- Не обращайтесь на него внимания и берите.
- Граф сунул пачку в руку чиновника.
- Но это еще не все, – сказал он. – Вы не сможете жить на пятнадцать тысяч франков.
- За мной остается еще мое место.
- Нет, вы его потеряете; потому что сейчас вы дадите не тот сигнал, который вам дал ваш корреспондент.
- О, сударь, что вы мне предлагаете?
- Детскую шалость.
- Сударь, если меня к этому не принудят...
- Я именно и собираюсь вас принудить.
- И Монте-Кристо достал из кармана вторую пачку.
- Тут еще десять тысяч франков, – сказал он, – с теми пятнадцатью, которые у вас в кармане, это составит двадцать пять тысяч. За пять тысяч вы приобретете хорошенький домик и две десятины земли; остальные двадцать тысяч дадут вам тысячу франков годового дохода.
- Сад в две десятины!
- И тысяча франков дохода.
- Боже мой, боже мой!
- Да берите же!
- И Монте-Кристо насильно вложил в руку чиновника эти десять тысяч франков.
- Что я должен сделать?
- Ничего особенного.
- Но все-таки?
- Повторите вот эти сигналы.

Монте-Кристо достал из кармана бумагу, на которой были изображены три сигнала и номера, указывавшие порядок, в котором их требовалось передать.

– Как видите, это не займет много времени.

– Да, но...

– Уж теперь у вас будут гладкокожие персики и всё что угодно.

Удар попал в цель: красный от возбуждения и весь в поту, старичок проделал один за другим все три сигнала, данные ему графом, несмотря на отчаянные призывы корреспондента справа, который, ничего не понимая в происходящем, начинал думать, что любитель персиков сошел с ума.

Что касается корреспондента слева, то тот добросовестно повторил его сигналы, которые в конце концов были приняты министерством внутренних дел.

– Теперь вы богаты, – сказал Монте-Кристо.

– Да, – сказал чиновник, – но какой ценой?

– Послушайте, друг мой, – сказал Монте-Кристо, – я не хочу, чтобы вас мучила совесть: поверьте, клянусь вам, вы никому не сделали вреда и только содействовали божьему промыслу.

Чиновник разглядывал кредитные билеты, ощупывал их, считал; он то бледнел, то краснел; наконец, он побежал в свою комнату, чтобы выпить стакан воды, но, не успев добежать до рукомойника, потерял сознание среди своих сухих бобов.

Через пять минут после того, как телеграфное сообщение достигло министерства внутренних дел, Дебрэ приказал запрячь лошадей в карету и помчался к Дангларам.

– У вашего мужа есть облигации испанского займа? – спросил он у баронессы.

– Еще бы! Миллионов на шесть.

– Пусть он продает их по любой цене.

– Это почему?

– Потому что Дон Карлос бежал из Буржа и вернулся в Испанию.

– Откуда вам это известно?

– Да оттуда, – сказал, пожимая плечами, Дебрэ, – откуда мне все известно.

Баронесса не заставила себя упрашивать, она бросилась к мужу; тот бросился к своему маклеру и велел ему продавать по какой бы то ни было цене.

Когда увидели, что Данглар продает, испанские бумаги тотчас упали. Данглар потерял на этом пятьсот тысяч франков, но избавился от всех своих облигаций.

Вечером в «Вестнике» было напечатано:

«Телеграфное сообщение.

Король Дон Карлос, несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону».

Весь вечер только и было разговоров, что о предусмотрительности Данглара, успевшего продать свои облигации, об удаче этого биржевика, потерявшего всего лишь пятьсот тысяч франков в такой катастрофе.

А те, кто сохранил свои облигации или купил бумаги Данглара, считали себя разоренными и провели прескверную ночь.

На следующий день в «Официальной газете» было напечатано:

«Вчерашнее сообщение «Вестника» о бегстве Дон Карлоса и о восстании в Барселоне ни на чем не основано.

Король Дон Карлос не покидал Буржа, и на полуострове царит полное спокойствие.

Поводом к этой ошибке послужил телеграфный сигнал, неверно понятый вследствие тумана».

Облигации поднялись вдвое против той цифры, на которую упали. В общей сложности, считая убыток и упущение возможной прибыли, это составило для Данглара потерю в миллион.

– Однако! – сказал Монте-Кристо Моррелю, находившемуся у него в то время, когда пришло известие о странном повороте на бирже, жертвой которого оказался Данглар. – За двадцать пять тысяч франков я сделал открытие, за которое охотно заплатил бы сто тысяч.

– В чем же заключается ваше открытие? – спросил Максимилиан.

– Я нашел способ избавить одного садовода от сонь, которые поедали его персики.

V. Призраки

По внешнему виду в отейльском доме не было никакой роскоши, ничего такого, чего можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великопному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина: он строго распорядился ничего не менять снаружи; чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась.

Убранством комнат и той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог Антенский приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Людовика XIV, так Бертуччо в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым, на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась лужайка, устланная дерном; пласты его, положенные не далее как утром, образовали широкий ковер; на нем еще блестели после поливки капли воды.

Впрочем, все распоряжения исходили от графа; он сам передал Бертуччо план, где были указаны количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форма лужайки, которая должна была заменить булыжник.

В таком виде дом стал неузнаваем, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме.

Управляющий не прочь был бы кстати изменить коечто и в саду, но граф строго запретил что бы то ни было там трогать. Бертуччо вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камин.

Поистине управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин – чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже двадцать лет никем не обитаемый, еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом, который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик, наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которое он предпочитал; едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами – любимые картины, в прихожих – преданных ему собак и любимых певчих птиц; весь этот дом, проснувшийся от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал, подобно тем жилищам, которые давно нам милы и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души.

По двору весело сновали слуги: одни – занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме; другие – приставленные к сараям, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади, жуя овес, отвечали ржаньем своим конюхам, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами.

Библиотека помещалась в двух шкафах, вдоль двух стен, и содержала около двух тысяч томов; целое отделение было предназначено для новейших романов, – и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете.

По другую сторону дома, против библиотеки, была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах; посередине оранжереи, чарующей глаз и обоняние, стоял бильярд, словно час тому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне.

Только одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она была расположена в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потайной; мимо этой комнаты слуги проходили с любопытством, а Бертуччо с ужасом.

Ровно в пять часов граф, в сопровождении Али, подъехал к отейльскому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением; он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови.

Монте-Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства.

Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце, противоположном запертой комнате, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение.

– Он годится только для перчаток, – заметил он.

– Совершенно верно, ваше сиятельство, – ответил восхищенный Бертуччо, – откройте его: в нем перчатки.

В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти: флаконы с духами, сигары, драгоценности.

– Хорошо! – сказал он наконец.

И Бертуччо удалился, ошарашенный до глубины души, настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружающее.

Ровно в шесть часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на Медеа наш капитан спаги.

Монте-Кристо, приветливо улыбаясь, ждал его в дверях.

– Я уверен, что я первый, – крикнул ему Моррель, – я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минуту вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эмманюэль просили меня передать вам тысячу приветствий. А знаете, у вас здесь великолепно! Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадейю?

– Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан, они знают свое дело.

– Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Если бы вы видели, как она неслась! Настоящий вихрь!

– Еще бы, я думаю, лошадь, стоящая пять тысяч франков! – сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном.

– Вы о них жалеете? – спросил Моррель со своей открытой улыбкой.

– Я? Боже меня упаси! – ответил граф. – Нет. Мне было бы жаль только, если бы лошадь оказалась плоха.

– Она так хороша, дорогой граф, что Шато-Рено, первый знаток во Франции, и Дебрэ, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают, а за ними мчатся по пятам лошади баронессы Данглар, которые делают не более не менее как шесть лье в час.

– Так, значит, они сейчас будут здесь? – спросил Монте-Кристо.

– Да. Да вот и они.

И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда, в сопровождении обоих всадников.

Дебрэ мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение, не замеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться; он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и самый жест, и с легкостью, говорившей о привычке, перешла из руки г-жи Данглар в руку секретаря министра.

Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы.

Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, г-жа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома; затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Моррелю:

– Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь.

Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения.

Граф понял его.

– Ах, сударыня, – сказал он, – почему не ко мне относится ваш вопрос?

– Когда имеешь дело с вами, граф, – отвечала баронесса, – чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда наверно это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю.

– К сожалению, – сказал граф, – я могу удостоверить, что господин Моррель не может уступить свою лошадь: оставить ее у себя – для него вопрос чести.

– Как так?

– Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан спаги, даже ради прихоти хорошенькой женщины, – хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святых в нашем мире, – не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи.

– Вы видите, баронесса, – сказал Моррель, с благодарностью улыбаясь графу.

– Притом же, мне кажется, – сказал Данглар, с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, – у вас и так достаточно лошадей.

Было не в обычае г-жи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к нема- лому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила.

Монте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непри- вычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора, на них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что, казалось, только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитроумно сплетенными.

Баронесса была в восхищении.

– Да в них можно посадить каштановое дерево из Тюильри! – сказала она. – Как только ухитрились обжечь эти громадины?

– Сударыня, – сказал Монте-Кристо, – разве можем ответить на это мы, умеющие мастерить статуэтки и стекло тоньше кисеи? Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря.

– Вот как? И к какой примерно эпохе они относятся?

– Этого я не знаю; я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь; в этой печи обожгли, одну за другой, двенадцать таких ваз. Две из них лопнули в огне; десять остальных спустили в море на глубину трехсот саженей. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины; на невероятной глубине все это спаяли вместе два столетия, потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, и после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через двести лет нашли эту запись и решили извлечь вазы. Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили; но из десяти ваз нашли только три; остальные были смыты и разбиты волнами. Я люблю эти вазы; я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственные, наводящие ужас, бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб укрывались в них от преследования врагов.

Между тем Данглар, равнодушный к редкостям, машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева; покончив с померанцевым деревом, он перешел к кактусу, но кактус, не столь покладистый, жестоко уколол его.

Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно просыпаясь от сна.

– Барон, – сказал ему, улыбаясь, Монте-Кристо, – вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины. Но все же вот два Гоббемы, Пауль Поттер, Мирис, два Герарда Доу, Рафаэль, Ван-Дейк, Сурбаран и два-три Мурильо, которые достойны быть вам представлены.

– Позвольте! – сказал Дебрэ. – Вот этого Гоббему я узнаю.

– В самом деле?

– Да, его предлагали Музею.

– Там, кажется, нет ни одного Гоббемы? – вставил Монте-Кристо.

– Нет, и, несмотря на это, Музей отказался его приобрести.

– Почему же? – спросил Шато-Рено.

– Ваша наивность очаровательна; да потому, что у правительства нет для этого средств.

– Прошу прощенья! – сказал Шато-Рено. – Я вот уже восемь лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть.

– Со временем привыкнете, – сказал Дебрэ.

– Не думаю, – ответил Шато-Рено.

– Майор Бартоломео Кавальканти, виконт Андреа Кавальканти! – доложил Батистен.

В высоком черном атласном галстуке только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом, в майорском мундире, украшенном тремя звездами и пятью крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата, – таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец.

Рядом с ним шел, одетый с иголочки, с улыбкой на губах, виконт Андреа Кавальканти, точно так же знакомый нам почтительный сын.

Моррель, Дебрэ и Шато-Рено разговаривали между собой: они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его.

– Кавальканти! – проговорил Дебрэ.

– Звучное имя, черт побери! – сказал Моррель.

– Да, – сказал Шато-Рено, – это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо.

– Вы придираетесь, Шато-Рено, – возразил Дебрэ, – его костюм отлично сшит и совсем новый.

– Именно это мне и не нравится. У этого господина такой вид, будто он сегодня в первый раз оделся.

– Кто такие эти господа? – спросил Данглар у Монте-Кристо.

– Вы же слышали: Кавальканти.

– Это только имя, оно ничего мне не говорит.

– Да, вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати; сказать «Кавальканти», значит сказать – вельможа.

– Крупное состояние? – спросил банкир.

– Сказочное.

– Что они делают?

– Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк, они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представляю.

– Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски, – сказал Данглар.

– Сын воспитывался в каком-то коллеже на юге Франции, в Марселе или его окрестностях как будто. Сейчас он в совершенном восторге.

– От чего? – спросила баронесса.

– От французенок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке.

– Нечего сказать, остроумно придумал! – заявил Данглар, пожимая плечами.

Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но и на этот раз она смолчала.

– Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении, – сказал Монте-Кристо г-же Данглар, – уж не хотят ли его сделать министром?

– Пока пет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл, и теперь не знает, на ком сорвать досаду.

– Господин и госпожа де Вильфор! – возгласил Батистен.

Королевский прокурор с супругой вошли в комнату.

Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая его руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит.

«Положительно, только женщины умеют притворяться», – сказал себе Монте-Кристо, глядя на г-жу Данглар, которая улыбалась королевскому прокурору и целовалась с его женой.

После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, смежную с той, в которой находилось общество.

Он вышел к нему.

– Что вам нужно, Бертуччо? – спросил он.

– Ваше сиятельство не сказали мне, сколько будет гостей.

– Да, верно.

– Сколько приборов?

– Сосчитайте сами.

– Все уже в сборе, ваше сиятельство?

– Да.

Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь.

Монте-Кристо впился в него глазами.

– О боже! – воскликнул Бертуччо.

– В чем дело? – спросил граф.

– Эта женщина!.. Эта женщина!..

– Которая?

– Та, в белом платье и вся в бриллиантах... блондинка!..

– Госпожа Данглар?

– Я не знаю, как ее зовут. Но это она, сударь, это она!

– Кто «она»?

– Женщина из сада! Та, что была беременна! Та, что гуляла, поджидая... поджидая...

Бертуччо замолк, с раскрытым ртом, весь бледный; волосы у него стали дыбом.

– Поджидая кого?

Бертуччо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывает на Банке.

– О боже, – прошептал он наконец. – Вы видите?

– Что? Кого?

– Его!

– Его? Господина королевского прокурора де Вильфор? Разумеется, я его вижу.

– Так, значит, я его не убил!

– Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума, – сказал граф.

– Так, значит, он не умер!

– Да нет же! Он не умер, вы сами видите; вместо того чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это принято у – ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше; а эти судейские – народ живучий. Или, вернее, во всем, что вы мне рассказали, не было ни слова правды – это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар, – вот и все. Ну, придите в себя и сосчитайте: господин и госпожа де Вильфор – двое; господин и госпожа Данглар – четверо; Шато-Рено, Дебрэ, Моррель – семеро; майор Бартоломео Кавальканти – восемь.

– Восемь, – повторил Бертуччо.

– Да по стойте же! По стойте! Куда вы так торопитесь, черт возьми! Вы пропустили еще одного гостя. Посмотрите немного левей... вот там... господин Андреа Кавальканти, молодой человек в черном фраке, который рассматривает мадонну Мурильо; вот он обернулся.

На этот раз Бертуччо едва не закричал, но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах.

– Бенедетто! – прошептал он едва слышно. – Это судьба!

– Бьет половина седьмого, господин Бертуччо, – строго сказал граф, – я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать.

И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держась за стены, направился к столовой. Через пять минут распахнулись обе двери гостиной. Появился Бертуччо и, делая над собой, подобно Вателю¹¹ в Шантильи, последнее героическое усилие, объявил:

– Кушать подано, ваше сиятельство!

Монте-Кристо подал руку г-же де Вильфор.

– Господин де Вильфор, – сказал он, – будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас.

Вильфор повинился, и все перешли в столовую.

VI. Обед

Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковое чувство. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме, – и все же, как ни были некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть.

А между тем непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому неведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины преступили законы осмотрительности, а женщины – правила приличия: неодолимое любопытство, их подстрекавшее, превозмогло все.

Даже оба Кавальканти – отец, несмотря на свою чопорность, сын, несмотря на свою развязность, – казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были им непонятны, с другими людьми, которых они видели впервые.

¹¹ Главный повар принца Конде, который заколол себя шпагой, увидав, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

Госпожа Данглар невольно вздрогнула, увидав, что Вильфор, по просьбе Монте-Кристо, предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронессы оперлась на его руку.

Ни один признак волнения не ускользнул от графа; одно лишь соприкосновение всех этих людей уже представляло для наблюдателя огромный интерес.

По правую руку Вильфора села г-жа Данглар, а по левую – Моррель.

Граф сидел между г-жой де Вильфор и Дангларом.

Остальные места были заняты Дебрэ, сидевшим между отцом и сыном Кавальканти, и Шато-Рено, сидевшим между г-жой де Вильфор и Моррелем.

Обед был великолепен; Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить еще более любопытство гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, какими могли быть только пиры арабских волшебниц.

Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европейский рог изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении, исполинские рыбы, простертые на серебряных блюдах, все вина Архипелага, Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее, друг за другом, словно на пиру, какие предлагал Апиций своим сотрапезникам, прошли перед Гастроном времен Августа и Тиверия, взорами этих парижан, считавших, что обед на десять человек, конечно, может обойтись в тысячу луидоров, но только при условии, если, подобно Клеопатре, глотать жемчужины или же, подобно Лоренцо Медичи, пить расплавленное золото.

Монте-Кристо видел общее изумление; он засмеялся и стал шутить над самим собой.

– Господа, – сказал он, – должны же вы согласиться, что на известной степени благосостояния только излишество является необходимостью, точно так же, как – дамы, конечно, согласятся, – на известной степени экзальтации реален только идеал? Продолжим эту мысль. Что такое чудо? То, чего мы не понимаем. Что всего желаннее? То, что недостижимо. Итак, видеть непостижимое, добывать недостижимое – вот чему я посвятил свою жизнь. Я достигаю этого двумя способами: деньгами и волей. Чтобы осуществить свою прихоть, я проявляю такую же настойчивость, как, например, вы, господин Данглар, – прокладывая железнодорожную линию; вы, господин де Вильфор, – добываясь для человека смертного приговора; вы, господин Дебрэ, – умиротворяя какое-нибудь государство; вы, господин Шато-Рено, – стараясь понравиться женщине; и вы, Моррель, – укрощая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб: одна родилась в пятидесяти лье от Санкт-Петербурга, а другая – в пяти лье от Неаполя; разве не забавно соединить их на одном столе?

– Что же это за рыбы? – спросил Данглар.

– Вот Шато-Рено жил в России, он скажет вам, как называется одна из них, – отвечал Монте-Кристо, – а майор Кавальканти, итальянец, назовет другую.

– Это, – сказал Шато-Рено, – по-моему, стерлядь.

– Совершенно верно.

– А это, – сказал Кавальканти, – если не ошибаюсь, минога.

– Вот именно. А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы.

– Стерляди ловятся только в Волге, – ответил Шато-Рено.

– Я не слышал, – сказал Кавальканти, – чтобы где-нибудь, кроме озера Фузаро, водились миноги таких размеров.

– Так оно и есть; одна прибыла с Волги, а другая с озера Фузаро.

– Не может быть! – воскликнули все гости в один голос.

– Вот это и доставляет мне удовольствие, – сказал Монте-Кристо. – Я, как Нерон, – *cupitor impossibilium*¹²; ведь вы тоже испытываете удовольствие; эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными, – и все потому, что вам казалось невозможным их достать, а между тем – вот они.

– Но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж?

– Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая – тростником и озерными растениями; их поместили в специально устроенные фургоны; стерлядь прожила так двенадцать дней, а минога восемь, и обе

¹² Искатель невозможного (лат.).

они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одну в молоке, а другую в вине. Вы не верите, Данглар?

– Во всяком случае позволяю себе сомневаться, – отвечал Данглар со своей натянутой улыбкой.

– Батистен, – сказал Монте-Кристо, – велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу, знаете, те, что прибыли в других бочках и еще живы.

Данглар вытаращил глаза; все общество зааплодировало.

Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями; в каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу.

– Но зачем же по две каждого сорта? – спросил Данглар.

– Потому что одна из них могла заснуть, – просто ответил Монте-Кристо.

– Вы в самом деле изумительный человек! – сказал Данглар. – Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым.

– А главное – изобретательным, – добавила г-жа Данглар.

– Это изобретение не мое, баронесса; оно было в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим, при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет *mulus*; судя по его описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно; засыпая, она несколько раз меняла свой цвет и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой.

– Да, – сказал Дебрэ, – но от Остии до Рима не больше восьми лье.

– Это верно, – отвечал Монте-Кристо, – по разве заслуга родиться через тысячу восемьсот лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти?

Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали.

– Это все очень интересно, – сказал Шато-Рено, – но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего пять или шесть дней тому назад?

– Да, не больше, – сказал Монте-Кристо.

– И я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился; ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой, а сейчас это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид сто лет.

– Что поделаешь, я люблю зелень и тень, – сказал Монте-Кристо.

– В самом деле, – сказала г-жа де Вильфор, – прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы.

– Да, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес.

– В четыре дня, – сказал Моррель. – Это чудо!

– Действительно, – сказал Шато-Рено, – сделать из старого дома совершенно новый – это похоже на чудо. Это был очень старый дом, и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать, года два или три тому назад.

– Маркиз де Сен-Меран? – сказала г-жа де Вильфор. – Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Меран?

– По-видимому, да, – ответил Монте-Кристо.

– Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом?

– Признаться, нет; всеми этими подробностями занимается мой управляющий.

– Правда, он уже лет десять был необитаем, – сказал Шато-Рено. – Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и заросший травой двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление.

Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его.

Монте-Кристо минуту молчал; затем, среди безмолвия, последовавшего за словами Шато-Рено, он сказал:

– Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз: этот дом показался мне зловещим, и я ни за что не купил бы его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса.

– Весьма возможно, – пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться, – но, поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого его внучки, был продан, потому что, если бы он еще три-четыре года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы.

На этот раз побледнел Моррель.

– Особенно одна комната, – продолжал Монте-Кристо, – на вид самая обыкновенная, комната как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне донельзя трагической.

– Почему это? – спросил Дебрэ. – Почему трагической?

– Разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? – сказал Монте-Кристо. – Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему? – не знаешь сам; благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти мысли, переносящей нас в другие времена, в другие места, быть может не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся... И эта комната удивительно напомнила мне комнату маркизы де Ганж¹³ или Дездемоны. Но мы кончили обедать, – если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе: после обеда – зрелище.

Монте-Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей; г-жа де Вильфор встала, Монте-Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру.

Вильфор и г-жа Данглар остались минуту сидеть, словно прикованные к месту; они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса.

– Вы слышали? – сказала г-жа Данглар.

– Надо идти, – ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку.

Гости, подстрекаемые любопытством, уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец. Поэтому все поспешили в открытые настежь двери. Монте-Кристо подождал двух оставших; потом, когда они в свою очередь вышли из столовой, он замкнул шествие, улыбаясь так, что, если бы гости поняли значение его улыбки, она привела бы их в гораздо больший ужас, чем та комната, куда они шли.

Действительно, начали с осмотра всего помещения: жилых комнат, убранных по-восточному, где диваны и подушки заменяли кровати, а трубки и оружие – мебелировку; гостиных, увешанных лучшими картинами старых мастеров; будуаров, обитых китайскими тканями изумительной работы, прихотливых оттенков и фантастических рисунков; наконец, достигли пресловутой комнаты.

В ней не было ничего особенного, если не считать того, что, несмотря на сумерки, она не была освещена и что все в ней было ветхое, тогда как остальные комнаты были заново отделаны.

– Да, здесь в самом деле жутко! – воскликнула г-жа де Вильфор.

Госпожа Данглар пыталась что-то пробормотать, но ее слов никто не расслышал.

Гости обменялись кое-какими замечаниями, сводившимися к тому, что в красной комнате действительно есть что-то зловещее.

– Не правда ли? – сказал Монте-Кристо. – Взгляните только, как странно стоит эта кровать, какие мрачные, кровавые обои! А эти два портрета пастелью, потускневшие от сырости! Разве вам не кажется, что их бескровные губы и испуганные глаза говорят: «Мы видели!»

Вильфор стал мертвенно бледен, г-жа Данглар в изнеможении опустила на кушетку возле камина.

– Эрмина, – сказала, улыбаясь, г-жа де Вильфор, – как это у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, быть может, и совершилось преступление?

Госпожа Данглар поспешно поднялась.

– И это не все, – сказал Монте-Кристо.

– А что же еще? – спросил Дебрэ, от которого не ускользнуло волнение г-жи Данглар.

¹³ Маркиза де Ганж, бесчеловечно убитая в 1667 году братьями своего мужа, кавалером и аббатом де Ганж.

– Да, что еще? – спросил Данглар. – Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного; а вы, господин Кавальканти?

– Ну, – сказал тот, – у нас в Пизе имеется башня Уголино, в Ферраре – темница Тассо, а в Римини – комната Франчески и Паоло.

– Да, но у вас нет этой лесенки, – сказал Монте-Кристо, открывая дверь, скрытую в обоях, – взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете.

– Какая зловещая винтовая лестница! – сказал, смеясь, Шато-Рено.

– В самом деле, – сказал Дебрэ, – не знаю, может быть, это хиосское вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли.

Что касается Морреля, то с той минуты, как упомянули о приданом Валентины, он был грустен и не произнес ни слова.

– Представьте себе, – сказал Монте-Кристо, – какогонибудь Отелло или аббата де Ганж, в темную, бурную ночь спускающегося шаг за шагом по этой лестнице, с какой-нибудь зловещей ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от божьего ока?

Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене.

– Что с вами, баронесса? – воскликнул Дебрэ. – Как вы побледнели!

– Очень понятно, что с ней, – сказала г-жа де Вильфор, – граф Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, очевидно желая, чтобы все мы умерли со страху.

– Это верно, – заявил Вильфор. – В самом деле, граф, вы пугаете дам.

– Да что же с вами? – шепотом повторил Дебрэ г-же Данглар.

– Ничего, ничего, – ответила она, делая над собой усилие, – мне просто душно, вот и все.

– Не хотите ли спуститься в сад? – спросил Дебрэ, предлагая г-же Данглар руку и направляясь к потайной лестнице.

– Нет, нет, – сказала она, – уж лучше я останусь здесь.

– Но, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – неужели вы в самом деле испугались?

– Нет, граф, – отвечала госпожа Данглар, – но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью.

– Ну, конечно, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – все это просто игра воображения; ведь почему не представить себе, что эта комната – мирная, честная спальня матери семейства; эта кровать с пурпурным пологом – ложе, очастливленное посещением богини Люпины; а эта таинственная лестница – просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родильницы, спускается врач или кормилица, или сам отец, уносящий заснувшего младенца?..

На сей раз г-жа Данглар, вместо того чтобы успокоиться при виде этой тихой картины, застонала и окончательно лишилась чувств.

– Госпоже Данглар дурно, – запинаясь, сказал Вильфор, – не перенести ли ее в экипаж?

– Бог мой! – воскликнул Монте-Кристо. – А я не захватил своего флакона!

– У меня есть свой, – сказала г-жа де Вильфор.

И она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той, благотворное действие которой граф испытал на Эдуарде.

– Вот как!.. – сказал Монте-Кристо, принимая его из рук г-жи де Вильфор.

– Да, – прошептала она, – я последовала вашим указаниям.

– И удачно?

– Мне кажется, да.

Госпожу Данглар тем временем перенесли в смежную комнату.

Монте-Кристо смочил ее губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя.

– Какой ужасный сон! – промолвила она.

Вильфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что это не был сон.

Стали искать Данглара; но, мало склонный к поэтическим переживаниям, он уже давно сошел в сад и беседовал с Кавальканти-старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией.

Монте-Кристо, казалось, был в отчаянии; он взял г-жу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти.

– Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня? – сказал Монте-Кристо.

– Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения.

Вильфор пытался засмеяться.

– Ив таком случае, вы понимаете, – сказал он, – достаточно простого предположения, самого химерического...

– Хотите верьте, хотите нет, – возразил Монте-Кристо, – но я убежден, что в этом доме совершилось преступление.

– Будьте осторожны, – сказала г-жа де Вильфор, – здесь присутствует королевский прокурор.

– Что ж, – ответил Монте-Кристо, – раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление.

– Заявление? – сказал Вильфор.

– Да, при свидетелях.

– Все это чрезвычайно интересно, – сказал Дебрэ, и если действительно имеется преступление, оно послужит на пользу нашему пищеварению.

– Преступление имеется, – сказал Монте-Кристо. – Прошу вас сюда, господа; прошу вас, господин де Вильфор; чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать при надлежащем представителе власти.

Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в то же время руку г-жи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была всего гуще.

Остальные гости последовали за ними.

– Посмотрите, – сказал Монте-Кристо – вот здесь, на этом самом месте (и он топнул ногой), чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и насыпать чернозему; и вот, мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантазмагория, надеюсь?

Монте-Кристо почувствовал, как напрягся локоть г-жи Данглар и как дрогнула рука Вильфора.

– Новорожденного младенца? – повторил Дебрэ. – Черт возьми! Дело, по-моему, становится серьезным.

– Вот видите! – сказал Шато-Рено. – Значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его потому, что он таил преступление.

– Но почему же именно преступление? – возразил Вильфор, делая над собой последнее усилие.

– Как! Заживо похороненный в саду младенец – это, по-вашему, не преступление? – воскликнул Монте-Кристо. – Какое же вы даете название такому поступку, господин королевский прокурор?

– А откуда известно, что его похоронили заживо?

– Зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем.

– Как у вас во Франции поступают с детоубийцами? – наивно спросил майор Кавальканти.

– Им попросту отрубают голову, – ответил Данглар.

– Ах, отрубают голову! – повторил Кавальканти.

– Кажется, так. Не правда ли, господин де Вильфор? – спросил Монте-Кристо.

– Да, граф, – ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого.

Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену; он не хотел заходить слишком далеко.

– А кофе, господа! – сказал он. – Мы про него совсем забыли.

И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди лужайки.

– Право, граф, – сказала г-жа Данглар, – мне стыдно признаться в такой слабости, но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия; разрешите мне есть, пожалуйста.

И она упала на стул.

Монте-Кристо поклонился ей и подошел к г-же де Вильфор.

– Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе, – сказал он.

Но раньше, чем г-жа де Вильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул г-же Данглар:

– Нам нужно поговорить.
– Когда?
– Завтра.
– Где?
– В моем служебном кабинете... в суде, если вы ничего не имеете против; это, по моему, самое безопасное место.
– Я приду.

В эту минуту подошла г-жа де Вильфор.

– Благодарю вас, мой друг, – сказала г-жа Данглар, пытаясь улыбнуться, – все прошло, и мне гораздо лучше.

VII. Нищий

Становилось поздно; г-жа де Вильфор заговорила о возвращении в Париж, чего не посмела сделать г-жа Данглар, несмотря на свое явное недомогание.

Итак, по просьбе своей жены, Вильфор первый подал знак к отъезду. Он предложил г-же Данглар место в своем ландо, чтобы его жена могла ухаживать за ней. Данглар, погруженный в интереснейший деловой разговор с Кавальканти, не обращал никакого внимания на происходящее.

Прося у г-жи де Вильфор флакон, Монте-Кристо заметил, как Вильфор подошел к г-же Данглар; и, понимая его положение, догадался о том, что он ей сказал, хотя тот говорил так тихо, что сама г-жа Данглар едва его расслышала.

Ни во что не вмешиваясь, граф дал сесть на лошадей и уехать Моррелю, Дебрэ и Шато-Рено, а обеим дамам отбыть в ландо Вильфора; со своей стороны, Данглар, всё более приходивший в восторг от Кавальканти-отца, пригласил его к себе в карету.

Что касается Андреа Кавальканти, то он направился к ожидавшему его у ворот тильбюри с запряженной в него громадной темно-серой лошастью, которую, поднявшись на цыпочки, держал под уздцы чрезмерно англазированный грум.

За обедом Андреа говорил мало; он был очень смущенный юноша и поневоле опасался сказать какую-нибудь глупость в обществе столь богатых и влиятельных людей; к тому же его широко раскрытые глаза не без тревоги останавливались на королевском прокуроре.

Затем им завладел Данглар, который, бросив беглый взгляд на старого чопорного майора и на его довольно робкого сына и сопоставив все эти признаки с радушием Монте-Кристо, решил, что имеет дело с каким-нибудь набобом, прибывшим в Париж, чтобы усовершенствовать светское воспитание своего наследника.

Поэтому он с несказанным благоволением созерцал огромный бриллиант, сверкавший на мизинце майора, ибо майор, как человек осторожный и опытный, опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь с его ассигнациями, тотчас же превратил их в ценности. Затем, после обеда, под видом беседы о промышленности и путешествиях, он расспросил отца и сына об их образе жизни; а отец и сын, предупрежденные, что именно у Данглара им будет открыт текущий счет, одному на сорок восемь тысяч франков одновременно, другому – на пятьдесят тысяч ливров ежегодно, были с банкиром очаровательны и преисполнены такой любезности, что готовы были пожать руки его слугам, лишь бы дать выход переполнявшей их признательности.

То уважение – мы бы даже сказали: то благоговение, – которое Кавальканти вызвал в Дангларе, усугублялось еще одним обстоятельством. Майор, верный принципу Горация: *nīl admirari*¹⁴ удовлетворялся, как мы видели, тем, что показал свою осведомленность, сообщив, в каком озере ловятся лучшие миноги. Засим он молча съел свою долю этой рыбы. И Данглар сделал вывод, что такие роскошества – обычное дело для славного потомка Кавальканти, который, вероятно, у себя в Лукке питается форелями, выписанными из Швейцарии, и лангустами, доставляемыми из Бретани тем же способом, каким граф получил миног из озера Фузаро и стерлядей с Волги.

Поэтому он с явной благосклонностью выслушал слова Кавальканти:

– Завтра, сударь, я буду иметь честь явиться к вам по делу.

– А я, сударь, – ответил Данглар, – почту за счастье принять вас.

После этого он предложил Кавальканти, если тот согласен лишиться общества сына, довести его до гостиницы Принцев.

¹⁴ Ничему не удивляться (лат.).

Кавальканти ответил, что его сын уже давно привык вести жизнь самостоятельного молодого человека, имеет поэтому собственных лошадей и экипажи, и так как сюда они прибыли отдельно, то он не видит, почему бы им не уехать отсюда порознь.

Итак, майор сел в карету Данглара. Банкир уселся рядом, все более восхищаясь здоровыми суждениями этого человека о бережливости и аккуратности, что, однако, не мешало ему давать сыну пятьдесят тысяч франков в год, а для этого требовался годовой доход тысяч в пятьсот или шестьсот.

Тем временем Андреа для пущей важности разносил своего грума за то, что тот не подал лошадь к подъезду, а остался ждать у ворот и тем самым вынудил его сделать целых тридцать шагов, чтобы дойти до тильбюри.

Грум смиренно выслушал выговор; чтобы удержать лошадь, нетерпеливо бившую копытом, он схватил ее под уздцы левой рукой, а правой протянул вожжи Андреа, который взял их и занес ногу в лаковом башмаке на подножку.

В это время кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, думая, что Данглар или Монте-Кристо забыли ему что-нибудь сказать и вспомнили об этом в последнюю минуту.

Но вместо них он увидел странную физиономию, опаленную солнцем, обросшую густой бородой, достойной натурщика, горящие, как уголья, глаза и насмешливую улыбку, обнажавшую тридцать два блестящих белых зуба, острых и жадных, как у волка или шакала.

Голова эта, покрытая седеющими, тусклыми волосами, была повязана красным клетчатым платком; длинное, тощее и костлявое тело было облачено в невероятно рваную и грязную блузу, и казалось, что при каждом движении этого человека его кости должны стучать, как у скелета. Рука, хлопнувшая Андреа по плечу, – первое, что он увидел, – показалась ему гигантской.

Узнал ли он при свете фонаря своего тильбюри эту физиономию, или же просто был ошеломлен ужасным видом этого человека, – мы не знаем; во всяком случае он вздрогнул и отшатнулся.

– Что вам от меня нужно? – сказал он.

– Извините, почтенный, – ответил человек, прикладывая руку к красному платку, – может быть, я вам помешал, по мне надо вам кое-что сказать.

– По ночам не просят милостыни, – сказал грум, намереваясь избавить своего хозяина от назойливого бродяги.

– Я не прошу милостыни, красавчик, – иронически улыбаясь, сказал незнакомец, и в его улыбке было что-то такое страшное, что слуга отступил, – я только хочу сказать два слова вашему хозяину, который дал мне одно поручение недели две тому назад.

– Послушайте, – сказал в свою очередь Андреа достаточно твердым голосом, чтобы слуга не заметил, насколько он взволнован, – что вам нужно? Говорите скорей, приятель.

– Мне нужно... – едва слышно произнес человек в красном платке, – мне нужно, чтобы вы избавили меня от необходимости возвращаться в Париж пешком. Я очень устал, и не так хорошо пообедал, как ты, и едва держусь на ногах.

Андреа вздрогнул, услышав это странное обращение.

– Но чего же вы хотите наконец? – спросил он.

– Хочу, чтобы ты довез меня в твоём славном экипаже.

Андреа побледнел, но ничего не ответил.

– Да, представь себе, – сказал человек в красном платке, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на молодого человека, – мне этого хочется! Слышишь, мой маленький Бенедетто?

При этом имени Андреа, по-видимому, стал уступчивее; он подошел к груму и сказал:

– Я действительно давал этому человеку поручение, и он должен дать мне отчет. Дойдите до заставы пешком, там вы наймете кабриолет, чтобы не очень опоздать.

Удивленный слуга удалился.

– Дайте мне по крайней мере въехать в тень, – сказал Андреа.

– Ну, что до этого, я сам провожу тебя в подходящее место; вот увидишь, – сказал человек в красном платке.

Он взял лошадь под уздцы и отвел тильбюри в темный угол, где действительно никто не мог увидеть того почета, который ему оказывал Андреа.

– Это я не ради чести проехаться в хорошем экипаже, – сказал он. – Нет, я просто устал, а кстати хочу поговорить с тобой о делах.

– Ну, садитесь, – сказал Андреа.

Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, восседающий на шелковых подушках, и рядом с ним правящий лошадью элегантно молодой человек.

Андреа проехал все селение, не сказав ни слова; его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения.

Как только они проехали Отейль, Андреа осмотрелся, удостоверившись, что их никто не может ни видеть, ни слышать; затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке.

– Послушайте, – сказал он, – что вам от меня надо? Зачем вы нарушаете мой покой?

– Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь?

– В чем я не доверяю вам?

– В чем? Ты еще спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на Барском мосту, ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и Тоскану, – и ничего подобного, ты оказываешься в Париже!

– А чем это вам мешает?

– Да ничем; наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу.

– Вот как! – сказал Андреа. – Вы, значит, намерены на мне спекулировать?

– Ну, зачем такие громкие слова!

– Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрусс.

– Да ты не сердись, малыш; ты сам должен знать, что значит несчастье; ну, а несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по Пьемонту и Тоскане и тянешь лямку чичероне или носильщика; я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном.

– Ну, а дальше? Дальше что?

– Ах ты, порох! Потерпи немного.

– Я и так терпелив. Ну, кончайте.

– И вдруг я встречаю тебя у заставы, в тильбюри с грумом, одетого с иголки. Ты, что же, нашел золотиносную жилу или купил маклерский патент?

– Значит, вы завидуете?

– Нет, я просто доволен, так доволен, что захотел поздравить тебя, малыш; но я был недостаточно прилично одет, и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя.

– Хороши меры предосторожности! – сказал Андреа. – Заговорить со мной при слуге!

– Что поделаешь, сынок; заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, и сам ты скользкий, как угорь; упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал.

– Вы же видите, я вовсе не прячусь.

– Это твое счастье, я очень бы хотел сказать то же про себя; а вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь; но ты меня узнал, – прибавил Кадрусс с гаденькой улыбочкой, – это очень мило с твоей стороны.

– Ну, хорошо, – сказал Андреа, – что же вы хотите?

– Ты говоришь мне «вы»; это нехорошо, Бенедетто, ведь я твой старый товарищ; смотри, я стану требовательным.

Эта угроза охладил гнев Андреа; он чувствовал, что вынужден уступить.

Он снова пустил лошадь рысью.

– С твоей стороны нехорошо так обращаться со мной, Кадрусс, – сказал он. – Ты сам говоришь, что мы старые товарищи, ты марселей, я...

– Так ты теперь знаешь, кто ты?

– Нет, но я вырос на Корсике. Ты стар и упрям, я молод и неуступчив. Плохо, если мы начнем угрожать друг другу, нам лучше все решать полюбовно. Чем я виноват, что судьба мне улыбнулась, а тебе по-прежнему не везет?

– Так тебе вправду повезло? Значит, и этот грум, и тильбюри, и платье не взяты напрокат? Что ж, тем лучше! – сказал Кадрусс с блестящими от жадности глазами.

– Ты сам это отлично видишь и понимаешь, раз ты заговорил со мной, – сказал Андреа, все больше волнуясь. – Будь у меня на голове платок, как у тебя, грязная блуза на плечах и дырявые башмаки на ногах, ты не стремился бы узнать меня.

– Вот видишь, как ты меня презираешь, малыш. Нехорошо! Теперь, когда я тебя нашел, ничто не мешает мне одеться в лучшее сукно. Я же знаю твое доброе сердце: если у тебя два костюма, ты отдашь один мне; ведь я отдавал тебе свою порцию супа и бобов, когда ты уж очень хотел есть.

– Это верно, – сказал Андреа.

– И аппетит же у тебя был! У тебя все еще хороший аппетит?

– Ну, конечно, – сказал, смеясь, Андреа.

– Воображаю, как ты пообедал сейчас у этого князя!

– Он не князь, он только граф.

– Граф? Богатый?

– Да, но не рассчитывай на него; с этим господином не так легко иметь дело.

– Да ты не беспокойся! Твоего графа никто не трогает, можешь оставить его себе. Но, конечно, – прибавил Кадрусс, на губах которого снова появилась та же отвратительная улыбка, – за это тебе придется раскошелиться.

– Ну, сколько же тебе нужно?

– Думаю, что на сто франков в месяц...

– Ну?

– Я смогу существовать...

– На сто франков?

– Плохо, конечно, ты сам понимаешь, но...

– Но?

– На сто пятьдесят франков я отлично устроюсь.

– Вот тебе двести, – сказал Андреа.

И он положил в руку Кадрусса десять луидоров.

– Хорошо, – сказал Кадрусс.

– Заходи к швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же.

– Ну вот, ты опять меня унижаешь!

– Как так?

– Заставляешь меня обращаться к челяди. Нет, знаешь, ли, я хочу иметь дело только с тобой.

– Хорошо, приходи ко мне, и каждое первое число, во всяком случае пока мне будут выплачивать мои доходы, ты будешь получать свое.

– Ну, ну, я вижу, что не ошибся в тебе. Ты славный малый, хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А расскажи, каким образом тебе повезло?

– Зачем тебе это знать? – спросил Кавальканти.

– Опять недоверие!

– Нисколько. Я разыскал своего отца.

– Настоящего отца?

– Ну... поскольку он дает мне деньги...

– Постольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца?

– Майор Кавальканти.

– И он тобой доволен?

– Пока что, видимо, доволен.

– А кто тебе помог разыскать его?

– Граф Монте-Кристо.

– У которого ты сейчас был?

– Да.

– Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается.

– Пожалуй, я поговорю с ним о тебе; а пока что ты будешь делать?

– Я?

– Да, ты.

– Очень мило, что ты беспокоишься об этом, – сказал Кадрусс.

– Мне кажется, – возразил Андреа, – раз ты интересуешься мною, я тоже имею право кое о чем спросить.

– Верно... Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе читать газеты. По вечерам буду ходить в театр с какой-нибудь

компанией клакеров. Вообще приму вид булочника, удалившегося на покой; я всегда мечтал об этом.

– Что ж, это хорошо. Если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно.

– Посмотрите на этого Боссюэ¹⁵!.. Ну, а ты кем станешь? Пэрром Франции?

– Все возможно! – сказал Андреа.

– Майор Кавальканти, может быть, и пэр... но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена.

– Пожалуйста, без политики, Кадрусс!.. Ну вот, ты получил, что хотел, и мы приехали, а потому вылезай и исчезни.

– Ни в коем случае, милый друг!

– То есть как?

– Посуди сам, малыш; на голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов – и в кармане десять луидоров, не считая того, что там уже было; в общем ровно двести франков. Да меня у заставы непременно арестуют! Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне десять луидоров; начнется дознание, следствие; узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь, и меня погонят по этапу до самого Средиземного моря. И я снова стану просто номер сто шесть, и прощай мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой! Ни в коем случае, сынок; я предпочитаю достойно жить в столице.

Андреа нахмурился; милый сын майора Кавальканти был, как он сам признался, очень упрям. Он остановил лошадь, быстро огляделся, и, пока его взор пытливо скользил по сторонам, рука его точно ненароком опустилась в карман и нащупала курок карманного пистолета.

Но в то же время Кадрусс, ни на минуту не спускавший глаз со своего спутника, заложил руки за спину и тихонько раскрыл длинный испанский нож, который он на всякий случай всегда носил с собой.

Приятели явно были достойны друг друга и поняли это; Андреа мирно извлек руку из кармана и стал поглаживать свои рыжие усы.

– Наконец-то ты заживешь счастливо, дружище Кадрусс, – сказал он.

– Постараюсь сделать все возможное для этого, – ответил трактирщик с Гарского моста, снова складывая нож.

– Ладно, едем в Париж. Но как ты проедешь заставу, не вызывая подозрений? Мне кажется, в таком костюме ты еще больше рискуешь, сидя в экипаже, чем шагая пешком.

– погоди, – сказал Кадрусс, – сейчас увидишь.

Он надел шляпу Андреа, накинул плащ с большим воротником, оставленный грумом в экипаже, и принял сосредоточенный вид, подобающий слуге из хорошего дома, когда хозяин сам правит лошадей.

– А я что же, так и поеду с непокрытой головой? – сказал Андреа.

– Эка важность! – фыркнул Кадрусс. – Сегодня такой ветер, что у тебя могла слететь шляпа.

– Ладно, – сказал Андреа, – покончим с этим.

– Да кто ж тебе мешает? – сказал Кадрусс. – Не я, надеюсь?

– Шш... – прошептал Кавальканти.

Заставу миновали благополучно.

Доехав до первой улицы, Андреа остановил лошадь, и Кадрусс спрыгнул на землю.

– Позволь, – сказал Андреа, – а плащ, а моя шляпа?

– Ты же не хочешь, чтобы я простудился, – отвечал Кадрусс.

– А как же я?

– Ты молод, а я уже становлюсь стар: до свидания, Бенедетто!

И он исчез в переулке.

– Увы, – сказал со вздохом Андреа, – неужели на земле невозможно полное счастье?

VIII. Семейная сцена

Доехав до площади Людовика XV, молодые люди расстались: Моррель направился к бульварам, Шато-Рено к мосту Революции, а Дебрэ поехал по набережной.

¹⁵ Знаменитый проповедник XVII века.

Моррель и Шато-Рено, по всей вероятности, вернулись к своим домашним очагам, как еще до сих пор говорят с трибуны Палаты в красиво построенных речах и на сцене театра улицы Ришелье в красиво написанных пьесах, но Дебрэ поступил иначе. У ворот Лувра он повернул налево, рысью пересек Карусельную площадь, направился по улице Сен-Рок, повернул на улицу Мишодьер и подъехал к дому Данглара как раз в ту минуту, когда ландо Вильфора, завезя его самого с женой в предместье Сент-Оноре, доставило домой баронессу.

Дебрэ, как свой человек в доме, первый въехал во двор, бросил поводья лакею, а сам вернулся – к экипажу, помог г-же Данглар сойти и взял ее под руку, чтобы проводить в комнаты.

Как только ворота закрылись и баронесса вместе с Дебрэ очутились во дворе, он сказал:

– Что с вами, Эрмина? Почему вам стало дурно, когда граф рассказывал эту историю, или, вернее, эту сказку?

– Потому, что я вообще отвратительно себя чувствовала сегодня, мой друг, – ответила баронесса.

– Да нет же, Эрмина, – возразил Дебрэ, – я никогда этому не поверю. Наоборот, вы были прекрасно настроены, когда приехали к графу. Правда, господин Данглар был немного не в духе; но я ведь знаю, как мало вы обращаете внимания на его дурное настроение. Кто-то вас расстроил. Расскажите мне, в чем дело, вы же знаете, я не потерплю, чтобы вас обидели.

– Уверю вас, Люсьен, вы ошибаетесь, – сказала госпожа Данглар, – все дело просто в самочувствии, как я вам сказала, да еще в дурном настроении, которое вы заметили и о котором я не считала нужным вам говорить.

Было очевидно, что г-жа Данглар находится во власти того нервного возбуждения, в котором женщины часто сами не отдают себе отчета, или же что она, как угадал Дебрэ, испытала какое-нибудь скрытое потрясение, в котором не хотела никому сознаться. Дебрэ, привыкший считаться с беспричинной нервозностью, как с одним из элементов женской природы, перестал настаивать и решил ждать благоприятной минуты, когда можно будет снова задать этот вопрос или когда ей самой вздумается признаться.

У дверей своей спальни баронесса встретила мадемуазель Корнели, свою доверенную камеристку.

– Что делает моя дочь? – спросила г-жа Данглар.

– Весь вечер занималась, а потом легла, – ответила мадемуазель Корнели.

– Но, мне кажется, кто-то играет на рояле?

– Это играет мадемуазель д'Армильи, а мадемуазель Эжени лежит в постели.

– Хорошо, – сказала г-жа Данглар, – помогите мне раздеться.

Вошли в спальню. Дебрэ растянулся на широком диване, а г-жа Данглар вместе с мадемуазель Корнели прошла в свою уборную.

– Скажите, Люсьен, – спросила через дверь г-жа Данглар, – Эжени по-прежнему не желает с вами разговаривать?

– Не я один на это жалуюсь, сударыня, – сказал Люсьен, играя с собачкой баронессы; она признавала его за друга дома и всегда ласкалась к нему. – Помнится, я слышал на днях у вас, как Морсер сетовал, что не может добиться ни слова от своей невесты.

– Это верно, – сказала г-жа Данглар, – но я думаю, что скоро все изменится и Эжени явится к вам в кабинет.

– Ко мне в кабинет?

– Я хочу сказать – в кабинет министра.

– Зачем?

– Чтобы попросить вас устроить ей ангажемент в оперу. Право, я никогда не видела такого пристрастия к музыке. Для девушки из общества это смешно!

Дебрэ улыбнулся.

– Ну что ж, – сказал он, – пусть приходит, раз вы и барон согласны. Мы устроим ей этот ангажемент и постараемся, чтобы он соответствовал ее достоинствам, хотя мы слишком бедны, чтобы оплачивать такой талант, как у нее.

– Можете идти, Корнели, – сказала г-жа Данглар, – вы мне больше не нужны.

Корнели удалилась, и через минуту г-жа Данглар вышла из уборной в очаровательном negligé. Она села рядом с Люсьеном и стала задумчиво гладить болонку.

Люсьен молча смотрел на нее.

– Слушайте, Эрмина, – сказал он наконец, – скажите откровенно: вы чем-то огорчены, правда?

– Нет, ничем, – возразила баронесса.

Но ей было душно, она встала, попыталась вздохнуть полной грудью и подошла к зеркалу.

– Я сегодня похожа на пугало, – сказала она.

Дебрэ, улыбаясь, встал, чтобы подойти к баронессе и успокоить ее на этот счет, как вдруг дверь открылась.

Вошел Данглар; Дебрэ снова опустился на диван.

Услышав шум открывающейся двери, г-жа Данглар обернулась и взглянула на своего мужа с удивлением, которое даже не старалась скрыть.

– Добрый вечер, сударыня, – сказал банкир. – Добрый вечер, господин Дебрэ.

По-видимому, баронесса объяснила себе это неожиданное посещение тем, что барон пожелал загладить колкости, которые несколько раз за этот день вырывались у него.

Она приняла гордый вид и, не отвечая мужу, обернулась к Люсьену.

– Почитайте мне что-нибудь, господин Дебрэ, – сказала она.

Дебрэ, которого этот визит сначала несколько встревожил, успокоился, видя невозмутимость баронессы, и протянул руку к книге, заложенной перламутровым ножом с золотой инкрустацией.

– Прошу прощения, – сказал банкир, – но вы утомлены, баронесса, и вам пора отдохнуть; уже одиннадцать часов, а господин Дебрэ живет очень далеко.

Дебрэ остолбенел; и не потому, чтобы тон Данглара не был вежливым и спокойным, – но за этой вежливостью и спокойствием сквозила непривычная готовность не считаться на сей раз с желаниями жены.

Баронесса тоже была изумлена и выразила свое удивление взглядом, который, вероятно, заставил бы ее мужа задуматься, если бы его глаза не были устремлены на газету, где он искал биржевой бюллетень.

Таким образом, этот гордый взгляд пропал даром и совершенно не достиг цели.

– Господин Дебрэ, – сказала баронесса, – имейте в виду, что у меня нет ни малейшей охоты спать, что мне о многом надо рассказать вам и что вам придется слушать меня всю ночь, как бы вас ни клонило ко сну.

– К вашим услугам, сударыня, – флегматично ответил Люсьен.

– Дорогой господин Дебрэ, – вмешался банкир, – прошу вас, избавьте себя сегодня от болтовни г-жи Данглар; вы с таким же успехом можете выслушать ее и завтра. Но сегодняшний вечер принадлежит мне, я оставляю его за собой и посвящу его, с вашего разрешения, серьезному разговору с моей женой.

На этот раз удар был такой прямой и направлен так метко, что он ошеломил Люсьена и баронессу; они переглянулись, как бы желая найти друг в друге опору против этого нападения; но непререкаемая власть хозяина дома восторжествовала, и победа осталась за мужем.

– Не подумайте только, что я вас гоню, дорогой Дебрэ, – продолжал Данглар, – вовсе нет, ни в коем случае! Но ввиду непредвиденных обстоятельств мне необходимо сегодня же переговорить с баронессой: это случается не так часто, чтобы на меня за это сердиться.

Дебрэ пробормотал несколько слов, раскланялся и вышел, наталкиваясь на мебель, как Натан в «Аталии».

– Просто удивительно, – сказал он себе, когда за ним закрылась дверь, – до чего эти мужья, которых мы всегда высмеиваем, легко берут над нами верх!

Когда Люсьен ушел, Данглар занял его место на диване, захлопнул книгу, оставшуюся открытой, и, приняв невероятно натянутую позу, тоже стал играть с собачкой. Но так как собачка, не относившаяся к нему с такой симпатией, как к Дебрэ, хотела его укубить, он взял ее за загривок и отшвырнул в противоположный конец комнаты на кушетку.

Собачка на лету завизжала, но, оказавшись на кушетке, забила за подушку и, изумленная таким непривычным обращением, замолкла и не шевелилась.

– Вы делаете успехи, сударь, – сказала, не сморгнув, баронесса. – Обычно вы просто грубы, но сегодня вы ведете себя, как животное.

– Это оттого, что у меня сегодня настроение хуже, чем обычно, – отвечал Данглар.

Эрмина взглянула на банкира с величайшим презрением. Эта манера бросать презрительные взгляды обычно выводила из себя заносчивого Данглара; но сегодня он, казалось, не обратил на это никакого внимания.

– А мне какое дело до вашего плохого настроения? – отвечала баронесса, возмущенная спокойствием мужа. Это меня не касается. Сидите со своим плохим настроением у себя или

проявляйте его в своей конторе; у вас есть служащие, которым вы платите, вот и срывайте на них свои настроения!

– Нет, сударыня, – отвечал Данглар, – ваши советы неуместны, и я не желаю их слушать. Моя контора – это моя золотоносная река, как говорит, кажется, господин Демутье, и я не намерен мешать ее течению и мутить ее воды. Мои служащие – честные люди, помогающие мне наживать состояние, и я плачу им неизмеримо меньше, чем они заслуживают, если оценивать их труд по его результатам. Мне не за что на них сердиться, зато меня сердят люди, которые кормятся моими обедами, загоняют моих лошадей и опустошают мою кассу.

– Что же это за люди, которые опустошают вашу кассу? Скажите яснее, прошу вас.

– Не беспокойтесь, если я и говорю загадками, то вам не придется долго искать ключ к ним, – возразил Данглар. – Мою кассу опустошают те, кто за один час вынимает из нее пятьсот тысяч франков.

– Я вас не понимаю, – сказала баронесса, стараясь скрыть дрожь в голосе и краску на лице.

– Напротив, вы прекрасно понимаете, – сказал Данглар, – но раз вы упорствуете, я скажу вам, что я потерял на испанском займе семьсот тысяч франков.

– Вот как! – насмешливо сказала баронесса. – И вы обвиняете в этом меня?

– Почему бы нет?

– Я виновата, что вы потеряли семьсот тысяч франков?

– Во всяком случае не я.

– Раз навсегда, сударь, – резко возразила баронесса, – я запретила вам говорить со мной о деньгах; к этому языку я не привыкла ни у моих родителей, ни в доме моего первого мужа.

– Охотно верю, – сказал Данглар, – все они не имели ни гроша за душой.

– Тем более я не могла познакомиться с вашим банковским жаргоном, который мне здесь режет ухо с утра до вечера. Ненавижу звон монет, которые считают и пересчитывают. Не знаю, что может быть противнее, – разве только звук вашего голоса!

– Вот странно, – сказал Данглар. – А я думал, что вы очень даже интересуетесь моими денежными операциями.

– Я? Что за нелепость! Кто вам это сказал?

– Вы сами.

– Бросьте!

– Разумеется.

– Интересно знать, когда это было.

– Сейчас скажу. В феврале вы первая заговорили со мной о гаитийском займе; вы будто бы видели во сне, что в гаврский порт вошло судно и привезло известие об уплате долга, который считали отложенным до второго пришествия. Я знаю, что вы склонны к ясновидению; поэтому я велел потихоньку скупить все облигации гаитийского займа, какие только можно было найти, и нажил четыреста тысяч франков; из них сто тысяч были честно переданы вам. Вы истратили их, как хотели, я в это не вмешивался.

В марте шла речь о железнодорожной концессии. Конкурентами были три компании, предлагавшие одинаковые гарантии. Вы сказали мне, будто ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что предпочтение будет оказано так называемой Южной компании.

Ну, хоть вы и утверждаете, что дела вам чужды, однако, мне кажется, ваше внутреннее чутье весьма изощрено в некоторых вопросах.

Итак, я немедленно записал на себя две трети акций Южной компании. Предпочтение действительно было оказано ей; как вы и предвидели, акции поднялись втрое, и я нажил на этом миллион, из которого двести пятьдесят тысяч франков были переданы вам на булавки. А на что вы употребили эти двести пятьдесят тысяч франков?

– Но к чему вы клоните, наконец? – воскликнула баронесса, дрожа от досады и возмущения.

– Терпение, сударыня, я сейчас кончу.

– Слава богу!

– В апреле вы были на обеде у министра; там говорили об Испании, и вы случайно услышали секретный разговор: речь шла об изгнании Дон Карлоса. Я купил испанский заем. Изгнание совершилось, и я нажил шестьсот тысяч франков в тот день, когда Карл Пятый перешел Бидассоу. Из этих шестисот тысяч франков вы получили пятьдесят тысяч экю; они были

ваши, вы распорядились ими по своему усмотрению, и я не спрашиваю у вас отчета. Но как-никак в этом году вы получили пятьсот тысяч ливров.

– Ну, дальше?

– Дальше? В том-то и беда, что дальше дело пошло хуже.

– У вас такие странные выражения...

– Они передают мою мысль, – это все, что мне надо... Дальше – это было три дня тому назад. Три дня назад вы беседовали о политике с Дебрэ, и из его слов вам показалось, что Дон Карлос вернулся в Испанию; тогда я решаю продать свой заем; новость облетает всех, начинается паника, я уже не продаю, а отдаю даром; на следующий день оказывается, что известие было ложное, и из-за этого ложного известия я потерял семьсот тысяч франков.

– Ну, и что же?

– А то, что если я вам даю четвертую часть своего выигрыша, то вы должны мне возместить четвертую часть моего проигрыша; четвертая часть семисот тысяч франков – это сто семьдесят пять тысяч франков.

– Но вы говорите чистейший вздор, и я, право, не понимаю, почему вы ко всей этой истории приплели имя Дебрэ.

– Да потому, что, если у вас случайно не окажется ста семидесяти пяти тысяч франков, которые мне нужны, вам придется занять их у ваших друзей, а Дебрэ ваш друг.

– Какая гадость! – воскликнула баронесса.

– Пожалуйста, без громких фраз, без жестов, без современной драмы, сударыня. Иначе я буду вынужден сказать вам, что я отсюда вижу, как Дебрэ посмеивается, пересчитывая пятьсот тысяч ливров, которые вы ему передали в этом году, и говорит себе, что, наконец, нашел то, чего не могли найти самые ловкие игроки: рулетку, в которую выигрывают, ничего не ставя и не теряя при проигрыше.

Баронесса вышла из себя.

– Негодяй, – воскликнула она, – посмейте только сказать, что вы не знали того, в чем вы осмеливаетесь меня сегодня упрекнуть!

– Я не говорю, что знал, и не говорю, что не знал. Я только говорю: припомните мое поведение за те четыре года, что вы мне больше не жена, а я вам больше не муж, и вы увидите, насколько оно логично. Незадолго до нашего разрыва вы пожелали заниматься музыкой с этим знаменитым баритоном, который столь успешно дебютировал в Итальянском театре, а я решил научиться танцевать под руководством танцовщицы, так прославившейся в Лондоне. Это мне обошлось, за вас и за себя, примерно в сто тысяч франков. Я ничего не сказал, потому что в семейной жизни нужна гармония. Сто тысяч франков за то, чтобы муж и жена основательно изучили музыку и танцы, – это не так уж дорого. Вскоре музыка вам надоела, и у вас является желание изучать дипломатическое искусство под руководством секретаря министра; я предоставляю вам изучать его. Понимаете, мне нет дела до этого, раз вы сами оплачиваете свои уроки. Но теперь я вижу, что вы обращаетесь к моей кассе и что ваше образование может мне стоить семьсот тысяч франков в месяц. Стоп, сударыня, так продолжаться не может. Либо дипломат будет давать вам уроки... даром, и я буду терпеть его, либо ноги его больше не будет в моем доме. Понятно, сударыня?

– Это уже слишком, сударь! – воскликнула, задыхаясь, Эрмина. – Это гнусно! Вы переходите все границы!

– Но я с удовольствием вижу, – сказал Данглар, – что вы от меня не отстаёте и по доброй воле исполняете заповедь: «Жена да последует за своим мужем».

– Вы оскорбляете меня!

– Вы правы. Прекратим это и поговорим спокойно. Я лично никогда не вмешивался в ваши дела, разве только для вашего блага; последуйте моему примеру. Вы говорите, мои средства вас не касаются? Отлично; распорядитесь своими собственными, а моих не умножайте и не умаляйте. Впрочем, может быть, все это просто предательский трюк? Министр взбешен тем, что я в оппозиции, и завидует моей популярности, – может быть, он сговорился с Дебрэ разорить меня?

– Как это правдоподобно!

– Очень, даже. Где же это видано... ложное телеграфное известие – вещь невозможная или почти невозможная. Два последних телеграфа подали сигналы, совершенно отличные от остальных... Право, это как будто нарочно для меня сделано.

– Вы же знаете, кажется, – сказала уже более смиренно баронесса, – что этого чиновника прогнали и даже собирались судить; был уже отдан приказ о его аресте, но чиновник скрылся. Его бегство доказывает, что он или сумасшедший, или преступник... Нет, это была ошибка.

– Да, и над этой ошибкой смеются глупцы, она стоит бессонной ночи министру, из-за нее господа государственные секретари марают бумагу, но мне она обходится в семьсот тысяч франков.

– Но, послушайте, – вдруг заявила Эрмина, – раз все это, по-вашему, исходит от Дебрэ, почему вы говорите это мне, а не самому Дебрэ? Почему вы обвиняете мужчину, а ответа спрашиваете с женщины?

– Разве я знаю Дебрэ? – сказал Данглар. – Разве я хочу его знать? Разве я должен знать, что это он дает советы? Разве я желаю им следовать? Разве я играю на бирже? Нет, все это относится к вам, а не ко мне.

– Но раз вам это выгодно...

Данглар пожал плечами.

– До чего глупы женщины! Считаю себя гениальными, если им удалось так провести одну или десять любовных интриг, чтобы о них не говорил весь Париж. Но имейте в виду, что даже если бы вы сумели скрыть свои похождения от мужа, – а это проще всего, потому что в большинстве случаев мужья просто не желают видеть, – то и тогда вы были бы лишь жалкой копией половины ваших светских приятельниц. Но и этого нет: я всегда все знал; за шестнадцать лет вы, может быть, сумели скрыть от меня какую-нибудь мысль, но ни одного движения, ни одного поступка, ни одной провинности. Вы восхищались своей ловкостью и были твердо уверены, что обманываете меня, – а что получилось? Благодаря моему притворному неведению, среди ваших друзей, от де Вильфора до Дебрэ, не было ни одного, кто не боялся бы меня. Не было ни одного, кто не считался бы со мной как с хозяином дома, – единственное, чего я от вас требую; наконец, ни один не посмел бы говорить с вами обо мне так, как я сам говорю сейчас. Можете изображать меня отвратительным, но я не позволю вам делать меня смешным, а главное – я категорически запрещаю вам разорять меня.

Пока не было произнесено имя Вильфора, баронесса еще кое-как держалась; по при этом имени она побледнела и, точно движимая какой-то пружиной, встала, протянула руки, словно заклиная привидение, и шагнула к мужу, как бы желая вырвать у него последнее слово тайны, которой он сам не знал или, быть может, из какого-нибудь расчета, гнусного, как почти все расчеты Данглара, не хотел окончательно выдать.

– Вильфор? Что это значит? Что вы хотите сказать?

– Это значит, сударыня, что господин де Наргон, ваш первый муж, не будучи ни философом, ни банкиром, а быть может, будучи и тем и другим и увидав, что не может извлечь никакой пользы из королевского прокурора, умер от горя или гнева, застав вас после девятимесячного отсутствия на шестом месяце беременности. Я груб, я не только знаю это, но горжусь этим; это одно из средств, которыми я достигаю успеха в коммерческих операциях. Почему, вместо того чтобы самому убить, он допустил, чтобы его убили? Потому что у него не было капитала, который требовалось бы защищать. А я принадлежу своему капиталу. По вине моего компаньона Дебрэ я потерял семьсот тысяч франков. Пусть он внесет свою долю убытка, и мы будем продолжать вести дело вместе; или же пусть объявит себя несостоятельным должником этих ста семидесяти пяти тысяч франков и сделает то, что делают банкроты: пусть исчезнет. Да, конечно, я знаю – это очаровательный молодой человек, когда его сведения верны; но если они неверны, то в обществе найдется пятьдесят других, которые стоят больше, чем он.

Госпожа Данглар была уничтожена; все же она сделала последнее усилие, чтобы ответить на этот выпад. Она упала в кресло, думая о Вильфоре, о том, что произошло за обедом, об этой странной цепи несчастий, которые в последние дни одно за другим обрушивались на ее дом, превращая уютный покой ее семейной жизни в неприличные ссоры.

Данглар даже не взглянул на нее, хотя она изо всех сил старалась лишиться чувств. Не сказав больше ни слова, он закрыл за собой дверь спальни и прошел к себе; так что г-жа Данглар, очнувшись от своего полубоморока, могла подумать, что ей приснился дурной сон.

IX. Брачные планы

На следующий день после этой сцены, в тот час, когда Дебрэ по дороге в министерство обычно заезжал к г-же Данглар, его карета не въехала во двор.

В этот самый час, а именно в половине первого, г-жа Данглар приказала подать экипаж и выехала из дому.

Данглар, спрятавшись за занавеской, следил за этим отъездом, которого он ожидал. Он распорядился, чтобы ему доложили, как только г-жа Данглар вернется, но и к двум часам она еще не вернулась.

В два часа он потребовал лошадей, поехал в Палату и записался в число ораторов, собиравшихся возражать против бюджета.

От двенадцати до двух Данглар безвыходно сидел у себя в кабинете, все более хмурясь, читал депеши, подсчитывал бесконечные цифры и принимал посетителей, в том числе майора Кавальканти, который, как всегда, багровый, чопорный и пунктуальный, явился в условленный накануне час, чтобы покончить свои дела с банкиром.

Выйдя из Палаты, Данглар, во время заседания чрезвычайно волновавшийся и резче, чем когда-либо, нападавший на министерство, сел в свой экипаж и велел кучеру ехать на авеню Елисейских Полей, № 30.

Монте-Кристо был дома, но у него кто-то сидел, и он попросил Данглара подождать несколько минут в гостиной.

Пока банкир сидел в ожидании, дверь отворилась и вошел человек в одежде аббата; будучи, по-видимому, короче знаком с хозяином, он не остался ждать, как Данглар, а поклонился ему, прошел во внутренние комнаты и скрылся.

Почти сейчас же та дверь, за которой исчез священник, открылась снова, и появился Монте-Кристо.

– Простите, дорогой барон, – сказал он. – Видите ли, в Париж только что прибыл один из моих добрых друзей, аббат Бузони; вы, вероятно, заметили его, он здесь проходил. Мы давно не видались, и у меня не хватило духу сразу же с ним расстаться. Надеюсь, вы меня поймете и извините, что я заставил вас ждать.

– Помилуйте, – сказал Данглар, – это так естественно; я попал не вовремя и сейчас же удалюсь.

– Ничего подобного, напротив, присаживайтесь, пожалуйста. Но, боже правый, что это с вами? У вас такой озабоченный вид; вы меня просто пугаете. Опечаленный капиталист подобен комете, он тоже всегда предвещает миру несчастье.

– Дело в том, дорогой граф, что меня уже несколько дней преследуют неудачи, и я все время получаю дурные вести.

– Ужасно! – сказал Монте-Кристо. – Вы опять проиграли на бирже.

– Нет, это я бросил, по крайней мере на некоторое время; на этот раз просто одно банкротство в Триесте.

– Вот как? Вы, вероятно, говорите о банкротстве Джакомо Манфреди?

– Совершенно верно. Представьте себе, человек, который, не помню уж с каких пор, ведет со мной дела на восемьсот – девятьсот тысяч франков ежегодно. Ни разу ни одной задержки, ни одного недочета, человек расплачивался, как князь... который платит. Я авансирую ему миллион, и вдруг этот чертов Джакомо Манфреди приостанавливает платежи!

– В самом деле?

– Неслыханное несчастье. Я выдаю на него переводный вексель на шестьсот тысяч ливров, который возвращается неоплаченным, да кроме того, у меня лежит на четыреста тысяч франков его векселей сроком на конец этого месяца, которые должен оплатить его парижский корреспондент. Сегодня тридцатое, я посылаю за деньгами; не тут-то было, корреспондент скрылся. Считая еще испанскую историю, я славно заканчиваю этот месяц.

– Но разве вы так много потеряли на этой испанской истории?

– Разумеется, у меня вылетело семьсот тысяч франков, ни больше ни меньше.

– Как же вы, черт возьми, так попались? Ведь вы матерый волк.

– Это все жена. Ей приснилось, что Дон Карлос вернулся в Испанию, а она верит снам. Она говорит, что это магнетизм, и когда видит что-нибудь во сне, то уверяет, что все непременно так и будет. Я позволил ей сыграть, как она считает нужным; у нее свои средства и свой собственный маклер. Она сыграла и проиграла Правда, она играла не на мои деньги, а на свои. Но вы понимаете, когда жена проигрывает семьсот тысяч франков, это немного отзывается и на муже Как, вы этого не знали? Это было злобой дня.

– Я слышал об этом, но не знал подробностей; к тому же я совершенный профан в биржевых делах.

– Вы совсем не играете?

– Я? Когда же мне играть? Я и так едва справляюсь с подсчетом моих доходов. Мне пришлось бы, кроме управляющего, завести еще конторщика и кассира. Но, кстати, об Испании, мне кажется, баронесса могла не только во сне видеть возвращение Дон Карлоса. Разве об этом не говорилось в газетах?

– Ни на грош.

– Но этот честный «Вестник», кажется, исключение из правила и сообщает только достоверные сведения, телеграфные сообщения.

– Вот это и непонятно, – возразил Данглар. – Ведь известие о возвращении Дон Карлоса было действительно получено по телеграфу.

– Так что за этот месяц, – сказал Монте-Кристо, – вы потеряли примерно миллион семьсот тысяч франков?

– И не примерно, а в точности.

– Черт возьми! Для третьестепенного состояния это жестокий удар, – сочувственно заметил Монте-Кристо.

– То есть как это третьестепенного? – сказал Данглар, несколько обиженный.

– Да конечно, – продолжал Монте-Кристо, – на мой взгляд, есть три категории богатства: первостепенные состояния, второстепенные и третьестепенные. Я называю первостепенным состоянием такое, которое слагается из ценностей, находящихся под рукой: земли, рудники, государственные бумаги таких держав, как Франция, Австрия и Англия, если только эти ценности, рудники и бумаги составляют в общем сумму в сто миллионов. Второстепенным состоянием я называю промышленные предприятия, акционерные компании, наместничества и княжества, дающие не более полутора миллиона годового дохода, при капитале не свыше пятидесяти миллионов. Наконец, третьестепенное состояние – это капиталы, пущенные в оборот, доходы, зависящие от чужой воли или игры случая, которым чье-нибудь банкротство может нанести ущерб, которые может поколебать телеграфное сообщение, случайные спекуляции, – словом, дела, зависящие от удачи, которую можно назвать низшей силой, если ее сравнивать с высшей силой – силой природы; они составляют в общем фиктивный или действительный капитал миллионов в пятнадцать. Ведь ваше положение именно таково, правда?

– Верно, – ответил Данглар.

– Из этого следует, – невозмутимо продолжал Монте-Кристо, – что, если шесть месяцев кряду будут заканчиваться так же, как и этот, третьестепенная фирма окажется при последнем издыхании.

– Ну, уж вы скажете! – протянул Данглар, невесело улыбаясь.

– Скажем, семь месяцев, – продолжал тем же тоном Монте-Кристо. – Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что семь раз миллион семьсот тысяч франков – это почти двенадцать миллионов?.. Нет, никогда? И хорошо делали, потому что после таких размышлений уже не станешь рисковать своими капиталами, которые для финансиста все равно, что кожа для цивилизованного человека. Мы носим более или менее пышные одежды, и они придают нам вес; но когда человек умирает, у него остается только его кожа. Так и вы, бросив дела, останетесь при вашем действительном состоянии, то есть самое большее при пяти или шести миллионах; ибо третьестепенные состояния представляют в сущности только треть или четверть своей видимости, как железнодорожный локомотив – всего лишь более или менее сильная машина, хоть он и кажется огромным в клубах дыма. Ну так вот, из вашего действительного актива в пять миллионов вы только что лишились почти двух; соответственно уменьшилось и ваше фиктивное состояние, ваш кредит; другими словами, дорогой господин Данглар, вам было сделано кровопускание, которое, если его повторить четыре раза, вызовет смерть. Смотрите, дорогой друг, будьте осторожней! Может быть, вам нужны деньги? Хотите, я вас ссужу?

– Вы все же плохо считаете! – воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою выдержку. – В эту самую минуту моя касса уже наполнена благодаря другим, более удачным спекуляциям. Потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Триесте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов; мои пионеры в Мексике где-нибудь наткнулись на руду.

– Прекрасно, прекрасно! Но шрам остался, и при первой же потере начнет кровоточить.

– Нет, потому что я действую наверняка, – продолжал Данглар с пошлым хвастовством шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя, – чтобы свалить меня, потребовалось бы свержение трех правительств.

– Что ж! Это бывало.

– Гибель всех урожаев.

– Вспомните о семи тучных и семи тощих коровах.

– Или чтобы море ушло от берегов, как во времена Фараона; да ведь морей много, а корабли заменили бы караваны, только и всего.

– Тем лучше, тем лучше, дорогой господин Данглар, – сказал Монте-Кристо, – я вижу, что ошибался и что вы принадлежите к капиталистам второй степени.

– Смею думать, что я могу претендовать на эту честь, – сказал Данглар со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую луну, которую малюют плохие художники, изображая развалины. – Но раз уж мы заговорили о делах, – прибавил он, радуясь поводу переменить разговор, – скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти?

– Дать ему денег, если он аккредитован на вас и если вы этому кредиту доверяете.

– Еще бы, вполне! Он явился ко мне сегодня утром с чеком на сорок тысяч франков, подписанным Бузони и адресованным на ваше имя, с вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал сорок бумажек.

Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения.

– Но это еще не все, – продолжал Данглар, – он открыл у меня кредит своему сыну.

– Разрешите нескромный вопрос: а сколько он дает сыну?

– Пять тысяч франков в месяц.

– Шестьдесят тысяч в год! Я так и думал, – сказал Монте-Кристо, пожимая плечами.

– Все Кавальканти ужасные скряги. Что такое для молодого человека пять тысяч франков в месяц?

– Но вы понимаете, что если молодому человеку понадобится лишних несколько тысяч...

– Не давайте ему, отец и не подумает вам их зачесть; вы не знаете итальянских миллионеров: это сущие Гарпагоны. А кто открыл ему этот кредит?

– Банк Фенци, одна из лучших фирм Флоренции.

– Я не хочу сказать, что вам грозят убытки, отнюдь; но все же не выходите из пределов кредита.

– Вы, значит, не слишком доверяете этому Кавальканти?

– Я? Я дам ему под его подпись десять миллионов. Это, по моему распределению, состояние второй степени, дорогой барон.

– А как он прост! Я принял бы его за обыкновенного майора.

– И сделали бы ему честь; вы правы, вид у него не очень внушительный. Когда я его увидел в первый раз, я решил, что эго какой-нибудь старый поручик, заплесневевший в своем мундире. Но таковы все итальянцы; они похожи на старых евреев, если не поражают своим великолепием, как восточные маги.

– Сын выглядит лучше, – сказал Данглар.

– Немного робок, пожалуй, но в общем вполне приличен. Я за него слегка опасался.

– Почему?

– Потому что, когда вы его у меня видели, это был чуть ли не первый его выезд в свет; по крайней мере мне так говорили. Он путешествовал с очень строгим воспитателем и никогда не был в Париже.

– Говорят, все эти знатные итальянцы женятся обыкновенно в своем кругу? – небрежно спросил Данглар. – Они любят объединять свои богатства.

– Обыкновенно – да; но Кавальканти большой оригинал и все делает по-своему. Он, несомненно, привез сына во Францию, чтобы здесь его женить.

– Вы так полагаете?

– Уверен в этом.

– И здесь знают о его состоянии?

– Об этом очень много говорят; только одни приписывают ему миллионы, а другие утверждают, что у него нет ни гроша.

– А ваше мнение?

– Мое мнение субъективно, с ним не стоит считаться.

– Но, все-таки...

– Видите ли, ведь эти Кавальканти когда-то командовали армиями, управляли провинциями. Я считаю, что у всех этих старых подеста и бывших кондотьеров есть миллионы, зарытые по разным углам, о которых знают только старшие в роде, передавая это знание по наследству из поколения в поколение. Поэтому все они желтые и жесткие, как флорины времен Республики, которые они так давно созерцают, что отблеск этого золота лег на их лица.

– Вот именно, – сказал Данглар, – и это тем более верно, что ни у кого из них пет ни клочка земли.

– Или во всяком случае очень мало; сам я видел только дворец Кавальканти в Лукке.

– А, у него есть дворец? – сказал, смеясь, Данглар. – Это уже кое-что!

– Да и то он его сдал министру финансов, а сам живет в маленьком домике. Я же сказал вам, что он человек прижимистый.

– Не очень-то вы ему льстите!

– Послушайте, я ведь его почти не знаю; я встречался с ним раза три. Все, что мне о нем известно, я слышал от аббата Бузони и от него самого. Он говорил мне сегодня о своих планах относительно сына и намекнул, что ему надоело держать свои капиталы в Италии, мертвой стране, и что он не прочь пустить свои миллионы в оборот либо во Франции, либо в Англии. Но имейте в виду, что, хотя я отношусь с величайшим доверием к самому аббату Бузони, я все же ни за что не отвечаю.

– Все равно, спасибо вам за клиента; такое имя украшает мои книги, и мой кассир, которому я объяснил, кто такие Кавальканти, очень гордится этим. Кстати, – спрашиваю просто из любознательности, – когда эти люди женят своих сыновей, дают они им приданое?

– Как когда. Я знал одного итальянского князя, богатого, как золотая россыпь, потомка одного из знатнейших тосканских родов, – так он, если его сыновья женились, как ему нравилось, награждал их миллионами, а если они женились против его воли, довольствовался тем, что давал им тридцать экю в месяц. Допустим, что Андреа женится согласно воле отца; тогда майор, быть может, даст ему миллиона два, три. Если это будет, например, дочь банкира, то он, возможно, примет участие в деле тестя своего сына. Но допустим, что невестка ему не понравится; тогда прощайте: папаша Кавальканти берет ключ от своей кассы, дважды поворачивает его в замке, и вот наш Андреа вынужден вести жизнь парижского хлыща, передергивая карты или плутуя в кости.

– Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу; он пожелает взять за женой княжескую корону, Эльдорадо с Потоси в придачу.

– Ошибаетесь, эти знатные итальянцы нередко женятся на простых смертных; они, как Юпитер, любят смешивать породы. Но, однако, дорогой барон, что за вопросы вы мне задаете? Уж не собираетесь ли вы женить Андреа?

– Что ж, – сказал Данглар, – это была бы недурная сделка; а я делец.

– Но не на мадемуазель Данглар, я надеюсь? Не захотите же вы, чтобы Альбер перерезал горло бедному Андреа?

– Альбер! – сказал, пожимая плечами, Данглар. – Ну, ему это все равно.

– Разве он не помолвлен с вашей дочерью?

– То есть мы с Морсером поговаривали об этом браке; но госпожа де Морсер и Альбер...

– Неужели вы считаете, что он плохая партия?

– Ну, мне кажется, мадемуазель Данглар стоит не меньше, чем виконт де Морсер!

– Приданое у мадемуазель Данглар будет действительно недурное, я в этом не сомневаюсь, особенно если телеграф перестанет дурить.

– Дело не только в приданом. Но скажите, кстати...

– Да?

– Почему вы не пригласили Морсера и его родителей на этот обед?

– Я его приглашал, но он должен был ехать с госпожой де Морсер в Дьенн; ей советовали подышать морским воздухом.

– Так, так, – сказал, смеясь, Данглар, – этот воздух должен быть ей полезен.

– Почему это?

– Потому что она дышала им в молодости.

Монте-Кристо пропустил эту колкость мимо ушей.

– Но все-таки, – сказал он, – если Альбер и не так богат, как мадемуазель Данглар, зато, согласитесь, он носит прекрасное имя.

– Что ж, на мой взгляд, и мое не хуже.

– Разумеется, ваше имя пользуется популярностью и само украсило тот титул, которым думали украсить его; по вы слишком умный человек, чтобы не понимать, что некоторые предрассудки весьма прочны и их не искоренить, и потому пятисотлетнее дворянство выше дворянства, которому двадцать лет.

– Как раз поэтому, – сказал Данглар, пытаясь иронически улыбнуться, – я и предпочел бы Андреа Кавальканти Альберу де Морсер.

– Однако, мне кажется, Морсеры ни в чем не уступают Кавальканти? – сказал Монте-Кристо.

– Морсеры!.. Послушайте, дорогой граф, – сказал Данглар, – ведь вы джентльмен, не так ли?

– Надеюсь.

– И к тому же знаток в гербах?

– Немного.

– Ну, так посмотрите на мой; он надежнее, чем герб Морсера.

– Почему?

– Потому что, хотя я и не барон по рождению, я во всяком случае Данглар.

– И что же?

– А он вовсе не Морсер.

– Как, не Морсер?

– Ничего похожего.

– Что вы говорите!

– Меня кто-то произвел в бароны, так что я действительно барон: он же сам себя произвел в графы, так что он совсем не граф.

– Не может быть!

– Послушайте, – продолжал Данглар, – Морсер мой друг, вернее, старый знакомый вот уже тридцать лет; я, знаете, не слишком кичусь своим гербом, потому что никогда не забываю, с чего я начал.

– Это свидетельствует о великом смирении или о великой гордыне, – сказал Монте-Кристо.

– Ну так вот, когда я был мелким служащим, Морсер был простым рыбаком.

– И как его тогда звали?

– Фернан.

– Просто Фернан?

– Фернан Мондего.

– Вы в этом уверены?

– Еще бы! Я купил у него немало рыбы.

– Тогда почему же вы отдаете за его сына свою дочь?

– Потому что Фернан и Данглар – оба выскочки, добились дворянских титулов, разбогатели и стоят друг друга; а все-таки есть вещи, которые про него говорились, а про меня никогда.

– Что же именно?

– Так, ничего.

– А, понимаю; ваши слова напомнили мне кое-что, связанное с именем Фернана Мондего; я уже слышал это имя в Греции.

– В связи с историей Али-паши?

– Совершенно верно.

– Это его тайна, – сказал Данглар, – и, признаюсь, я бы много дал, чтобы раскрыть ее.

– При большом желании это не так трудно сделать.

– Каким образом?

– У вас, конечно, есть в Греции какой-нибудь корреспондент?

– Еще бы!

– В Янине?

– Где угодно найдется.

– Так напишите вашему корреспонденту в Янине и спросите его, какую роль сыграл в катастрофе с Али-Тебелином француз по имени Фернан.

– Вы совершенно правы! – воскликнул Данглар, порывисто вставая. – Я сегодня же напишу.

– Напишите.

– Непременно.

– И если узнаете что-нибудь скандальное...

– Я вам сообщу.

– Буду вам очень благодарен.

Данглар выбежал из комнаты и бросился к своему экипажу.

Х. Кабинет королевского прокурора

Пока банкир мчится домой, последуем за г-жой Данглар в ее утренней прогулке.

Мы уже сказали, что в половине первого г-жа Данглар велела подать лошадей и выехала из дому.

Она направилась к Сен-Жерменскому предместью, свернула на улицу Мазарини и приказала остановиться у пассажа Нового моста.

Она вышла и пересекла пассаж. Она была одета очень просто, как и подобает элегантной женщине, выходящей из дому утром.

На улице Генего она наняла фиакр и велела ехать на улицу Арле.

Оказавшись в экипаже, она тотчас достала из кармана очень густую черную вуаль и прикрепила ее к своей соломенной шляпке; затем она снова надела шляпку и, взглянув в карманное зеркальце, с радостью убедилась, что можно разглядеть только ее белую кожу и блестящие глаза.

Фиакр проехал Новый мост и с площади Дофина свернул во двор Арло; едва кучер открыл дверцу, г-жа Данглар заплатила ему, бросилась к лестнице, быстро по ней поднялась и вошла в зал Неслышных Шагов.

Утром в здании суда всегда много дел и много занятых людей; а занятым людям некогда разглядывать женщин; и г-жа Данглар прошла весь зал Неслышных Шагов, привлекая к себе не больше внимания, чем десяток других женщин, ожидавших своих адвокатов.

Приемная Вильфора была полна народу; но г-же Данглар даже не понадобилось называть себя; как только она появилась, к ней подошел курьер, осведомился, не она ли та дама, которой господин королевский прокурор назначил прийти, и, после утвердительного ответа, провел ее особым коридором в кабинет Вильфора.

Королевский прокурор сидел в кресле, спиной к двери, и писал. Он слышал, как открылась дверь, как курьер сказал: «Пожалуйста, сударыня», как дверь закрылась, и даже не шевельнулся; но едва замерли шаги курьера, он быстро поднялся, запер дверь на ключ, спустил шторы и заглянул во все углы кабинета.

Убедившись, что никто не может ни подсмотреть, ни подслушать его, и, следовательно, окончательно успокоившись, он сказал:

– Благодарю вас, что вы так точны, сударыня.

И он подвинул ей кресло; г-жа Данглар села, ее сердце билось так сильно, что она едва дышала.

– Давно уже я не имел счастья беседовать с вами наедине, сударыня, – сказал королевский прокурор, в свою очередь усаживаясь в кресло и поворачивая его так, чтобы очутиться лицом к лицу с г-жой Данглар, – и, к великому моему сожалению, мы встретились для того, чтобы приступить к очень тяжелому разговору.

– Однако вы видите, я пришла по первому вашему зову, хотя этот разговор должен быть еще тяжелее для меня, чем для вас.

Вильфор горько улыбнулся.

– Так, значит, правда, – сказал он, отвечая скорее на собственные мысли, чем на слова г-жи Данглар, – значит, правда, что все наши поступки оставляют на нашем прошлом след, то мрачный, то светлый! Правда, что наши шаги на жизненном пути похожи на продвижение пресмыкающегося по песку и проводят борозду! Увы, многие поливают эту борозду слезами!

– Сударь, – сказала г-жа Данглар, – вы понимаете, как я взволнована, не правда ли? Пощадите же меня, прошу вас. В этой комнате, в этом кресле побывало столько преступников, трепещущих и пристыженных... и теперь здесь сижу я, тоже пристыженная и трепещущая!..

Знаете, мне нужно собрать всю свою волю, чтобы не чувствовать себя преступницей и не видеть в вас грозного судью.

Вильфор покачал головой и тяжело вздохнул.

– А я, – возразил он, – я говорю себе, что мое место не в кресле судьи, а на скамье подсудимых.

– Ваше? – сказала удивленная г-жа Данглар.

– Да, мое.

– Мне кажется, что вы, с вашими пуританскими взглядами, преувеличиваете, – сказала г-жа Данглар, и в ее красивых глазах блеснул огонек. – Чья пламенная юность не оставила следов, о которых вы говорите? На дне всех страстей, за всеми наслаждениями лежит раскаяние; потому-то Евангелие – извечное прибежище несчастных – и дало нам, бедным женщинам, как опору, чудесную притчу о грешной деве и прелюбодейной жене. И, признаюсь, вспоминая об увлечениях своей юности, я иногда думаю, что господь простит мне их, потому что если не оправдание, то искупление, я нашла в своих страданиях. Но вам-то чего бояться? Вас, мужчин, всегда оправдывает свет, а скандал окружает ореолом.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – вы меня знаете; я не лицемер, во всяком случае я никогда не лицемерю без оснований. Если мое лицо сурово, то это потому, что ею омрачили бесконечные несчастья; и если бы мое сердце не окаменело, как оно вынесло бы все удары, которые я испытал? Не таков я был в юности, не таков я был в день своего обручения, когда мы сидели за столом, на улице Гран-Кур, в Марселе. Но с тех пор многое переменилось и во мне и вокруг меня; всю жизнь я потратил на то, что преодолевал препятствия и сокрушал тех, кто вольно или невольно, намеренно или случайно стоял на моем пути и воздвигал эти препятствия. Редко случается, чтобы то, чего пламенно желаешь, столь же пламенно не оберегали другие люди. Хочешь получить от них желаемое, пытаешься вырвать его у них из рук. И большинство дурных поступков возникает перед людьми под благовидной личиной необходимости; а после того как в минуту возбуждения, страха или безумия дурной поступок уже совершен, видишь, что ничего не стоило избежать его. Способ, которым надо было действовать, не замеченный нами в минуту ослепления, оказывается таким простым и легким; и мы говорим себе: почему я не сделал то, а сделал это? Вас, женщин, напротив, раскаяние тревожит редко, потому что вы редко сами принимаете решения; ваши несчастья почти никогда не зависят от вас, вы повинны почти всегда только в чужих преступлениях.

– Во всяком случае, – отвечала г-жа Данглар, – вы должны признать, что если я и виновата, если это я ответственна за все, то вчера я понесла жестокое наказание.

– Несчастливая женщина! – сказал Вильфор, сжимая ее руку. – Наказание слишком жестокое, потому что вы дважды готовы были изнеможеть под его тяжестью, а между тем...

– Между тем?..

– Я должен вам сказать... соберите все свое мужество, сударыня, потому что это еще не конец.

– Боже мой! – воскликнула испуганная г-жа Данглар. – Что же еще?

– Вы думаете только о прошлом; нет слов, оно мрачно. Но представьте себе будущее, еще более мрачное, будущее... несомненно, ужасное... быть может, обгаренное кровью!

Баронесса знала, насколько Вильфор хладнокровен; она была так испугана его словами, что хотела закричать, но крик замер у нее в горле.

– Как воскресло это ужасное прошлое? – воскликнул Вильфор. – Каким образом из глубины могилы, со дна наших сердец встал этот призрак, чтобы заставить нас бледнеть от ужаса и краснеть от стыда?

– Это случайность.

– Случайность! – возразил Вильфор. – Нет, нет, сударыня, случайностей не бывает!

– Да нет же; разве все это не случайность, хотя и роковая? Граф Монте-Кристо случайно купил этот дом, случайно велел копать землю. И разве не случайность, наконец, что под деревьями откопали этого несчастного младенца? Мой бедный малютка, я его ни разу не поцеловала, но столько слез о нем пролила! Вся моя душа рвалась к графу, когда он говорил об этих дорогих останках, найденных под цветами!

– Нет, сударыня, – глухо промолвил Вильфор, – вот то ужасное, что я должен вам сказать: под цветами не нашли никаких останков, ребенка не откопали. Не к чему плакать, не к чему стонать, – надо трепетать!

– Что вы хотите сказать? – воскликнула г-жа Данглар, вся дрожа.

– Я хочу сказать, что граф Монте-Кристо, копая землю под этими деревьями, не мог найти ни детского скелета, ни железных частей ящичка, потому что там не было ни того, ни другого.

– Ни того, ни другого? – повторила г-жа Данглар, в ужасе глядя на королевского прокурора широко раскрытыми глазами. – Ни того, ни другого! – повторила она еще раз, как человек, который старается словами, звуком собственного голоса закрепить ускользающую мысль.

– Нет, нет, нет, – проговорил Вильфор, закрывая руками лицо.

– Стало быть, вы не там похоронили несчастного ребенка? Зачем вы обманули меня? Скажите, зачем?

– Нет, там. Но выслушайте меня, выслушайте, и вы пожалеете меня. Двадцать лет, не делясь с вами, я нес это мучительное бремя, но сейчас я вам все расскажу.

– Боже мой, вы меня пугаете! Но все равно, говорите, я слушаю.

– Вы помните, как прошла та несчастная ночь, когда вы задохались на своей постели в этой комнате, обитой красным штофом, а я, почти так же задохаясь, как вы, ожидал конца. Ребенок появился на свет и был передан в мои руки недвижимый, бездыханный, безгласный; мы сочли его мертвым.

Госпожа Данглар сделала быстрое движение, словно собираясь вскочить.

Но Вильфор остановил ее, сложив руки, точно умоляя слушать дальше.

– Мы сочли его мертвым, – повторил он, – я положил его в ящичек, который должен был заменить гроб, спустился в сад, вырыл могилу и поспешно его закопал. Едва я успел засыпать его землей, как на меня напал корсиканец. Передо мной мелькнула чья-то тень, и словно сверкнула молния. Я почувствовал боль, хотел крикнуть, ледяная дрожь охватила мое тело, сдавила горло... Я упал замертво и считал себя убитым. Никогда не забуду вашего несравненного мужества, когда, придя в себя, я подполз, полумертвый, к лестнице, и вы, сами полумертвая, спустились ко мне. Необходимо было сохранить в тайне ужасное происшествие; у вас хватило мужества вернуться к себе домой вместе с вашей кормилицей; свою рану я объяснил дуэлью. Вопреки ожиданию, нам удалось сохранить нашу тайну; меня перевезли в Версаль; три месяца я боролся со смертью; наконец я медленно стал возвращаться к жизни, и мне предписали солнце и воздух юга. Четыре человека несли меня из Парижа в Шалон, делая по шести лье в день. Госпожа де Вильфор следовала за носилками в экипаже. Из Шалона я поплыл по Соне, оттуда по Роне и спустился по течению до Арля; в Арле меня снова положили на носилки, и так я добрался до Марселя. Мое выздоровление длилось полгода; я ничего не слышал о вас, не смел справиться, что с вами. Когда я вернулся в Париж, я узнал, что вы овдовели и вышли замуж за Данглара.

О чем я думал с тех пор, как ко мне вернулось сознание? Все об одном, о трупике младенца. Каждую ночь мне снилось, что он выходит из могилы и грозит мне рукой. И вот, едва возвратясь в Париж, я осведомился; в доме никто не жил с тех пор, как мы его покинули, но его только что сдали на девять лет. Я отправился к съемщику, сделал вид, что мне очень не хочется, чтобы дом, принадлежавший родителям моей покойной жены, перешел в чужие руки, и предложил уплатить неустойку за расторжение договора. С меня потребовали шесть тысяч франков; я бы готов был заплатить и десять и двадцать тысяч. Деньги были у меня с собой, и договор тут же расторгли; добившись этого, я поскакал в Отейль. Никто не входил в этот дом с той минуты, как я из него вышел.

Было пять часов дня; я поднялся в красную комнату и стал ждать наступления ночи.

Пока я ждал там, все, что я целый год повторял себе в безысходной тревоге, представилось мне еще более грозным.

Этот корсиканец объявил мне кровную месть; он последовал за мной из Нима в Париж, он спрятался в саду и ударил меня кинжалом. И этот корсиканец видел, как я рыл могилу, как хоронил младенца; он мог узнать, кто вы такая; быть может, он это узнал... Что, если он когда-нибудь заставит вас заплатить за сохранение ужасной тайны?.. Для него это будет самой сладкой мезью, когда он узнает, что не убил меня своим кинжалом. Поэтому необходимо было, на всякий случай, как можно скорее уничтожить все следы прошлого, уничтожить все его вещественные улики, достаточно того, что оно всегда будет живо в моей памяти.

Вот для чего я уничтожил договор, для чего прискакал сюда и теперь ждал в этой комнате.

Наступила ночь; я ждал, чтобы совсем стемнело; я сидел без света, от порывов ветра колыхались драпировки, и мне за ними мерещились притаившиеся шпионы; я поминутно вздрагивал, за спиной у меня стояла кровать, мне чудились ваши стоны, и я боялся обернуться. В

этом безмолвии я слышал, как бьется мое сердце; оно билось так сильно, что, казалось, моя рана снова откроется; наконец, один за другим замерли все звуки в селенье. Я понял, что мне больше нечего опасаться, что никто не увидит и не услышит меня, и я решился спуститься в сад.

Знаете, Эрмина, я не трусливей других. Но когда я снял висевший у меня на груди ключик от лестницы, который нам обоим был так дорог и который вы привесили к золотому кольцу, когда я открыл дверь и увидел, как длинный белый луч луны, скользнув в окно, стелется по витым ступеням, словно привидение, я схватился за стену и чуть не закричал; мне казалось, что я схожу с ума.

Наконец, мне удалось овладеть собой. Я начал медленно спускаться; я не мог только побороть странную дрожь в коленях. Я цеплялся за перила, иначе я упал бы.

Я добрался до нижней двери; за нею оказался заступ, прислоненный к стене. У меня был с собой потайной фонарь; дойдя до середины лужайки, я остановился и зажег его, потом пошел дальше.

Был конец ноября, сад стоял оголенный, деревья, словно скелеты, протягивали длинные, иссохшие руки, опавшие листья и песок шуршали у меня под ногами.

Такой ужас сжимал мое сердце, что, Подходя к рощице, я вынул из кармана пистолет и взвел курок. Мне все время мерещилось, что из-за ветвей выглядывает корсиканец.

Я осветил кусты потайным фонарем; там никого не было. Я огляделся: я был совсем один; ни один звук не нарушал безмолвия, только сова кричала пронзительно и зловеще, словно взывая к призракам ночи.

Я повесил фонарь на раздвоенную ветку, которую заметил еще в прошлом году как раз над тем местом, где я тогда выкопал могилу.

За лето здесь выросла густая трава, а осенью никто ее не косил. Все же мне бросилось в глаза одно место, не такое заросшее; было очевидно, что я копал тогда именно здесь. Я принялся за работу.

Наступила, наконец, минута, которой я ждал уже больше года!

Зато как я надеялся, как старательно рыл, как исследовал каждый комок дерна, когда мне казалось, что заступ на что-то наткнулся! Ничего! А между тем я вырыл яму вдвое больше первой. Я подумал, что ошибся, не узнал места; я осмотрел местность, вглядывался в деревья, старался припомнить все подробности. Холодный, пронизывающий ветер свистел в голых ветвях, а с меня градом катился пот. Я помнил, что меня ударили кинжалом в ту минуту, когда я утапывал землю на могиле; при этом я опирался рукой о ракитник; позади меня находилась искусственная скала, служившая скамьей для гуляющих; и, падая, я рукой задел этот холодный камень. И теперь ракитник был справа от меня и скала позади; я бросился на землю в том же положении, как тогда, потом встал и начал снова копать, расширяя яму. Ничего! Опять ничего! Ящичка не было.

– Не было? – прошептала г-жа Данглар, задыхаясь от ужаса.

– Не думайте, что я ограничился этой попыткой, – продолжал Вильфор, – нет. Я обшарил всю рощу; я подумал, что убийца, откопав ящичек и думая найти в нем сокровище, мог взять его и унести, а потом, убедившись в своей ошибке, мог снова закопать его; но нет, я ничего не нашел. Затем у меня мелькнула мысль, что он мог и не принимать таких мер предосторожности, а попросту забросить его куда-нибудь. В таком случае, чтобы продолжать поиски, мне надо было дожидаться рассвета. Я вернулся в комнату и стал ждать.

– О боже мой!

– Как только рассвело, я снова спустился в сад. Первым делом я снова осмотрел рощу; я надеялся найти там какие-нибудь следы, которых мог не заметить в темноте. Я перекопал землю на пространстве в двадцать с лишним футов и на два с лишним фута вглубь. Наемный рабочий за день не сделал бы того, что я проделал в час. И я ничего не нашел, ровно ничего.

Тогда я стал искать ящичек, исходя из предположения, что его куда-нибудь закинули. Это могло произойти по дороге к калитке; но и эти поиски оказались такими же бесплодными, и, скрепя сердце, я вернулся к роще, на которую тоже не питал больше никаких надежд.

– Было от чего сойти с ума! – воскликнула г-жа Данглар.

– Одну минуту я на это надеялся, – сказал Вильфор, – но это счастье не было дано мне. Все же я собрал все свои силы, напряг свой ум и спросил себя: зачем этот человек унес бы с собой труп?

– Да вы же сами сказали, – возразила г-жа Данглар, – чтобы иметь в руках доказательство.

– Нет, сударыня, этого уже не могло быть; труп не скрывают в течение целого года, его предъявляют властям и дают показания. А ничего такого не было.

– Но что же тогда? – спросила, дрожа, Эрмина.

– Тогда нечто более ужасное, более роковое, более грозное для нас: вероятно, младенец был жив и убийца спас его.

Госпожа Данглар дико вскрикнула и схватила Вильфора за руки.

– Мой ребенок был жив! – сказала она. – Вы похоронили моего ребенка живым! Вы не были уверены, что он мертв, и вы его похоронили!

Госпожа Данглар выпрямилась во весь рост и стояла перед королевским прокурором, глядя почти с угрозой, стискивая его руки своими тонкими руками.

– Разве я мог знать? Ведь это только мое предположение, – ответил Вильфор; его остановившийся взгляд показывал, что этот сильный человек стоит на грани отчаяния и безумия.

– Мое дитя, мое бедное дитя! – воскликнула баронесса, снова падая в кресло и стараясь платком заглушить рыдания.

Вильфор пришел в себя и понял, что, для того чтобы отвратить от себя материнский гнев, ему необходимо внушить г-же Данглар тот же ужас, которым охвачен он сам.

– Ведь вы понимаете, что, если это так, мы погибли, – сказал он, вставая и подходя к баронессе, чтобы иметь возможность говорить еще тише. – Этот ребенок жив, и кто-то знает об этом, кто-то владеет нашей тайной; а раз Монте-Кристо говорит при нас об откопанном ребенке, когда этого ребенка там уже не было, – значит, этой тайной владеет он.

– Боже справедливый! Это твоя месть, – прошептала г-жа Данглар.

Вильфор ответил каким-то рычанием.

– Но ребенок, где ребенок? – твердила мать.

– О, как я искал его! – сказал Вильфор, ломая руки. – Как я призывал его в долгие бессонные ночи! Я жаждал обладать королевскими сокровищами, чтобы у миллионов людей купить их тайны и среди этих тайн разыскать свою! Наконец однажды, когда я в сотый раз взялся за заступ, я в сотый раз спросил себя, что же мог сделать с ребенком этот корсиканец; ведь ребенок обуза для беглеца; быть может, видя, что он еще жив, он бросил его в реку?

– Не может быть! – воскликнула г-жа Данглар. – Из мести можно убить человека, но нельзя хладнокровно утопить ребенка!

– Быть может, – продолжал Вильфор, – он снес его в Воспитательный дом?

– Да, да, – воскликнула баронесса, – конечно, он там!

– Я бросился в Воспитательный дом и узнал, что в эту самую ночь, на двадцатое сентября, у входа был положен ребенок; он был завернут в половину пеленки из топкого полотна; пеленка, видимо, нарочно была разорвана так, что на этом куске остались половина баронской короны и буква Н.

– Так и есть, – воскликнула г-жа Данглар, – все мое белье было помечено так; де Наргон был бароном, это мои инициалы. Слава богу! Мой ребенок не умер.

– Нет, не умер.

– И вы говорите это! Вы не боитесь, что я умру от радости? Где же он? Где мое дитя?

Вильфор пожал плечами.

– Да разве я знаю! – сказал он. – Неужели вы думаете, что, если бы я знал, я бы заставил вас пройти через все эти волнения, как делают драматурги и романисты? Увы, я не знаю. За шесть месяцев до того за ребенком пришла какая-то женщина и принесла другую половину пеленки. Эта женщина представила все требуемые законом доказательства, и ей отдали ребенка.

– Вы должны были узнать, кто эта женщина, разыскать ее.

– А что же я, по-вашему, делал? Под видом судебного следствия я пустил по ее следам самых ловких сыщиков, самых опытных полицейских агентов. Ее путь проследили до Шалона; там след потерялся.

– Потерялся?

– Да, навсегда.

Госпожа Данглар выслушала рассказ Вильфора, отвечая на каждое событие то вздохом, то слезой, то восклицанием.

– И это все? – сказала она. – И вы этим ограничились?

– Нет, – сказал Вильфор, – я никогда не переставал искать, разузнавать, собирать сведения. Правда, последние два-три года я дал себе некоторую передышку. Но теперь я снова

примусь еще настойчивей, еще упорней, чем когда-либо. И я добьюсь успеха, слышите; потому что теперь меня подгоняет уже не совесть, а страх.

– Я думаю, граф Монте-Кристо ничего не знает, – сказала г-жа Данглар, – иначе, мне кажется, он не стремился бы сблизиться с нами, как он это делает.

– Людская злоба не имеет границ, – сказал Вильфор, – она безграничнее, чем божье милосердие. Обратили вы внимание на глаза этого человека, когда он говорил с нами?

– Нет.

– А вы когда-нибудь смотрели на него внимательно?

– Конечно. Он очень странный человек, но и только. Одно меня поразило: за этим изысканным обедом, которым он нас угощал, он ни до чего не дотронулся, не попробовал ни одного кушанья.

– Да, да, – сказал Вильфор, – я тоже заметил. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, я бы тоже ни до чего не дотронулся; я бы думал, что он собирается нас отравить.

– И ошиблись бы, как видите.

– Да, конечно; но поверьте, у этого человека другие планы. Вот почему я хотел вас видеть и поговорить с вами, вот почему я хотел вас предостеречь против всех, а главное – против него. Скажите, – продолжал Вильфор, еще пристальнее, чем раньше, глядя на баронессу, – вы никому не говорили о нашей связи?

– Никогда и никому.

– Простите мне мою настойчивость, – мягко продолжал Вильфор, – когда я говорю – никому, это значит никому на свете, понимаете?

– Да, да, я прекрасно понимаю, – сказала, краснея, баронесса, – никогда, клянусь вам!

– У вас пет привычки записывать по вечерам то, что было днем? Вы не ведете дневника?

– Нет. Моя жизнь проходит в суете; я сама ее не помню.

– А вы не говорите во сне?

– Я сплю, как младенец. Разве вы не помните?

Краска залила лицо баронессы, и смертельная бледность покрыла лицо Вильфора.

– Да, правда, – произнес он еле слышно.

– Но что же дальше? – спросила баронесса.

– Дальше? Я знаю, что мне остается делать, – отвечал Вильфор. – Не пройдет и недели, как я буду знать, кто такой этот Монте-Кристо, откуда он явился, куда направляется и почему он нам рассказывает о младенцах, которых откапывают в его саду.

Вильфор произнес эти слова таким тоном, что граф вздрогнул бы, если бы мог их слышать.

Затем он пожал руку, которую неохотно подала ему баронесса, и почтительно проводил ее до двери.

Госпожа Данглар наняла другой фиакр, доехала до пассажа и по ту его сторону нашла свой экипаж и своего кучера, который, поджидая ее, мирно дремал на козлах.

XI. Приглашение

В тот же день, примерно в то время, когда г-жа Данглар была на описанном нами приеме в кабинете королевского прокурора, на улице Эльдер показалась дорожная коляска, въехала в ворота дома № 27 и остановилась во дворе.

Дверца коляски открылась, и из нее вышла г-жа де Морсер, опираясь на руку сына.

Альбер проводил мать в ее комнаты, тотчас же заказал себе ванну и лошадей, а выйдя из рук камердинера, велел отвезти себя на Елисейские Поля, к графу Монте-Кристо.

Граф принял его со своей обычной улыбкой. Странная вещь: невозможно было хоть сколько-нибудь продвинуться вперед в сердце или уме этого человека. Всякий, кто пытался, если можно так выразиться, насильно войти в его душу, наталкивался на непреодолимую стену.

Морсер, который кинулся к нему с распростертыми объятиями, увидав его, невольно опустил руки и, несмотря на приветливую улыбку графа, осмелился только на рукопожатие.

Со своей стороны, Монте-Кристо, как всегда, только дотронулся до его руки, не пожал ее.

– Ну, вот и я, дорогой граф, – сказал Альбер.

– Добро пожаловать.

– Я приехал только час тому назад.

– Из Дьеппа?

– Из Трепора.

- Ах, да, верно.
- И мой первый визит – к вам.
- Это очень мило с вашей стороны, – сказал Монте-Кристо таким же безразличным тоном, как сказал бы любую другую фразу.
- Ну, скажите, что нового?
- Что нового? И вы спрашиваете об этом у меня, у приезжего?
- Вы меня не поняли; я хотел спросить, сделали ли вы что-нибудь для меня?
- Разве вы мне что-нибудь поручали? – сказал Монте-Кристо, изображая беспокойство.
- Да ну же, не притворяйтесь равнодушным, – сказал Альбер. – Говорят, что существует симпатическая связь, которая действует на расстоянии; так вот, в Трепоре я ощутил такой электрический ток; может быть, вы ничего не сделали для меня, по во всяком случае думали обо мне.
- Это возможно, – сказал Монте-Кристо. – Я в самом деле думал о вас, но магнетический ток, коего я был проводником, действовал, признаюсь, помимо моей воли.
- Разве? Расскажите, как это было.
- Очень просто. У меня обедал Данглар.
- Это я знаю; ведь мы с матушкой для того и уехали, чтобы избежать встречи с ним.
- Но он обедал в обществе Андреа Кавальканти.
- Вашего итальянского князя?
- Не надо преувеличивать. Андреа называет себя всего только виконтом.
- Называет себя?
- Вот именно.
- Так он не виконт?
- Откуда мне знать? Он сам себя так называет, так его называю я, так его называют другие, – разве это не все равно, как если бы он в самом деле был виконтом?
- Оригинальные мысли вы высказываете! Итак?
- Что итак?
- У вас обедал Данглар?
- Да.
- И ваш виконт Андреа Кавальканти?
- Виконт Андреа Кавальканти, маркиз – его отец, госпожа Данглар, Вильфор с женой, очаровательные молодые люди – Дебрэ, Максимилиан Моррель и... кто же еще? постойте... ах, да, Шато-Рено.
- Говорили обо мне?
- Ни слова.
- Тем хуже.
- Почему? Вы ведь, кажется, сами хотели, чтобы о вас забыли, – вот ваше желание и исполнилось.
- Дорогой граф, если обо мне не говорили, то, стало быть, обо мне много думали, а это приводит меня в отчаяние.
- Не все ли вам равно, раз мадемуазель Данглар не была в числе тех, кто о вас там думал? Да, впрочем, она могла думать о вас у себя дома.
- О, на этот счет я спокоен; а если она и думала обо мне, то в том же духе, как я о ней.
- Какая трогательная симпатия! – сказал граф. – Значит, вы друг друга ненавидите?
- Видите ли, – сказал Морсер, – если бы мадемуазель Данглар была способна снизойти к мучениям, которых я, впрочем, из-за нее не испытываю, и вознаградить меня за них, не считаясь с брачными условиями, о которых договорились наши семьи, то я был бы в восторге. Короче говоря, я считаю, что из мадемуазель Данглар вышла бы очаровательная любовница, но в роли жены, черт возьми...
- Недурного вы мнения о своей будущей жене, – сказал, смеясь, Монте-Кристо.
- Ну да, это немного грубо сказано, конечно, но зато верно. А эту мечту нельзя претворить в жизнь, – и для того, чтобы достичь известной цели, необходимо, чтобы мадемуазель Данглар стала моей женой, то есть жила вместе со мной, думала рядом со мной, пела рядом со мной, занималась музыкой и писала стихи в десяти шагах от меня, и все это в течение всей моей жизни. От всего этого я прихожу в ужас. С любовницей можно расстаться, но жена, черт возьми,

это другое дело, с нею вы связаны навсегда, вблизи или на расстоянии, безразлично. А быть вечно связанным с мадемуазель Данглар, даже на расстоянии, об этом и подумать страшно.

– На вас не угодишь, виконт.

– Да, потому что я часто мечтаю о невозможном.

– О чем же это?

– Найти такую жену, какую нашел мой отец.

Монте-Кристо побледнел и взглянул на Альбера, играя парой великолепных пистолетов и быстро щелкая их курками.

– Так ваш отец очень счастлив? – спросил он.

– Вы знаете, какого я мнения о моей матери, граф: она ангел. Посмотрите на нее: она все еще прекрасна, умна, как всегда, добрее, чем когда-либо. Мы только что были в Трепоре; обычно для сына сопровождать мать – значит, оказать ей снисходительную любезность или отбыть тяжелую повинность; я же провел наедине с ней четыре дня, и, скажу вам, я чувствую себя счастливее, свежее, поэтичнее, чем если бы я возил в Трепор королеву Маб или Титанию.

– Такое совершенство может привести в отчаяние; слушая вас, но на шутку захочешь остаться холостяком.

– В этом все дело, – продолжал Альбер. – Зная, что на свете существует безупречная женщина, я не стремлюсь жениться на мадемуазель Данглар. Замечали вы когда-нибудь, какими яркими красками наделяет наш эгоизм все, что нам принадлежит? Бриллиант, который играл в витрине у Марле или Фоссена, делается еще прекраснее, когда он становится нашим. Но если вы убедитесь, что есть другой, еще более чистой воды, а вам придется всегда носить худший, то, право, это пытка!

– О, суетность! – прошептал граф.

– Вот почему я запрыгаю от радости в тот день, когда мадемуазель Эжени убедится, что я всего лишь ничтожный атом и что у меня едва ли не меньше сотен тысяч франков, чем у нее миллионов.

Монте-Кристо улыбнулся.

– У меня уже, правда, мелькала одна мысль, – продолжал Альбер. – Франц любит все эксцентричное; я хотел заставить его влюбиться в мадемуазель Данглар. Я написал ему четыре письма, рисуя ее самыми заманчивыми красками, но Франц невозмутимо ответил: «Я, правда, человек эксцентричный, но все же не настолько, чтобы изменить своему слову».

– Вот что значит самоотверженный друг: предлагает другому в жены женщину, которую сам хотел бы иметь только любовницей.

Альбер улыбнулся.

– Кстати, – продолжал он, – наш милый Франц все возвращается; впрочем, вы его, кажется, не любите?

– Я? – сказал Монте-Кристо, – помилуйте, дорогой виконт, с чего вы взяли, что я его не люблю? Я всех люблю.

– В том числе и меня... Благодарю вас.

– Не будем смешивать понятий, – сказал Монте-Кристо. – Всех я люблю так, как господь велит нам любить своих ближних, – христианской любовью; но ненавижу я от всей души только некоторых. Однако вернемся к Францу д'Эпине. Так вы говорите, он скоро приедет?

– Да, его вызвал Вильфор. Похоже, что Вильфору так же не терпится выдать замуж мадемуазель Валентину, как Данглару мадемуазель Эжени. Очевидно, иметь взрослую дочь – дело не легкое; отца от этого лихорадит, и его пульс делает девяносто ударов в минуту до тех пор, покуда он от нее не избавится.

– Но господин д'Эпине, по-видимому, не похож на вас; он терпеливо переносит свое положение.

– Больше того, Франц принимает это всерьез: он носит белый галстук и уже говорит о своей семье. К тому же он очень уважает Вильфоров.

– Вполне заслуженно, мне кажется?

– По-видимому, Вильфор всегда слыл человеком строгим, но справедливым.

– Славу богу, – сказал Монте-Кристо, – вот по крайней мере человек, о котором вы говорите не так, как о бедном Дангларе.

– Может быть, это потому, что я не должен жениться на его дочери, – ответил, смеясь, Альбер.

– Вы возмутительный фат, дорогой мой, – сказал Монте-Кристо.

- Я?
- Да, вы. Но возьмите сигару.
- С удовольствием. А почему вы считаете меня фатом?
- Да потому, что вы так яростно защищаетесь и бунтуете против женитьбы на мадемуазель Данглар. А вы оставьте все идти своим чередом. Может быть, вовсе и не вы первый откажетесь от своего слова.
- Вот как! – сказал Альбер, широко открыв глаза.
- Да не запрягут же вас насильно, черт возьми! Но послушайте, виконт, – продолжал Монте-Кристо другим тоном, – вы всерьез хотели бы разрыва?
- Я дал бы за это сто тысяч франков.
- Ну, так радуйтесь. Данглар готов заплатить вдвое, чтобы добиться той же цели.
- Правда? Вот счастье! – сказал Альбер, по лицу которого все же пробежало легкое облачко. – Но, дорогой граф, стало быть, у Данглара есть для этого причины?
- Вот она гордость и эгоизм! Люди всегда так – по самолюбию ближнего готовы бить топором, а когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят.
- Да нет же! Но мне казалось, что Данглар...
- Должен быть в восторге от вас, да? Но как известно, у Данглара плохой вкус, и он в еще большем восторге от другого...
- От кого же это?
- Да я не знаю; наблюдайте, следите, ловите на лету намеки и обращайтесь все это себе на пользу.
- Так, понимаю. Послушайте, моя мать... нет, вернее, мой отец хочет дать бал.
- Бал в это время года?
- Теперь в моде летние балы.
- Будь они по в моде, графине достаточно было бы пожелать, и они стали бы модными.
- Недурно сказано. Понимаете, это чисто парижские балы; те, кто остается на июль в Париже, – это настоящие парижане. Вы не возьметесь передать приглашение господам Кавальканти?
- Когда будет бал?
- В субботу.
- К этому времени Кавальканти-отец уже уедет.
- Но Кавальканти-сын останется. Может быть, вы привезете его?
- Послушайте, виконт, я его совсем не знаю.
- Не знаете?
- Нет; я в первый раз в жизни видел его дня четыре назад и совершенно за него не отвечаю.
- Но вы же принимаете его?
- Я – другое дело; мне его рекомендовал один почтенный аббат, который, может быть, сам был введен в заблуждение. Если вы пригласите его сами – отлично, а мне это неудобно; если он вдруг женится на мадемуазель Данглар, вы обвините меня в происках и захотите со мной драться; наконец, я не знаю, буду ли я сам.
- Где?
- У вас на балу.
- А почему?
- Во-первых, потому что вы меня еще не пригласили.
- Я для того и приехал, чтобы лично пригласить вас.
- О, это слишком любезно с вашей стороны. Но я, возможно, буду занят.
- Я вам скажу одну вещь, и, надеюсь, вы пожертвуете своими занятиями.
- Так скажите.
- Вас просит об этом моя мать.
- Графиня де Морсер? – вздрогнув, спросил Монте-Кристо.
- Должен вам сказать, граф, что матушка вполне откровенна со мной. И если в вас не дрожали те симпатические струны, о которых я вам говорил, значит, у вас их вообще нет, потому что целых четыре дня мы только о вас и говорили.
- Обо мне? Право, вы меня смущаете.
- Что ж, это естественно: ведь вы – живая загадка.

– Неужели и ваша матушка находит, что я загадка? Право, я считал ее слишком рассудительной для такой игры воображения!

– Да, дорогой граф, загадка для всех, и для моей матери тоже; загадка, всеми признанная и никем не разгаданная; успокойтесь, вы все еще остаетесь неразрешенным вопросом. Матушка только спрашивает все время, как это может быть, что вы так молоды. Я думаю, что в глубине души она принимает вас за Калиостро или за графа Сен-Жермен, как графиня Г. – за лорда Рутвена. При первой же встрече с госпожой де Морсер убедите ее в этом окончательно. Вам это не трудно, ведь вы обладаете философским камнем одного и умом другого.

– Спасибо, что предупредили, – сказал, улыбаясь, граф, – я постараюсь оправдать все ожидания.

– Так что вы приедете в субботу?

– Да, раз об этом просит госпожа де Морсер.

– Это очень мило с вашей стороны.

– А Данглар?

– О! ему уже послано тройное приглашение; это взял па себя мой отец. Мы постараемся также заполучить великого д'Агессо¹⁶, господина де Вильфор; но на это мало надежды.

– Пословица говорит, что надежду никогда не следует терять.

– Вы танцуете, граф?

– Я?

– Да, вы. Что было бы удивительного, если бы вы танцевали?

– Да, в самом деле, до сорока лет... Нет, не танцую; но я люблю смотреть на танцы. А госпожа де Морсер танцует?

– Тоже нет; вы будете разговаривать, она так жаждет поговорить с вами!

– Неужели?

– Честное слово! И должен сказать вам, что вы первый человек, с которым моя матушка выразила желание поговорить.

Альбер взял свою шляпу и встал; граф пошел проводить его.

– Я раскаиваюсь, – сказал он, останавливая Альбера на ступенях подъезда.

– В чем?

– В своей нескромности. Я не должен был говорить с вами о Дангларе.

– Напротив, говорите о нем еще больше, говорите почаще, всегда говорите, – но только в том же духе.

– Отлично, вы меня успокаиваете. Кстати, когда возвращается д'Эпине?

– Дней через пять-шесть, не позже.

– А когда его свадьба?

– Как только приедут господин и госпожа де Сен-Меран.

– Привезите его ко мне, когда он приедет. Хотя вы и уверяете, что я его не люблю, но, право же, я буду рад его видеть.

– Слушаю, мой повелитель, ваше желание будет исполнено.

– До свидания!

– Во всяком случае в субботу непременно, да?

– Конечно! Я же дал слово.

Граф проводил Альбера глазами и помахал ему рукой. Затем, когда тот уселся в свой фазтон, он обернулся и увидел Бертулло.

– Ну, что же? – спросил граф.

– Она была в суде, – ответил управляющий.

– И долго там оставалась?

– Полтора часа.

– А потом вернулась домой?

– Прямым путем.

– Так. Теперь, дорогой Бертулло, – сказал граф, – советую вам отправиться в Нормандию и поискать то маленькое поместье, о котором я вам говорил.

¹⁶ Знаменитый судебный деятель XVIII века.

Бертуччо поклонился, и так как его собственные желания вполне совпадали с полученным приказанием, он уехал в тот же вечер.

ХII. Розыски

Вильфор сдержал слово, данное г-же Данглар, а главное самому себе, и постарался выяснить, каким образом граф Монте-Кристо мог знать о событиях, разыгравшихся в доме в Отейле.

Он в тот же день написал некоему де Бовилю, бывшему тюремному инспектору, переведенному с повышением в чине в сыскную полицию. Тот попросил два дня срока, чтобы достоверно узнать, у кого можно получить необходимые сведения.

Через два дня Вильфор получил следующую записку:

«Лицо, которое зовут графом Монте-Кристо, близко известно лорду Уилмору, богатому иностранцу, иногда бывающему в Париже и в настоящее время здесь находящемуся; оно также известно аббату Бузони, сицилианскому священнику, прославившемуся на Востоке своими добрыми делами».

В ответ Вильфор распорядился немедленно собрать об этих иностранцах самые точные сведения. К следующему вечеру его приказание было исполнено, и вот что он узнал.

Аббат, приехавший в Париж всего лишь на месяц, живет позади церкви Сен-Сюльпис, в двухэтажном домике; в доме всего четыре комнаты, две внизу и две наверху, и аббат – его единственный обитатель.

В нижнем этаже расположены столовая, со столом, стульями и буфетом орехового дерева, и гостиная, обшитая деревом и выкрашенная в белый цвет, без всяких украшений, без ковра и стеновых часов. Очевидно, в личной жизни аббат ограничивается только самым необходимым.

Правда, аббат предпочитает проводить время в гостиной второго этажа. Эта гостиная, или скорее библиотека, вся завалена богословскими книгами и рукописями, в которые он, по словам его камердинера, зарывается на целые месяцы.

Камердинер осматривает посетителей через маленький глазок, проделанный в двери, и если лица их ему незнакомы или не нравятся, то он отвечает, что господина аббата в Париже нет, чем многие и удовлетворяются, зная, что аббат постоянно разъезжает и отсутствует иногда очень долго.

Впрочем, дома ли аббат или нет, в Париже он или в Каире, он неизменно помогает бедным, и глазок в дверях служит для милостыни, которую от имени своего хозяина неустанно раздает камердинер.

Смежная с библиотекой комната служит спальней. Кровать без полога, четыре кресла и диван, обитые утрехтским бархатом, составляют вместе с аналоем всю ее обстановку.

Что касается лорда Уилмора, то он живет на улице Фонтен-Сен-Жорж. Это один из тех англичан-туристов, которые тратят на путешествия все свое состояние. Он снимает меблированную квартиру, где проводит не более двух-трех часов в день и где лишь изредка ночует. Одна из его причуд состоит в том, что он наотрез отказывается говорить по-французски, хотя, как уверяют, пишет он пофранцузски прекрасно.

На следующий день после того, как эти ценные сведения были доставлены королевскому прокурору, какойто человек, вышедший из экипажа на углу улицы Феру, постучал в дверь, выкрашенную в зеленовато-оливковый цвет, и спросил аббата Бузони.

– Господин аббат вышел с утра, – ответил камердинер.

– Я мог бы не удовольствоваться таким ответом, – сказал посетитель, – потому что я прихожу от такого лица, для которого все всегда бывают дома. Но будьте любезны передать аббату Бузони...

– Я же вам сказал, что его нет дома, – повторил камердинер.

– В таком случае, когда он вернется, передайте ему вот эту карточку и запечатанный пакет. Можно ли будет застать господина аббата сегодня в восемь часов вечера?

– Разумеется, сударь, если только он не сядет работать; тогда это все равно, как если бы его не было дома.

– Так я вернусь вечером в назначенное время, – сказал посетитель.

И он удалился.

Действительно, в назначенное время этот человек явился в том же экипаже, но на этот раз экипаж не остановился на углу улицы Феру, а подъехал к самой зеленой двери. Человек постучал, ему открыли, и он вошел.

По той почтительности, с какой встретил его камердинер, он понял, что его письмо произвело надлежащее впечатление.

– Господин аббат у себя? – спросил он.

– Да, он занимается в библиотеке; но он ждет вас, сударь, – ответил камердинер.

Незнакомец поднялся по довольно крутой лестнице, и за столом, поверхность которого была ярко освещена лампой под огромным абажуром, тогда как остальная часть комнаты тонула во мраке, он увидел аббата, в священнической одежде, с покрывающим голову капюшоном, вроде тех, что облекали черепа средневековых ученых.

– Я имею честь говорить с господином Бузони? – спросил посетитель.

– Да, сударь, – отвечал аббат, – а вы то лицо, которое господин де Бовиль, бывший тюремный инспектор, направил ко мне от имени префекта полиции?

– Я самый, сударь.

– Один из агентов парижской сыскной полиции?

– Да, сударь, – ответил посетитель с некоторым колебанием, слегка покраснев.

Аббат поправил большие очки, которые закрывали ему не только глаза, но и виски, и снова сел, пригласив посетителя сделать то же.

– Я вас слушаю, сударь, – сказал аббат с очень сильным итальянским акцентом.

– Миссия, которую я на себя взял, сударь, – сказал посетитель, отчеканивая слова, точно он выговаривал их с трудом, – миссия доверительная как для того, на кого она возложена, так и для того, к кому обращаются.

Аббат молча поклонился.

– Да, – продолжал незнакомец, – ваша порядочность, господин аббат, хорошо известна господину префекту полиции, и он обращается к вам как должностное лицо, чтобы узнать у вас нечто, интересующее сыскную полицию, от имени которой я к вам явился. Поэтому мы надеемся, господин аббат, что ни узы дружбы, ни личные соображения не заставят вас утаить истину от правосудия.

– Если, конечно, то, что вы желаете узнать, ни в чем не затрагивает моей совести. Я священник, сударь, и тайна исповеди, например, должна оставаться известной лишь мне и божьему суду, а не мне и людскому правосудию.

– О, будьте спокойны, господин аббат, – сказал посетитель, – мы во всяком случае не потревожим вашей совести.

При этих словах аббат нажал на край абажура так, что противоположная сторона приподнялась и свет полностью падал на лицо посетителя, тогда как лицо аббата оставалось в тени.

– Простите, сударь, – сказал представитель префекта полиции, – но этот яркий свет режет мне глаза.

Аббат опустил зеленый колпак.

– Теперь, сударь, я вас слушаю. Изложите ваше дело.

– Я перехожу к нему. Вы знакомы с графом Монте-Кристо?

– Вы имеете в виду господина Дзакконе?

– Дзакконе!.. Разве его зовут не Монте-Кристо?

– Монте-Кристо название местности, вернее утеса, а вовсе не фамилия.

– Ну что ж, как вам угодно; не будем спорить о словах и раз Монте-Кристо и Дзакконе одно и то же лицо...

– Безусловно одно и то же.

– Поговорим о господине Дзакконе.

– Извольте.

– Я спросил вас, знаете ли вы его?

– Очень даже хорошо.

– Кто он такой?

– Сын богатого мальтийского судовладельца.

– Да, я это слышал; так говорят; но вы понимаете, полиция не может довольствоваться тем, что «говорят».

– Однако, – возразил, мягко улыбаясь, аббат, – если то, что «говорят», правда, то приходится этим довольствоваться и полиции, точно так же, как и всем.

- Но вы уверены в том, что говорите?
- То есть как это, уверен ли я?
- Поймите, сударь, что я отнюдь не сомневаюсь в вашей искренности; я только спрашиваю, уверены ли вы?
- Послушайте, я знал Дзакконе-отца.
- Вот как!
- Да, и еще ребенком я не раз играл с его сыном на верфях.
- А его графский титул?
- Ну, знаете, это можно купить.
- В Италии?
- Повсюду.
- А его богатство, такое огромное, опять-таки, как говорят...
- Вот это верно, – ответил аббат, – богатство действительно огромное.
- А каково оно по-вашему?
- Да, наверно, сто пятьдесят – двести тысяч ливров в год.
- Ну, это вполне приемлемо, – сказал посетитель, – а то говорят о трех, даже о четырех миллионах.
- Двести тысяч ливров годового дохода, сударь, как раз и составляют капитал в четыре миллиона.
- Но ведь говорят о трех или четырех миллионах в год!
- Ну, этого не может быть.
- И вы знаете его остров Монте-Кристо?
- Разумеется; его знает всякий, кто из Палермо, Неаполя или Рима ехал во Францию морем: корабли проходят мимо него.
- Очаровательное место, как уверяют?
- Это утес.
- Зачем же граф купил утес?
- Именно для того, чтобы сделаться графом. В Италии, чтобы быть графом, все еще требуется владеть графством.
- Вы, вероятно, что-нибудь слышали о юношеских приключениях господина Дзакконе?
- Отца?
- Нет, сына.
- Как раз тут я перестаю быть уверенным, потому что именно в юношеские годы я потерял его из виду.
- Он воевал?
- Кажется, он был на военной службе.
- В каких войсках?
- Во флоте.
- Скажите, вы не духовник его?
- Нет, сударь: он, кажется, лютеранин.
- Как лютеранин?
- Я говорю «кажется»; я не утверждаю этого. Впрочем, я думал, что во Франции введена свобода вероисповеданий.
- Разумеется, и нас сейчас интересуют вовсе не его верования, а его поступки; от имени господина префекта полиции я предлагаю вам сказать все, что вам о них известно.
- Его считают большим благотворителем. За выдающиеся услуги, которые он оказал восточным христианам, наш святой отец папа сделал его кавалером ордена Христа, – эта награда обычно жалуются только высочайшим особам. У него пять или шесть высоких орденов за услуги, которые он оказал различным государям и государствам.
- И он их носит?
- Нет, но он ими гордится; он говорит, что ему больше нравятся награды, жалуемые благодетелям человечества, чем те, которые даются истребителям людей.
- Так этот господин – квакер?
- Вот именно, это квакер, но, разумеется, без широкополой шляпы и коричневого сюртука.
- А есть у него друзья?

- Да, все, кто его знает, его друзья.
- Однако есть же у него какой-нибудь враг?
- Один-единственный.
- Как его зовут?
- Лорд Уилмор.
- Где он находится?
- Сейчас он в Париже.
- И он может дать мне о нем сведения?
- Очень ценные. Он был в Индии в одно время с Дзакконе.
- Вы знаете, где он живет?
- Где-то на Шоссе-д'Антен; но я не знаю ни улицы, ни номера дома.
- Вы недолюбливаете этого англичанина?
- Я люблю Дзакконе, а он его терпеть не может; поэтому мы с ним в холодных отношениях.

– Как вы думаете, господин аббат, до этого своего приезда в Париж граф Монте-Кристо когда-нибудь бывал во Франции?

– Нет, сударь, это я могу сказать точно. Во Франции он никогда не был и полгода тому назад обратился ко мне, чтобы собрать нужные ему сведения. Я, со своей стороны, не зная, когда сам буду в Париже, направил к нему господина Кавальканти.

– Андреа?

– Нет, Бартоломео, отца.

– Прекрасно, мне остается задать вам только один вопрос, и я требую, во имя чести, человеколюбия и религии, чтобы вы мне ответили без обиняков.

– Я вас слушаю.

– Известно ли вам, для чего граф Монте-Кристо купил дом в Отейле?

– Разумеется, он мне это сам сказал.

– Для чего же?

– С целью устроить больницу для умалишенных, вроде той, которую основал в Палермо барон Пизапи. Вы знаете эту больницу?

– Я слышал о ней.

– Это великолепное учреждение.

И при этих словах аббат поклонился посетителю с видом человека, желающего дать понять, что он не прочь снова вернуться к прерванной работе.

Понял ли посетитель желание аббата или он исчерпал все свои вопросы, по он встал.

Аббат проводил его до дверей.

– Вы щедро раздаете милостыню, – сказал посетитель, – и хотя вы слывете богатым человеком, я хотел бы предложить вам кое-что для ваших бедных; угодно вам принять мое приношение?

– Благодарю вас, сударь; но единственное, чем я дорожу на свете, это то, чтобы добро, которое я делаю, исходило от меня.

– По все-таки...

– Это мое непоколебимое решение. Но поищите, сударь, и вы найдете. Увы, на пути у каждого богатого столько нищеты!

Аббат открыл дверь, еще раз поклонился; посетитель ответил на поклон и вышел.

Экипаж отвез его прямо к Вильфору.

Через час экипаж снова выехал со двора и на этот раз направился на улицу Фонтен-Сен-Жорж. У дома № 5 он остановился. Именно здесь жил лорд Уилмор.

Незнакомец писал лорду Уилмору, прося о свидании, которое тот и назначил на десять часов вечера. Представитель господина префекта полиции прибыл без десяти минут десять, и ему было сказано, что лорд Уилмор, воплощенная точность и пунктуальность, еще не вернулся, но непременно вернется ровно в десять часов.

Посетитель остался ждать в гостиной.

Эта гостиная ничем не отличалась от обычных гостиных меблированных домов. На камине – две севрские вазы нового производства; часы с амуром, натягивающим лук; двустворчатое зеркало, и по сторонам его – две гравюры: на одной изображен Гомер, несущий своего поводыря, на другой – Велизарий, просящий подаяния; серые обои с серым рисунком; мебель, обитая красным сукном с черными разводами, – такова была гостиная лорда Уилмора.

Она была освещена шарами из матового стекла, распространявшими тусклый свет, как будто нарочно приуменьшенный к утомленному зрению представителя префекта полиции.

После десятиминутного ожидания часы пробили десять; на пятом ударе открылась дверь, и вошел лорд Уилмор.

Лорд Уилмор был человек довольно высокого роста, с редкими рыжими баками, очень белой кожей и белокурыми, с проседью, волосами. Одет он был с чисто английской эксцентричностью: на нем был синий фрак с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротничком, какие носили в 1811 году, белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны, слишком для него короткие и только благодаря штрипкам из той же материи не поднимавшиеся до колен.

Первые его слова были:

– Вам известно, сударь, что я не говорю по-французски?

– Я во всяком случае знаю, что вы не любите говорить на нашем языке, – отвечал представитель префекта полиции.

– Но вы можете говорить по-французски, – продолжал лорд Уилмор, – так как, хоть я и не говорю, но все понимаю.

– А я, – возразил посетитель, переходя на другой язык, – достаточно свободно говорю по-английски, чтобы поддерживать разговор. Можете не стесняться, сударь.

– О! – произнес лорд Уилмор с интонацией, присущей только чистокровным британцам.

Представитель префекта полиции подал лорду Уилмору свое рекомендательное письмо. Тот прочел его с истинно британской флегматичностью; затем, дочитав до конца, сказал по-английски:

– Я понимаю, отлично понимаю.

Посетитель приступил к вопросам.

Они почти совпадали с теми, которые были предложены аббату Бузони. По лорд Уилмор, как человек, настроенный враждебно к графу Монте-Кристо, был не так сдержан, как аббат, и поэтому ответы получились гораздо более пространные. Он рассказал о молодых годах Монте-Кристо, который, по его словам, десяти лет от роду поступил на службу к одному из маленьких индусских властителей, вечно воюющих с Англией; там-то Уилмор с ним и встретился, и они сражались друг против друга. Во время этой войны Дзакконе был взят в плен, отправлен в Англию, водворен на блокшив и бежал оттуда вплавь. После этого начались его путешествия, его дуэли, его любовные приключения. В Греции вспыхнуло восстание, и он вступил в греческие войска. Состоя там на службе, он нашел в Фессалийских горах серебряную руду, но никому ни слова не сказал о своем открытии. После Наварипа, когда греческое правительство упрочилось, он попросил у короля Оттона привилегию на разработку залежей и получил ее. Оттуда и пошло его несметное богатство; по словам лорда Уилмора, оно приносит графу от одного до двух миллионов годового дохода, но тем не менее может неожиданно иссякнуть, если иссякнет рудник.

– А известно вам, зачем он приехал во Францию? – спросил посетитель.

– Он хочет спекулировать на железнодорожном строительстве, – сказал лорд Уилмор, – кроме того, он опытный химик и очень хороший физик, он изобрел новый вид телеграфа и хочет ввести его в употребление.

– Сколько приблизительно он расходует в год? – спросил представитель префекта полиции.

– Не больше пятисот или шестисот тысяч, – сказал лорд Уилмор, – он скуп.

Было ясно, что в англичанине говорит ненависть, и, не зная, что поставить в упрек графу, он обвиняет его в скупости.

– Известно ли вам что-нибудь относительно его дома в Отейле?

– Да, разумеется.

– Ну, и что же вы знаете?

– Вы спрашиваете, с какой целью он купил его?

– Да.

– Так вот, граф – спекулянт и, несомненно, разорится на своих опытах и утопиях: он утверждает, что в Отейле, поблизости от дома, который он купил, имеется минеральный источник, способный конкурировать с целебными водами Баньерде-Люшона и Котре. В этом доме он собирается устроить Vadehaus, как говорят немцы. Он уже раза три перекопал свой сад, чтобы отыскать пресловутый источник, но ничего не нашел, а потому, вы увидите, в скором времени он

скупит все окрестные дома. А так как я на него зол, то я надеюсь, что на своей железной дороге, на своем электрическом телеграфе или на своем ванном заведении он разорится. Я езжу за ним повсюду и намерен насладиться его поражением, которое, рано или поздно, неминуемо.

– А за что вы на него злы? – спросил посетитель.

– За то, – отвечал лорд Уилмор, – что, когда он был в Англии, он соблазнил жену одного из моих друзей.

– Но если вы на него злы, почему вы не пытаетесь отомстить ему?

– Я уже три раза дрался с графом, – сказал англичанин, – в первый раз на пистолетах, во второй раз на шпагах, в третий раз – на эскадронах.

– И какой же был результат этих дуэлей?

– В первый раз он раздробил мне руку; во второй раз он проткнул мне легкое; а в третий нанес мне вот эту рану.

Англичанин отвернул ворот сорочки, доходивший ему до ушей, и показал рубец, воспаленный вид которого указывал на его недавнее происхождение.

– Так что я на него очень зол, – повторил англичанин, – и он умрет не иначе, как от моей руки.

– Но до этого, по-видимому, еще далеко, – сказал представитель префектуры.

– О, – промычал англичанин, – я каждый день езжу в тир, а через день ко мне приходит Гризье.

Это было всё, что требовалось узнать посетителю, – вернее, все, что, по-видимому, знал англичанин. Поэтому агент встал, откланялся лорду Уилмору, ответившему с типично английской холодной вежливостью, и удалился.

Со своей стороны, лорд Уилмор, услышав, как за ним захлопнулась наружная дверь, прошел к себе в спальню, в мгновение ока избавился от своих белокурых волос, рыжих бакенбардов, вставной челюсти и рубца, и снова обрел черные волосы, матовый цвет лица и жемчужные зубы графа Монте-Кристо.

Правда, и в дом господина де Вильфор вернулся не представитель префекта полиции, а сам господин де Вильфор.

Обе эти встречи несколько успокоили королевского прокурора, потому что хоть он и не узнал ничего особенно утешительного, но зато не узнал и ничего особенно тревожного.

Благодаря этому он впервые после отейльского обеда более или менее спокойно провел ночь.

ХIII. Летний бал

Стояли самые жаркие июльские дни, когда в обычном течении времени настала в свой черед та суббота, на которую был назначен бал у Морсера.

Было десять часов вечера; могучие деревья графского сада отчетливо вырисовывались на фоне неба, по которому, открывая усыпанную звездами синеву, скользили последние тучи – остатки недавней грозы.

Из зал нижнего этажа доносились звуки музыки и возгласы пар, кружившихся в вихре вальса, а сквозь решетчатые ставни вырывались яркие снопы света.

В саду хлопотал десяток слуг, которым хозяйка дома, успокоенная тем, что погода все более прояснялась, только что отдала приказание накрыть там к ужину.

До сих пор было неясно, подать ли ужин в столовой или под большим тентом на лужайке. Чудное синее небо, все усеянное звездами, разрешило вопрос в пользу лужайки.

В аллеях сада, по итальянскому обычаю, зажигали разноцветные фонарики, а накрытый к ужину стол убирала цветами и свечами, как принято в странах, где хоть сколько-нибудь понимают роскошь стола, – вид роскоши, который в законченной форме встречается реже всех остальных.

В ту минуту, как графиня де Морсер, отдав последние распоряжения, снова вернулась в гостиные, комнаты стали наполняться гостями. Их привлекло не столько высокое положение графа, сколько очаровательное гостеприимство графини; все заранее были уверены, что благодаря прекрасному вкусу Мерседес на этом бале будет немало такого, о чем можно потом рассказывать и чему, при случае, можно даже подражать.

Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к г-же де Морсер; но утром ее карета встретила с каретой Вильфора. Вильфор

сделал знак, экипажи подъехали друг к другу, и, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил:

– Ведь вы будете у госпожи де Морсер?

– Нет, – отвечала г-жа Данглар, – я себя очень плохо чувствую.

– Напрасно, – возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд, – было бы очень важно, чтобы вас там видели.

– Вы думаете? – спросила баронесса.

– Я в этом убежден.

– В таком случае я буду.

И кареты разъехались в разные стороны. Итак, г-жа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда; она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь.

Графиня послала Альбера навстречу г-же Данглар. Он подошел к баронессе, сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести ее туда, куда она пожелает.

При этом Альбер искал кого-то глазами.

– Вы ищете мою дочь? – с улыбкой спросила баронесса.

– Откровенно говоря – да, – сказал Альбер, – неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой?

– Успокойтесь, она встретила мадемуазель де Вильфор и пошла с ней; видите, вот они идут следом за нами, обе в белых платьях, одна с букетом камелий, а другая с букетом незабудок; но скажите мне...

– Вы тоже кого-нибудь ищете? – спросил, улыбаясь, Альбер.

– Разве вы не ждете графа Монте-Кристо?

– Семнадцать! – ответил Альбер.

– Что это значит?

– Это значит, – сказал, смеясь, виконт, – что вы семнадцатая задаете мне этот вопрос. Везет же графу!.. Его можно поздравить... – А вы всем отвечаете так же, как мне? – Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня; модный человек у нас будет, он удостаивает нас этой чести.

– Были вы вчера в Опере?

– Нет.

– А он там был.

– Вот как? И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное?

– Разве он может без этого? Эльслер танцевала в «Хромом бесе»; албанская княжна была в полном восторге. После качучи граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице, и она, в знак благодарности, появилась с его кольцом в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет?

– Нет, вам придется отказаться от удовольствия ее видеть; ее положение в доме графа недостаточно ясно.

– Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, – сказала баронесса, – я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами.

Альбер поклонился г-же Данглар и направился к г-же де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним.

– Держу пари, – прервал ее Альбер, – что я знаю, что вы мне скажете.

– Да неужели?

– Если я отгадаю, вы сознаетесь?

– Да.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф Монте-Кристо или приедет ли он.

– Все нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотела спросить, нет ли у вас известий от Франца?

– Да, вчера я получил от него письмо.

– И что он вам пишет?

– Что он выезжает одновременно с письмом.

– Отлично. Ну, а теперь о графе.

- Граф приедет, не беспокойтесь.
- Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо?
- Нет, я этого не знал.
- Монте-Кристо – это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия.
- Я никогда ее не слышал.
- Значит, я лучше осведомлена, чем вы: его зовут Дзакконе.
- Возможно.
- Он мальтиец.
- Тоже возможно.
- Сын судовладельца.
- Знаете, вам надо рассказать все это вслух, вы имели бы огромный успех.
- Он служил в Индии, разрабатывает серебряные рудники в Фессалии и приехал в Париж, чтобы открыть в Отейле заведение минеральных вод.
- Ну и новости, честное слово! – сказал Морсер. – Вы мне разрешите их повторить?
- Да, но понемножку, не все сразу, и не говорите, что они исходят от меня.
- Почему?
- Потому что это почти подслушанный секрет.
- Чей?
- Полиции.
- Значит, об этом говорилось...
- Вчера вечером у префекта. Вы ведь понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки.
- Само собой! Не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество, ввиду того что он слишком богат.
- По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными.
- Бедный граф! А он знает о грозившей ему опасности?
- Не думаю.
- В таком случае следует предупредить его. Я не премину это сделать, как только он приедет.

В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет с живыми глазами и почтительно поклонился г-же де Вильфор.

Альбер протянул ему руку.

– Сударыня, – сказал Альбер, – имею честь представить вам Максимилиана Морреля, капитана спаги, одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров.

– Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Моррелем в Отейле, у графа Монте-Кристо, – ответила г-жа де Вильфор, отворачиваясь с подчеркнутой холодностью.

Этот ответ, и особенно его тон, заставили сжаться сердце бедного Морреля; но его ожидала награда: обернувшись, он увидел в дверях молодую девушку в белом; ее расширенные и, казалось, ничего не выражающие глаза были устремлены на него; она медленно подносила к губам букет незабудок.

Моррель понял это приветствие и, с тем же выражением в глазах, в свою очередь поднес к губам платок; и обе эти живые статуи, с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании.

Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забвения: в залу вошел граф Монте-Кристо.

Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда безукоризненного покроя, но простой и без орденов; не белый жилет, без всякой вышивки; не панталоны, облегавшие его стройные ноги, – не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, спокойное и ясное лицо, глубокий и печальный взор, наконец поразительно очерченный рот, так легко выражавший надменное презрение, – вот что приковывало к графу все взгляды.

Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем изобличало глубину ума и чувств, постоянная работа мысли придавала его чертам, взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность.

А, кроме того, наше парижское общество такое странное, что оно, быть может, и не заметило бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлащенная блеском несметных богатств.

Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к г-же де Морсер; стоя перед камином, утопавшим в цветах, она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел, и приготовилась его встретить.

Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился.

Она, вероятно, думала, что граф заговорит с ней; он, со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет; по оба они остались безмолвны, настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой.

– Вы уже видели госпожу де Морсер? – спросил Альбер.

– Я только что имел честь поздороваться с ней, – сказал граф, – но я еще не видел вашего отца.

– Да вот он, видите? Беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей.

– Неужели все эти господа – знаменитости? – сказал Монте-Кристо. – А я и не знал! Чем же они знамениты? Как вам известно, знаменитости бывают разные.

– Один из них ученый, вон тот, высокий и худой; он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Академии наук доклад об этом открытии. Сообщение это долго оспаривали, но в конце концов победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шума в ученом мире; высокий худой господин был всего лишь кавалером Почетного легиона, а теперь у него офицерский крест.

– Что ж, – сказал Монте-Кристо, – по-моему, отличие вполне заслуженное, так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором?

– Очень возможно, – сказал Альбер.

– А вот этот, который избрал себе такой странный синий фрак, расшитый зеленым, кто это?

– Он не сам придумал так вырядиться; это виновата Республика: она, как известно, отличалась художественным вкусом и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм.

– Вот как, – сказал Монте-Кристо, – так этот господин – академик?

– Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей.

– А в чем состоят его заслуги, его специальность?

– Специальность? Он, кажется, втыкает кроликам булавки в голову, кормит мареной кур и китовым усом выдалбливает спинной мозг у собак.

– И поэтому он состоит в Академии паука?

– Нет, во Французской академии.

– Но при чем тут Французская академия?

– Я вам сейчас объясню; говорят...

– Что его опыты сильно двинули вперед науку, да?

– Нет, что он прекрасно пишет.

– Это, наверно, очень льстит самолюбию кроликов, которым он втыкает в голову булавки, кур, которым он окрашивает кости в красный цвет, и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг.

Альбер расхохотался.

– А вот этот? – спросил граф.

– Который?

– Третий отсюда.

– А, в васильковом фраке?

– Да.

– Это коллега моего отца. Недавно он горячо выступал против того, чтобы членам Палаты пэров был присвоен мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех; он был не в ладах с либеральной прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначат послом.

– А в чем состоят его права на пэрство?

– Он написал две-три комических оперы, имеет пять–шесть акций газеты «Вею» и пять или шесть лет голосовал за министерство.

– Bravo, виконт! – сказал, смеясь, Монте-Кристо. – Вы очаровательный чичероне, теперь я попрошу вас об одной услуге.

– О какой?

– Вы не будете знакомить меня с этими господами, а если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите.

В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку; он обернулся и увидел Данглара.

– Ах, это вы, барон! – сказал он.

– Почему вы зовете меня бароном? – сказал Данглар. – Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. Не то, что вы, виконт; ведь вы им дорожите, правда?

– Разумеется, – отвечал Альбер, – потому что, перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером.

– Это, по-моему, наилучший титул при Июльской монархии, – сказал Данглар.

– К несчастью, – сказал Монте-Кристо, – миллионер не есть пожизненное звание, как барон, пэр Франции или академик; доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились.

– Неужели? – сказал Данглар, бледнея.

– Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер; у меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты.

– Ах, черт, – сказал Данглар. – Они перевели на меня векселей на двести тысяч франков.

– Ну, так вы предупреждены; их подпись стоит пять процентов.

– Да, но я предупрежден слишком поздно, – сказал Данглар. – Я уже выплатил по их векселям.

– Что ж, – сказал Монте-Кристо, – вот еще двести тысяч франков, которые последовали...

– Шш! – прервал Данглар, – не говорите об этом... особенно при Кавальканти-младшем, – прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку.

Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Кавальканти-сыном. Монте-Кристо на минуту остался один.

Между тем духота становилась нестерпимой.

Лакеи разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого.

Монте-Кристо вытер платком лицо, влажное от пота, но отступил, когда мимо него пронесли поднос, и не взял ничего прохладительного.

Госпожа де Морсер ни на минуту не теряла Монте-Кристо из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся; она даже заметила, как он отодвинулся.

– Альбер, – сказала она, – обратил ты внимание на одну вещь?

– На что именно?

– Граф ни разу не принял приглашения на обед к твоему отцу.

– Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет.

– У тебя, это не то же, что у графа де Морсер, – прошептала Мерседес, – а я слежу за ним с той минуты, как он сюда вошел.

– И что же?

– Он до сих пор ни к чему не притронулся.

– Граф очень воздержанный человек.

Мерседес печально улыбнулась.

– Подойди к нему и, когда мимо понесут поднос, попроси его взять что-нибудь.

– Зачем это, матушка?

– Доставь мне это удовольствие, Альбер, – сказала Мерседес.

Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу.

Мимо них пронесли поднос; г-жа де Морсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженым и предложил ему, но тот упорно отказывался.

Альбер вернулся к матери; графиня была очень бледна.

– Вот видишь, – сказала она, – он отказался.

– Да, но почему это вас огорчает?

– Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда, может быть, у него какие-нибудь особенные вкусы.

– Да нет же, в Италии он ел все, что угодно; вероятно, ему нездоровится сегодня.

– А потом, – сказала графиня, – раз он всю жизнь провел в жарких странах, он, может быть, не так страдает от жары, как мы?

– Не думаю; он жаловался на духоту и спрашивал, почему, если уж открыли окна, не открыли заодно и ставни.

– В самом деле, – сказала Мерседес, – у меня есть способ удостовериться, нарочно ли он от всего отказывается.

И она вышла из гостиной.

Через минуту ставни распахнулись; сквозь кусты жасмина и ломоноса, растущие перед окнами, можно было видеть весь сад, освещенный фонариками, и накрытый стол под тентом.

Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули; их легкие с наслаждением впивали свежий воздух, широкими потоками врывающийся в комнату.

В ту же минуту вновь появилась Мерседес, бледнее прежнего, но с тем решительным лицом, какое у нее иногда бывало. Она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа.

– Не удерживайте здесь наших гостей, граф, – сказала она. – Если они не играют в карты, то им, наверно, будет приятнее подышать воздухом в саду, чем задыхаться в комнатах.

– Сударыня, – сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал: «Отправимся в Сирию», – одни мы в сад не пойдем.

– Хорошо, – сказала Мерседес, – в таком случае я подам вам пример.

И, обернувшись к Монте-Кристо, она сказала:

– Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку.

Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов; потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый, как молния, но графине показалось, что он длился вечность, так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд.

Он предложил графине руку; она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендронами и камелиями.

Следом за ними, а также и по другой лестнице, с радостными возгласами устремились человек двадцать, желающих погулять по саду.

XIV. Хлеб и соль

Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице.

– В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф? – сказала она.

– Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и ставни – прекрасная мысль.

Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит.

– А вам не будет холодно в этом легком платье, с одним только газовым шарфом на плечах? – сказал он.

– Знаете, куда я вас веду? – спросила графиня, не отвечая на вопрос.

– Нет, сударыня, – ответил Монте-Кристо, – но, как видите, я не противлюсь.

– К оранжерее, что виднеется там, в конце этой аллеи.

Граф вопросительно взглянул на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал.

Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас.

Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската.

– Возьмите, граф, – сказала ода с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. – Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с

вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу.

Граф поклонился и отступил на шаг.

– Вы мне отказываете? – сказала Мерседес дрогнувшим голосом.

– Сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската.

Мерседес со вздохом уронила гроздь.

На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его.

– Тогда возьмите этот персик, – сказала она.

Но граф снова повторил жест отказа.

– Как, опять! – сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. – Право, мне не везет.

Последовало долгое молчание; персик, вслед за гроздью, упал на песок.

– Знаете, граф, – сказала, наконец, Мерседес, с мольбой глядя на Монте-Кристо, – есть такой трогательный арабский обычай: те, что вкусили под одной кровлей хлеба и соли, становятся навеки друзьями.

– Я это знаю, сударыня, – ответил граф, – но мы во Франции, а не в Аравии, а во Франции не существует вечной дружбы, так же как и обычая делить хлеб и соль.

– Но все-таки, – сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, – все-таки мы друзья, не правда ли?

Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего, как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволочла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова.

– Разумеется, сударыня, – отвечал он, – почему бы нам не быть друзьями?

Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон.

– Благодарю вас, – сказала она.

И она пошла вперед.

Они обошли весь сад, не проронив ни слова.

– Граф, – начала вдруг Мерседес, после десятиминутной молчаливой прогулки, – правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?

– Да, сударыня, я много страдал, – ответил Монте-Кристо.

– Но теперь вы счастливы?

– Конечно, – ответил граф, – ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался.

– И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?

– Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям.

– Вы не женаты?

– Женат? – вздрогнув, переспросил Монте-Кристо. – Кто мог вам это сказать?

– Никто не говорил, но вас несколько раз видели в Опере с молодой и очень красивой женщиной.

– Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека.

– Значит, вы живете одиноко?

– Одиноко.

– У вас нет сестры... сына... отца?

– Никого.

– Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?

– Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше двадцати лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте, вот и все.

Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания.

– Да, – сказала она, – и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце... Любишь по-настоящему только раз в жизни... И вы не виделись больше с этой женщиной?

- Никогда.
- Никогда!
- Я больше не возвращался туда, где она жила.
- На Мальту?
- Да, на Мальту.
- Она и теперь на Мальте?
- Вероятно.
- И вы простили ей ваши страдания?
- Ей – да.
- Но только ей; вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?
- Нисколько. За что мне их ненавидеть?

Графиня остановилась перед Монте-Кристо; в руке она всё еще держала обрывок ароматной грозди.

– Возьмите, – сказала она.

– Я никогда не ем муската, сударыня, – ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему.

Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты.

– Непреклонный! – прошептала она.

Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему.

В эту минуту к ним подбежал Альбер.

– Матушка, – сказал он, – большое несчастье!

– Что такое? Что случилось? – спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. – Несчастье, ты говоришь? В самом деле, теперь должны начаться несчастья!

– Приехал господин де Вильфор.

– И что же?

– Он приехал за женой и дочерью.

– Почему?

– В Париж прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя, на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить; но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала; этот удар поразил ее, как громом, и она упала в обморок.

– А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор? – спросил граф.

– Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем.

– Ах, вот как!

– Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Меран не приходится также дедом мадемуазель Данглар!

– Альбер, Альбер! Ну, что ты говоришь? – с нежным упреком сказала г-жа де Морсер. – Он вас так уважает, граф, скажите ему, что так не следует говорить!

Она отошла на несколько шагов.

Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад.

Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.

– Мы ведь друзья, правда? – сказала она.

– Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня, – сказал граф, – но во всяком случае я ваш почтительнейший слуга.

Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце; она не отошла и десяти шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок.

– У вас с матушкой вышла размолвка? – удивленно спросил Альбер.

– Напротив, – ответил граф, – ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья.

И они вернулись в гостиную, которую только что покинула Валентина и супруги де Вильфор.

Моррель, понятно, вышел вслед за ними.

XV. Маркиза де Сен-Меран

Действительно, в доме Вильфора незадолго перед тем произошла печальная сцена.

После отъезда обеих дам на бал, куда, несмотря на все старания и уговоры, г-же де Вильфор так и не удалось увезти мужа, королевский прокурор, по обыкновению, заперся у себя в кабинете, окруженный кипами дел; количество их привело бы в ужас всякого другого, но в обычное время их едва хватало на то, чтобы утолить его жажду деятельности.

Но на этот раз дела были только предлогом, Вильфор заперся не для того, чтобы работать, а для того, чтобы поразмыслить на свободе; удалившись в свой кабинет и приказав не беспокоить его, если ничего важного не случится, он погрузился в кресло и снова начал перебирать в памяти все, что за последнюю неделю переполняло чашу его мрачной печали и горьких воспоминаний.

И вот, вместо того чтобы приняться за наваленные перед ним дела, он открыл ящик письменного стола, нажал секретную пружину и вытащил связку своих личных записей; в этих драгоценных рукописях в строгом порядке, ему одному известным шифром были записаны имена всех, кто на политическом его поприще, в денежных делах, в судебных процессах или в тайных любовных интригах стал ему врагом.

Теперь, когда ему было страшно, число их казалось несметным; а между тем все эти имена, даже самые могущественные и грозные, не раз вызывали на его лице улыбку, подобную улыбке путника, который, взобравшись на вершину горы, видит у себя под ногами остроконечные скалы, непроходимые пути и края пропастей, – все, что он преодолел в своем долгом, мучительном восхождении.

Он старательно возобновил эти имена в своей памяти, внимательно перечитал, изучил, проверил их по своим записям и, наконец, покачал головой.

– Нет, – прошептал он, – ни один из них не ждал он так долго и терпеливо, чтобы теперь уничтожить меня этой тайной. Иногда, как говорит Гамлет, из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено, и, словно фосфорический свет, блуждает по воздуху; но эти огни мимолетны и только сбивают с пути. Вероятно, корсиканец рассказал эту историю какому-нибудь священнику, а тот в свою очередь говорил о ней. Господин Монте-Кристо услышал ее и чтобы проверить...

– Но на что ему проверять? – продолжал Вильфор, после минутного раздумья. – Зачем нужно господину Монте-Кристо, господину Дзакконе, сыну мальтийского арматора, владельцу серебряных рудников в Фессалии, впервые приехавшему во Францию, проверять такой темный, таинственный и бесполезный факт? Из всего, что рассказали мне этот аббат Бузони и этот лорд Уилмор, друг и недруг, для меня ясно, очевидно и несомненно одно: ни в какое время, ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах у меня не могло быть с ним ничего общего.

Но Вильфор повторял себе все это, сам не веря своим словам. Страшнее всего для него было не самое разоблачение, потому что он мог отрицать, а то и ответить; его мало беспокоило это «Мене, Текел, Фарес»¹⁷, кровавыми буквами внезапно возникшее на стене; но он мучительно хотел узнать, кому принадлежит рука, начертавшая эти слова.

В ту минуту, когда он пытался себя успокоить и когда, вместо того политического будущего, которое ему порой рисовалось в честолюбивых мечтах, он, чтобы не разбудить этого так долго спавшего врага, подумывал о будущем, ограниченном семейными радостями, во дворе раздался стук колес. Затем на лестнице послышались медленные старческие шаги, потом рыдания и горестные возгласы, которые так удаются прислуге, когда она хочет показать сочувствие своим господам.

Он поспешно отпер дверь кабинета, и почти сейчас же к нему, без доклада, вошла старая дама с шалью и шляпой в руке. Ее седые волосы обрамляли лоб, матовый, как пожелтевшая слоновая кость, а глаза, которые время окружило глубокими морщинами, опухли от слез.

– О, какое несчастье, – произнесла она, – какое несчастье! Я не переживу! Нет, конечно, я этого не переживу!

И, упав в кресло у самой двери, она разразилась рыданиями.

Слуги столпились на пороге и, не смея двинуться дальше, поглядывали на старого камердинера Нуартье, который, услышав из комнаты своего хозяина весь этот шум, тоже прибежал вниз и стоял позади остальных.

Вильфор, узнав свою тещу, вскочил и бросился к ней.

¹⁷ Согласно Библии, слова, появившиеся на стене во время пира Валтасара и предвещавшие конец его царствованию. В.Э.: «мене, мене, текел, упарсин» – Даниила, 5:25 {[BIBLE4](#)}.

– Боже мой, сударыня, что случилось? – спросил он. – Почему вы в таком отчаянии? А маркиз де Сен-Меран разве не с вами?

– Маркиз де Сен-Меран умер, – сказала старая маркиза без предисловий, без всякого выражения, словно в каком-то столбняке.

Вильфор отступил на шаг и всплеснул руками.

– Умер!.. – пролепетал он. – Умер так... внезапно?

– Неделю тому назад мы после обеда собрались в дорогу, – продолжала г-жа де Сен-Меран. – Маркиз уже несколько дней прихварывал; но мысль, что мы скоро увидим нашу дорогую Валентину, придавала ему мужества, и, несмотря на свое недомогание, он решил тронуться в путь. Не успели мы отъехать и шести лье от Марселя, как он принял, по обыкновению, свои пилюли и потом заснул так крепко, что это показалось мне неестественным. Но я не решилась его разбудить. Вдруг я увидела, что лицо его побагровело и жилы на висках как-то особенно вздулись. Все же я не стала его будить; наступила ночь и ничего уже не было видно. Вскоре он глухо, отчаянно вскрикнул, словно ему стало больно во сне, и голова его резко откинулась назад. Я крикнула камердинера, велела кучеру остановиться, я стала будить маркиза, поднесла к его носу флакон с солью, но все было кончено, он был мертв. Я доехала до Экса, сидя рядом с его телом.

Вильфор стоял и слушал, пораженный.

– Вы, конечно, сейчас же позвали доктора?

– Немедленно. Но я уже сказала вам, – это был конец.

– Разумеется, но доктор по крайней мере определил, от какой болезни скончался бедный маркиз?

– О господи, конечно, он мне сказал, очевидно, это был апоплексический удар.

– Что же вы сделали?

– Господин де Сен-Меран всегда говорил, что если он умрет не в Париже, его тело должно быть перевезено в семейный склеп. Я велела его положить в свинцовый гроб и лишь на несколько дней опередила его.

– Бедная матушка! – сказал Вильфор. – Такие хлопоты после такого потрясения, и в вашем возрасте!

– Бог дал мне силы вынести все; впрочем, мой муж сделал бы для меня то же, что я сделала для него. Но с тех пор как я его там оставила, мне все кажется, что я лишилась рассудка. Я больше не могу плакать Правда, люди говорят, что в мои годы уже не бывает слез, но, мне кажется, пока страдаешь, до тех пор должны быть и слезы. А где Валентина? Ведь мы сюда ехали ради нее. Я хочу видеть Валентину.

Вильфор понимал, как жестоко было бы сказать, что Валентина на балу, он просто ответил, что ее нет дома, что она вышла вместе с мачехой и что ей сейчас дадут знать.

– Сию же минуту, сию же минуту, умоляю вас, – сказала старая маркиза.

Вильфор взял ее под руку и отвел в ее комнату.

– Отдохните, матушка, – сказал он.

Маркиза взглянула на этого человека, напоминавшего ей горячо оплакиваемую дочь, ожившую для нее в Валентине, потрясенная словом «матушка», разразилась слезами, упала на колени перед креслом и прижалась к нему седой головой.

Вильфор поручил ее заботам женщин, а старик Барруа поднялся к своему хозяину, взволнованный до глубины души; больше всего пугает стариков, когда смерть на минуту отходит от них, чтобы поразить другого старика. Затем, пока г-жа де Сен-Меран, все так же на коленях, горячо молилась, Вильфор послал за наемной каретой и сам поехал за женой и дочерью к г-же де Морсер, чтобы отвезти их домой.

Он был так бледен, когда появился в дверях гостиной, что Валентина бросилась к нему с криком:

– Что случилось, отец? Несчастье?

– Приехала ваша бабушка, Валентина, – сказал Вильфор.

– А дедушка? – спросила она, вся дрожа.

Вильфор вместо ответа взял дочь под руку.

Это было как раз вовремя: Валентине сделалось дурно, и она зашаталась; г-жа де Вильфор подхватила ее и помогла мужу усадить в карету, повторяя:

– Как это странно! Кто бы мог подумать! Право, это очень странно!

И огорченное семейство быстро удалилось, набросив свою печаль, как траурный покров, на весь остаток вечера.

Внизу лестницы Валентина встретила поджидавшего ее Барруа.

– Господин Нуартье желает вас видеть сегодня, – тихо сказал он ей.

– Скажите ему, что я зайду к нему, как только повидаюсь с бабушкой, – сказала Валентина.

Своим чутким сердцем она поняла, что г-жа де Сен-Меран всех более нуждалась в ней в этот час.

Валентина нашла свою бабушку в постели. Безмолвные ласки, скорбь, переполняющая сердце, прерывистые вздохи, жгучие слезы – вот единственные подробности этого свидания; при нем присутствовала, под руку со своим мужем, г-жа де Вильфор, полная почтительного сочувствия, по крайней мере наружного, к бедной вдове.

Спустя некоторое время она наклонилась к уху мужа.

– Если позволите, – сказала она, – мне лучше уйти, потому что мой вид, кажется, еще больше огорчает вашу тещу.

Госпожа де Сен-Меран услышала ее слова.

– Да, да, – шепнула она Валентине, – пусть он уходит; но ты останься, останься непременно.

Госпожа де Вильфор удалилась, и Валентина осталась одна у постели своей бабушки, так как королевский прокурор, удрученный этой неожиданной смертью, вышел вместе с женой.

Между тем Барруа вернулся наверх к господину Нуартье; тот слышал поднявшийся в доме шум и, как мы уже сказали, послал старого слугу узнать, в чем дело.

По его возвращении взгляд старика, такой живой, а главное такой разумный, вопросительный остановился на посланном.

– Случилось большое несчастье, сударь, – сказал Барруа, – госпожа де Сен-Меран приехала одна, и муж ее скончался.

Сен-Меран и Нуартье никогда не были особенно дружны; но известно, какое впечатление производит на всякого старика весть о смерти сверстника. Нуартье замер, как человек, удрученный горем или погруженный в свои мысли; затем он закрыл один глаз.

– Мадемуазель Валентину? – спросил Барруа.

Нуартье сделал знак, что да.

– Она на балу, вы ведь знаете, она еще приходила к вам проститься в бальном платье.

Нуартье снова закрыл левый глаз.

– Вы хотите ее видеть?

Нуартье подтвердил это.

– За ней, наверно, сейчас поедут к госпоже де Морсер; я подожду ее возвращения и попрошу ее пройти к вам. Так?

– Да, – ответил паралитик.

Барруа подстерег Валентину и, как мы уже видели, лишь только она вернулась, сообщил ей о желании деда.

Поэтому Валентина поднялась к Нуартье, как только вышла от г-жи де Сен-Меран, которая, как ни была взволнована, в конце концов, сраженная усталостью, уснула беспокойным сном.

К ее изголовью придвинули столик, на который поставили графин с оранжадом – ее обычное питье – и стакан.

Затем, как мы уже сказали, Валентина оставила спящую маркизу и поднялась к Нуартье.

Валентина поцеловала деда, и он посмотрел на нее так нежно, что из глаз у нее снова брызнули слезы, которые она считала уже иссякшими.

Старик настойчиво смотрел на нее.

– Да, да, – сказала Валентина, – ты хочешь сказать, что у меня еще остался добрый дедушка, правда?

Старик показал, что он именно это и хотел выразить своим взглядом.

– Да, это большое счастье, – продолжала Валентина. – Что бы со мной было иначе, господи!

Был уже час ночи; Барруа, которому хотелось спать, заметил, что после такого горестного вечера всем необходим покой. Старик не захотел сказать, что его покой состоит в том, чтобы

видеть свое дитя. Он простился с Валентиной, которая действительно от утомления и горя еле стояла на ногах.

На следующий день, придя к бабушке, Валентина застала ее в постели; лихорадка не утихала; напротив, глаза старой маркизы горели мрачным огнем, и она была, видимо, охвачена сильным нервным возбуждением.

– Что с вами, бабушка, вам хуже? – воскликнула Валентина, заметив ее состояние.

– Нет, дитя мое, нет, – сказала г-жа де Сен-Меран, – но я очень ждала тебя. Я хочу послать за твоим отцом.

– За отцом? – спросила обеспокоенная Валентина.

– Да, мне надо с ним поговорить.

Валентина не посмела противоречить желанию бабушки, да и не знала, чем оно вызвано; через минуту в комнату вошел Вильфор.

– Сударь, – начала, без всяких околичностей, г-жа де Сен-Меран, словно опасаясь, что у нее не хватит времени, – вы мне писали, что намерены выдать нашу девочку замуж?

– Да, сударыня, – отвечал Вильфор, – это даже уже не намерение, это дело решенное.

– Вашего будущего зятя зовут Франц д'Эпине?

– Да, сударыня.

– Его отец был генерал д'Эпине, наш единомышленник? Его, кажется, убили за несколько дней до того, как узурпатор вернулся с Эльбы?

– Совершенно верно.

– Его не смущает женитьба на внучке якобинца?

– Наши политические разногласия, к счастью, прекратились, – сказал Вильфор, – Франц д'Эпине был почти младенец, когда умер его отец; он очень мало знает господина Нуартье и встретится с ним если и без удовольствия, то, во всяком случае, равнодушно.

– Это приличная партия?

– Во всех отношениях.

– И этот молодой человек...

– Пользуется всеобщим уважением.

– Он хорошо воспитан?

– Это один из самых достойных людей, которых я знаю.

В продолжение всего этого разговора Валентина не проронила ни слова.

– В таком случае, сударь, – после краткого размышления сказала г-жа де Сен-Меран, – вам надо поторопиться, потому что мне недолго осталось жить.

– Вам, сударыня! Вам, бабушка! – воскликнули в один голос Вильфор и Валентина.

– Я знаю, что говорю, – продолжала маркиза, – вы должны поспешить, чтобы хотя бабушка могла благословить ее брак, раз у нее нет матери. Я одна у нее осталась со стороны моей бедной Рене, которую вы так скоро забыли, сударь.

– Вы забываете, сударыня, – сказал Вильфор, – что этой бедной девочке была нужна мать.

– Мачеха никогда не заменит матери, сударь! Но это к делу не относится, мы говорим о Валентине; оставим мертвых в покое.

Маркиза говорила все это с такой быстротой и таким голосом, что ее речь становилась похожа на бред.

– Ваше желание будет исполнено, сударыня, – сказал Вильфор, – тем более что оно вполне совпадает с моим, и как только приедет господин д'Эпине...

– Но, бабушка, – сказала Валентина, – так не принято, ведь у нас траур... И неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж при таких печальных предзнаменованиях?

– Дитя мое, – быстро прервала старуха, – не говори об этом, эти банальности только мешают слабым душам прочно строить свое будущее. Меня тоже выдали замуж, когда моя мать лежала при смерти, и я не стала от этого несчастной.

– Опять вы говорите о смерти, сударыня! – заметил Вильфор.

– Опять? Все время!.. Говорю вам, что я скоро умру, слышите! Но раньше я хочу видеть моего зятя; я хочу потребовать от него, чтобы он сделал мою внучку счастливой; я хочу прочесть в его глазах, исполнит ли он мое требование; словом, я хочу его знать, да, продолжала старуха, и лицо ее стало страшным, – я приду к нему из глубины могилы, если он будет не тем, чем должен быть, не тем, чем ему надо быть.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – вы должны гнать от себя эти мысли, это почти безумие. Мертвые спят в своих могилах и не встают никогда.

– Да, да, бабушка, успокойтесь! – сказала Валентина.

– А я говорю вам, сударь, что все это не так, как вы думаете. Эту ночь я провела ужасно. Я сама себя видела спящему как будто душа моя уже отлетела от меня; я старалась открыть глаза, но они сами закрывались; и вот – я знаю, вам это покажется невозможным, особенно вам, сударь, – но, лежа с закрытыми глазами, я увидела, как в эту комнату из угла, где находится дверь в уборную госпожи де Вильфор, тихо вошла белая фигура.

Валентина вскрикнула.

– У вас был жар, сударыня, – сказал Вильфор.

– Можете не верить, но я знаю, что говорю; я видела белую фигуру; и словно господь опасался, что я не поверю одному зрению, я услышала, как стукнул мой стакан, да, да, вот этот самый, на столике.

– Это вам приснилось, бабушка.

– Нет, не приснилось, потому что я протянула руку к звонку, и тень сразу исчезла.

Тут вошла горничная со свечой.

– И никого не оказалось?

– Привидения являются только тем, кто должен их видеть; это был дух моего мужа. Так вот, если дух моего мужа приходил за мной, почему мой дух не явится, чтобы защитить мое дитя? Наша связь, мне кажется, еще сильнее.

– Прошу вас, сударыня, – сказал Вильфор, невольно взволнованный до глубины души, – не давайте воли этим мрачным мыслям; вы будете жить с нами, жить долго, счастливая, любимая, почитаемая, и мы заставим вас забыть...

– Нет, нет, никогда! – прорвала маркиза. – Когда возвращается господин д'Эпине?

– Мы ждем его с минуты на минуту.

– Хорошо. Как только он приедет, скажите мне. Надо скорее, скорее. И я хочу видеть нотариуса. Я хочу быть уверенной, что все наше состояние перейдет к Валентине.

– Ах, бабушка, – прошептала Валентина, прикасаясь губами к пылающему лбу старухи, – я этого не вынесу! Боже мой, вы вся горите. Надо звать не нотариуса, а доктора.

– Доктора? – сказала та, пожимая плечами. – Я но больна; я хочу пить, больше ничего.

– Что вы пьете, бабушка?

– Как всегда, оранжад, ты же знаешь. Стакан тут на столике; дай его мне.

Валентина налила оранжад из графина в стакан и передала бабушке с некоторым страхом, потому что до этого самого стакана, по словам маркизы, дотронулся призрак.

Маркиза сразу выпила все.

Потом она откинулась на подушки, повторяя:

– Нотариуса, нотариуса!

Вильфор вышел из комнаты. Валентина села около бабушки. Она, казалось, сама нуждалась в докторе, которого она советовала позвать маркизе. Щеки ее пылали, она дышала быстро и прерывисто, пульс бился лихорадочно.

Бедная девушка думала о том, в каком отчаянии будет Максимилиан, когда узнает, что г-жа де Сен-Меран, вместо того чтобы стать его союзницей, действует, не зная его, как его злейший враг.

Валентина не раз думала о том, чтобы все сказать бабушке. Она не колебалась бы ни минуты, если бы Максимилиана Морреля звали Альбером де Морсер или Раулем де Шато-Рено. Но Моррель был плебей по происхождению, а Валентина знала, как презирает гордая маркиза де Сен-Меран людей не родовитых. И всякий раз ее тайна, уже готовая сорваться с губ, оставалась у нее на сердце из-за грустной уверенности, что она выдала бы ее напрасно и что, едва эту тайну узнают отец и мачеха, всему настанет конец.

Так прошло около двух часов. Г-жа де Сен-Меран была погружена в беспокойный, лихорадочный сон. Доложили о приходе нотариуса.

Хотя об этом сообщили едва слышно, г-жа де Сен-Меран подняла голову с подушки.

– Нотариус? – сказала она. – Пусть войдет, пусть войдет!

Нотариус был у дверей; он вошел.

– Ступай, Валентина, – сказала г-жа де Сен-Меран, – оставь меня одну с этим господином.

- Но, бабушка...
- Ступай, ступай.

Валентина поцеловала бабушку в лоб и вышла, прижимая к глазам платок.

За дверью она встретила камердинера, который сообщил ей, что в гостиной ждет доктор.

Валентина быстро сошла вниз. Доктор, один из известнейших врачей того времени, был другом их семьи и очень любил Валентину, которую знал с пеленок. У него была дочь почти одних лет с мадемуазель де Вильфор, но рожденная от чахоточной матери, и его жизнь проходила в непрерывной тревоге за эту девочку.

– Ах, дорогой господин д'Авриньи, – сказала Валентина, – мы так ждем вас! Но скажите сначала, как поживают Мадлен и Антуанетт?

Мадлен была дочь доктора, а Антуанетт – его племянница.

Господин д'Авриньи грустно улыбнулся.

– Антуанетт прекрасно, – сказал он, – Мадлен сносно. Но вы посылали за мной, дорогая? Кто у вас болен? Не ваш отец и не госпожа де Вильфор, надеюсь? А мы сами? Я уж вижу, наши нервы не оставляют нас в покое. Но все же не думаю, чтобы я тут был нужен, – разве только чтобы посоветовать не слишком давать волю нашему воображению.

Валентина вспыхнула. Д'Авриньи обладал почти чудодейственным даром все угадывать; он был из тех врачей, которые лечат физические болезни моральным воздействием.

– Нет, – сказала она, – это бедная бабушка заболела. Вы ведь знаете, какое у нас несчастье?

- Ничего не знаю, – сказал д'Авриньи.
- Это ужасно, – сказала Валентина, сдерживая рыдания. – Скончался мой дедушка.
- Маркиз де Сен-Меран?
- Да.
- Внезапно?
- От апоплексического удара.
- От апоплексического удара? – повторил доктор.
- Да. И бедной бабушкой овладела мысль, что муж, с которым она никогда в жизни не расставалась, теперь зовет ее и что она должна за ним последовать. Умоляю вас, сударь, помогите бабушке!
- Где она?
- У себя в комнате, и там нотариус.
- А как господин Нуартье?
- Все по-прежнему: совершенно ясный ум, сто все такая же неподвижность и немота.
- И такая же нежность к вам – правда?
- Да, – сказала со вздохом Валентина, – он очень любит меня.
- Да как же можно вас не любить?

Валентина грустно улыбнулась.

– А что с вашей бабушкой?

– У нее необычайное нервное возбуждение, странный, беспокойный сон; сегодня она уверяла, что ночью, пока она спала, ее душа витала над телом и видела его спящим. Конечно, это бред. Она уверяет, что видела, как в комнату к ней вошел призрак, и слышала, как он дотронулся до ее стакана.

– Это очень странно, – сказал доктор, – я никогда не слышал, чтобы госпожа де Сен-Меран страдала галлюцинациями.

– Я в первый раз вижу ее в таком состоянии, – сказала Валентина. – Она очень напугала меня сегодня утром; я думала, что она сошла с ума. И вы ведь знаете, господин д'Авриньи, какой уравновешенный человек мой отец, но даже он был, мне кажется, очень взволнован.

– Сейчас посмотрим, – сказал д'Авриньи, – все это очень странно.

Нотариус уже спускался вниз; Валентине пришли сказать, что маркиза одна.

– Поднимитесь к ней, – сказала она доктору.

– А вы?

– Нет, я боюсь. Она запретила мне посылать за вами. И потом, вы сами сказали, я взволнована, возбуждена, я плохо себя чувствую. Я пройду по саду, чтобы немного прийти в себя.

Доктор пожал Валентине руку и пошел к маркизе; а молодая девушка спустилась в сад.

Нам незачем говорить, какая часть сада была излюбленным местом ее прогулок. Пройдясь несколько раз по цветнику, окружавшему дом, сорвав розу, чтобы сунуть ее за пояс или воткнуть в волосы, она углублялась в тенистую аллею, ведущую к скамье, а от скамьи шла к воротам.

И на этот раз Валентина, как всегда, прошла несколько раз среди своих цветов, но не сорвала ни одного: траур, лежавший у нее на сердце, хотя еще и не отразившийся на ее внешности, отвергал даже это скромное украшение; затем она направилась к своей аллее. Чем дальше она шла, тем яснее ей чудилось, что кто-то зовет ее по имени. Удивленная, она остановилась.

Тогда она ясно расслышала зов и узнала голос Максимилиана.

XVI. Обещание

Это был действительно Моррель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда г-жи де Сен-Меран и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине.

Как мы сейчас увидим, предчувствия не обманули его, и теперь уже не простое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Моррель ее ждет, это не был обычный час его прихода; только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад.

Увидев ее на дорожке, Моррель окликнул ее; она подбежала к воротам.

– Вы здесь, в этот час! – сказала она.

– Да, мой бедный друг, – отвечал Моррель. – Я пришел узнать и сообщить печальные вести.

– Видно, все несчастья обрушились на наш дом! – сказала Валентина. – Говорите, Максимилиан. Но, право, несчастий и так достаточно.

– Выслушайте меня, дорогая, – сказал Моррель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. – Все, что я скажу, чрезвычайно важно. Когда предполагается ваша свадьба?

– Слушайте, Максимилиан, – сказала в свою очередь Валентина, – я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, – она так жаждет его, что ждут только приезда д'Эпине, и на следующий день брачный договор будет подписан.

Тяжкий вздох вырвался из груди Морреля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд.

– Да, – сказал он тихо, – ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит: «Время вашей казни назначено: она состоится через несколько часов; но что ж делать, так надо, и противиться этому я не буду». Так вот, если, для того чтобы подписать договор, ждут только д'Эпине, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то, значит, вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром.

Валентина вскрикнула.

– Час назад я был у графа Монте-Кристо, – сказал Моррель. – Мы с ним беседовали: он – о горе, постигшем вашу семью, а я – о вашем горе, как вдруг во двор въезжает экипаж. Слушайте. До этой минуты я никогда не верил в предчувствия, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулкие шаги командора привели Дон Жуана не в большой ужас, чем эти – меня. Наконец, отворяется дверь: первым входит Альбер де Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии, чуть не подумал, что ошибся, как вдруг за Альбером входит еще один человек, и граф восклицает: «А, вот и барон Франц д'Эпине!..» Я собрал все свои силы и все мужество, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел, может быть, задрожал; но во всяком случае я продолжал улыбаться. Через пять минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти пять минут. Я был уничтожен.

– Бедный Максимилиан! – прошептала Валентина.

– И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне, – моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. Что вы думаете делать?

Валентина опустила голову; она была совершенно подавлена.

– Послушайте, – сказал Моррель, – ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали; положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби; это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и

упиваться своими слезами. Есть такие люди, и, вероятно, господь зачтет им на небесах их смирение на земле.

Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте, я об этом и пришел спросить.

Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Морреля. Мысль поступить наперекор отцу, бабушке – словом, всей семье – ей и в голову не приходила.

– Что вы хотите сказать, Максимилиан? – спросила она. – Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством! Чтобы я нарушила приказание отца, волю умирающей бабушки? Но это невозможно!

Моррель вздрогнул.

– У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня, и вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите. Мне бороться! Боже меня упаси! Нет, нет. Мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчить отца, омрачить последние минуты бабушки – никогда!

– Вы совершенно правы, – бесстрастно сказал Моррель.

– Как вы это говорите, боже мой! – воскликнула оскорбленная Валентина.

– Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель, – возразил Максимилиан.

– Мадемуазель! – воскликнула Валентина. – Мадемуазель! Какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня.

– Вы ошибаетесь, напротив, я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину де Вильфор, не хотите послушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор, который свяжет вас с вашим мужем.

– Но разве я могу поступить иначе?

– Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить, – отвечал Моррель; его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении.

– А что вы предложили бы мне, Моррель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же. Суть не же в том, чтобы сказать: «Вы делаете плохо». Надо дать совет – что же именно делать.

– Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет?

– Конечно хочу, Максимилиан, и, если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги.

– Валентина, – сказал Моррель, отодвигая отставшую доску, – дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет и уже целый час меня одолевают самые сумасбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет...

– Но что же это за совет?

– Вот, слушайте, Валентина.

Валентина подняла глаза к небу и вздохнула.

– Я человек свободный, – продолжал Максимилиан, – я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что, пока вы не станете моей женой, мои губы не прикоснутся к вашему челу.

– Мне страшно, – сказала Валентина.

– Бежим со мной, – продолжал Моррель, – я отвезу вас к моей сестре, она достойна быть вашей сестрой. Мы уедем в Алжир, в Англию или в Америку, или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем жить там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи.

Валентина покачала головой.

– Я так и думала, Максимилиан, – сказала она. – Это совет безумца, и я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас же одним словом: невозможно.

– И вы примете свою долю, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней? – сказал Моррель, снова помрачнев.

– Да, хотя бы это убило меня!

– Ну, что же, Валентина, – сказал Максимилиан, – повторю, вы совершенно правы. В самом деле, я безумец, и вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете бесстрастно. Что ж, пусть, решено, завтра вы безвозвратно станете невестой Франца д'Эпине. И это не в силу формальности, которая придумана для

комедийных развязок на сцене и называется подписанием брачного договора, нет – но по вашей собственной воле.

– Вы опять меня мучите, Максимилиан, – сказала Валентина, – вы поворачиваете нож в моей ране! Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы дадите мне?

– Мадемуазель, – возразил с горькой улыбкой Моррель, – я эгоист, вы это сами сказали. В качестве эгоиста, я думаю не о том, что сделали бы на моем месте другие, а о том, что собираюсь сделать сам. Я думаю о том, что знаю вас уже год; с того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви; настал день, когда вы сказали мне, что любите меня; с этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей; в этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю; я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел.

Моррель сказал все это совершенно спокойно; Валентина испытующе посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Морреля не проникли в глубину ее уже смятенного сердца.

– Но все же, что вы намерены делать? – спросила Валентина.

– Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца, он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне.

– О боже! – прошептала Валентина.

– Прощайте, Валентина, прощайте! – сказал с глубоким поклоном Моррель.

– Куда вы? – воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максимилиана за рукав; она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. – Куда вы идете?

– Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью, и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении.

– Скажите мне, что вы хотите сделать?

Моррель грустно улыбнулся.

– Да говорите же, говорите, умоляю! – настаивала молодая девушка.

– Вы передумали, Валентина?

– Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете! – воскликнула она.

– Тогда прощайте!

Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать; а так как Моррель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула:

– Что вы хотите сделать? Я хочу знать! Куда вы идете?

– О, будьте спокойны, – сказал Максимилиан, приостанавливаясь, – я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к д'Эпине, вызовет его на дуэль, будет с ним драться... Это безумие. При чем тут д'Эпине? Сегодня утром он видел меня впервые, он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и, клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться.

– Но с кем же? Со мной?

– С вами, Валентина? Боже упаси! Женщина священна; женщина, которую любишь, – священна вдвойне.

– Значит, с самим собой, безумный?

– Я ведь сам во всем виноват, – сказал Моррель.

– Максимилиан, – позвала Валентина, – идите сюда, я требую!

Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе; не будь он так бледен, можно было бы подумать, что с ним ничего не произошло.

– Слушайте, что я вам скажу, милая, дорогая Валентина, – сказал он своим мелодичным и задушевным голосом, – такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми, перед родными и перед богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой, я не изображаю из себя ни Манфреда, ни Антони. Но, без лишних слов, без

уверений, без клятв, я отдал свою жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы, я вам уже это сказал и теперь повторяю; но, как бы то ни было, вы уходите от меня и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь один на свете. Моя сестра счастлива в своем замужестве; ее муж мне только зять – то есть человек, который связан со мной только общественными условностями; стало быть, никому на свете больше не нужна моя, теперь бесполезная жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды, пока вы не повенчаетесь, я буду ждать: я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, которыми иногда играет случай. Ведь в самом деле, за это время Франц д'Эпине может умереть, или в минуту, когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо, когда речь идет о его спасении. Так вот, я буду ждать до последней минуты. А когда мое несчастье совершится, непоправимое, безнадежное, я напишу конфиденциальное письмо зятю... и другое – префекту полиции, поставлю их в известность о своем намерении, и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки я застрелюсь. Это так же верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции.

Конвульсивная дрожь потрясла все тело Валентины; она отпустила решетку, за которую держалась, ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам.

Моррель стоял перед ней, мрачный и решительный.

– Сжальтесь, сжальтесь, – сказала она, – вы не покончите с собой, ведь нет?

– Клянусь честью, покончу, – сказал Максимилиан, – но не все ли вам равно? Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста.

Валентина упала на колени, прижав руки к груди; сердце ее разрывалось.

– Максимилиан, – сказала она, – мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я: живи страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся.

– Прощайте, Валентина! – повторил Моррель.

– Боже мой, – сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу, – ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью, я просила, умоляла, заклинала, – он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез. Ну, так вот, – продолжала она твердым голосом, вытирая слезы, – я не хочу умереть от раскаяния, я предпочитаю умереть от стыда. Вы будете жить, Максимилиан, и я буду принадлежать вам и никому другому. Когда? в какую минуту? сейчас? Говорите, приказывайте, я готова.

Моррель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от радости, с просветленным взором, протянул сквозь решетку руки к Валентине.

– Валентина, – сказал он, – дорогой мой друг, так не надо говорить со мной, а если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите заставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть.

– В самом деле, – прошептала Валентина, – кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он. На ком покоятся все мои надежды, на ком останавливается мой растерянный взгляд, на ком отдыхает мое истерзанное сердце? На нем, на нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимилиан; я уйду за тобой, я оставлю родной дом, все оставлю... Все! Какая же я неблагодарная, – воскликнула Валентина, рыдая, – я совсем забыла о дедушке!

– Нет, – сказал Максимилиан, – ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией; так вот, раньше чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам; у него будет двое внуков. Ты мне рассказывала, как он с тобой объясняется и как ты ему отвечаешь; увидишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает, я обещаю тебе счастье!

– Ты видишь, Максимилиан, какую власть ты имеешь надо мной! Я готова поверить в то, что ты мне говоришь, но ведь все это безрассудно. Отец проклянет меня: я знаю его, знаю его непреклонное сердце, никогда он не простит меня. Вот что, Максимилиан: если хитростью, просьбами, благодаря случаю, не знаю как, – словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да?

– Да, клянусь вам, а вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда и что, даже если вас силой потащат к мэру, к священнику, вы все-таки скажете – нет.

– Клянусь тебе в этом, Максимилиан, самым святым для меня на свете именем-именем моей матери!

– Тогда подождем, – сказал Моррель.

– Да, подождем, – откликнулась Валентина, у которой от этого слова отлегло на сердце, – мало ли, что может спасти нас.

– Я полагаюсь на вас, Валентина, – сказал Моррель. – Все, что вы сделаете, будет хорошо; но если к вашим мольбам останутся глухи, если ваш отец, если госпожа де Сен-Меран потребуют, чтобы д'Эпине явился завтра для подписания этого договора...

– Тогда, Моррель... я дала вам слово.

– Вместо того чтобы подписать...

– Я выйду к вам, и мы бежим; но до тех пор не будем искушать бога, не будем видеться; ведь это чудо, это промысел божий, что нас еще не застали; если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды.

– Вы правы, Валентина; но как я узнаю...

– Через нотариуса Дешана.

– Я с ним знаком.

– И от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимилиан, этот брак мне так же ненавистен, как и вам!

– Спасибо, благодарю вас, Валентина, обожаемая моя! Значит, все решено; как только вы укажете мне час, я примчусь сюда, вы переберетесь через ограду, – это будет не трудно; я приму вас на руки; у калитки огорода вас будет ждать карета, я отвезу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех, или ни от кого не будем прятаться, – как вы пожелаете, – и там мы найдем поддержку в сознании своей правоты и воли к счастью и не дадим себя зарезать, как ягненка, который защищается лишь вздохами.

– Пусть будет так! – сказала Валентина. – И я тоже скажу вам, Максимилиан: все, что вы сделаете, будет хорошо.

– Милая!

– Ну что, довольны вы своей женой? – грустно сказала девушка.

– Валентина, дорогая, мало сказать: да.

– Все-таки скажите.

Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее, вместе с ее нежным дыханием, неслись к устам Морреля, который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке.

– До свидания, – сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья, – до свидания!

– Я получу от вас письмо?

– Да.

– Благодарю, моя дорогая жена, до свидания!

Раздался звук невинного, посланного на воздух, поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее.

Моррель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затихал хруст песка под ее шагами; потом с непередаваемой улыбкой поднял глаза к небу, благодаря его за то, что оно послало ему такую любовь, и в свою очередь удалился.

Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в десять утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он, наконец, получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видал ее дочерка.

В записке было сказано:

«Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели. Вчера я пробыла два часа в церкви святого Филиппа Рульского и два часа всей душой молилась богу. Но бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в девять часов вечера.

Я верна своему слову, как верна своему сердцу, Моррель. Это слово дано вам, и это сердце – ваше!

Итак, до вечера, без четверти девять, у решетки.

Ваша жена, Валентина де Вильфор.

P.S. Моей бедной бабушке все хуже и хуже: вчера ее возбуждение перешло в бред; а сегодня ее бред граничит с безумием.

Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии?

Кажется, от бабушки Нуартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером».

Моррель не ограничился сведениями, полученными от Валентины; он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на девять часов вечера.

Затем он заехал к Монте-Кристо; там он узнал больше всего подробностей: Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии; г-жа де Вильфор, со своей стороны, писала ему, прося извинить, что она его не приглашает; но смерть маркиза де Сен-Меран и болезнь его вдовы окутывают это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия.

Накануне Франц был представлен г-же де Сен-Меран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла.

Легко понять, что Моррель был очень взволнован, и такой пронизательный взор, как взор графа, не мог этого не заметить, поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда, — настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться. Но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца.

За этот день Максимилиан двадцать раз перечитал письмо Валентины В первый раз она писала ему, и по какому поводу! И всякий раз, перечитывая это письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой В самом деле, какую власть должна иметь над человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок. Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала! Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей. Она для него и королева и жена, и ему, кажется, мало одной души, чтобы любить ее и благодарить.

Моррель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему: «Я пришла, Максимилиан, я ваша».

Он всё приготовил для побега в огороде, среди люцерны, были спрятаны две приставные лестницы; кабриолет, которым Максимилиан должен был править сам, стоял наготове; он не взял с собой слугу, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции.

Временами Морреля охватывала дрожь; он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую, ту, кому он доньше разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев.

Но когда миновал полдень, когда Моррель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела, любой вопрос, голос друга раздражал бы его; он заперся у себя в комнате, пытаясь читать, но глаза его скользили по строчкам, не видя их; он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега.

Назначенный час приближался.

Еще не бывало случая, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем; Моррель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в шесть часов вечера показали половину девятого Тогда он сказал себе, что пора ехать; хотя подписание договора и назначено в девять, но, по всей вероятности, Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, выехав, по своим часам, ровно в половине девятого с улицы Меле, Моррель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Рульского били восемь.

Лошадь и кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам.

Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы.

Тогда Моррель вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку, в саду еще никого не было Пробило половина девятого.

В ожидании прошло еще полчаса Моррель ходил взад и вперед вдоль ограды и все чаще поглядывал в щель между досками В саду становилось все темнее, но напрасно искал он во тьме белое платье, напрасно ждал, не послышатся ли в тишине шаги.

Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора.

Моррель вынул свои часы они показывали три четверти десятого, но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал два или три раза, возвестили об ошибке его карманных часов, пробив половину десятого.

Значит, прошло уже полчаса после срока, назначенного самой Валентиной, она говорила в девять часов, и скорее даже немного раньше, чем позже.

Для Морреля это были самые тяжелые минуты; каждая секунда ударяла по его сердцу словно свинцовым молотом.

Малейший шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом; тогда, дрожа с головы до ног, он приставлял лестницу и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину.

Пока он таким образом переходил от страха к надежде и у него то и дело замирало сердце, часы на церкви пробили десять.

– Нет, – прошептал в ужасе Максимилиан, – невысказанно, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное; ведь я взвесил все возможности, высчитал, сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось.

И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался пылающим лбом к холодному железу. Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок? Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать? Это были единственные предположения, которые допускал Моррель, и оба они приводили его в отчаяние.

Наконец, он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега и что она лежит без чувств где-нибудь в саду.

– Но, если так, – воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, – я могу потерять ее и буду сам виноват!

Демон, подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашепывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силою логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Моррель решил даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны.

Наконец, пробило половина одиннадцатого; больше невысказанно было ждать, все могло случиться; в висках у Максимилиана стучало, в глазах стоял туман; он перекинул ногу через ограду и соскочил наземь.

Он был у Вильфора, забрался к нему тайком; он предвидел возможные последствия такого поступка, но не для того он зашел так далеко, чтобы теперь отступить.

Некоторое время он шел вдоль стены, затем, стремительно перебежав аллею, бросился в чащу деревьев.

В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом.

Тогда Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал, стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада: вместо ярко освещенных окон, как то полагается в торжественные дни, перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывшего луну.

Только минутами в трех окнах второго этажа, точно растерянный, метался слабый свет. Эти три окна были окнами комнаты г-жи де Сен-Меран.

Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне г-жи де Вильфор.

Моррель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома, что, и не выдав его никогда, хорошо его знал.

Этот мрак и тишина еще больше испугали Морреля, чем отсутствие Валентины.

Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о котором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса.

Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча, скрытый темнотой.

Он уже принял решение: если это Валентина и если она пройдет мимо одна, он окликнет ее; если она не одна, он по крайней мере увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось; если это кто-нибудь другой, можно будет уловить несколько слов из разговора и разгадать эту все еще непонятную тайну.

В это время из-за туч выглянула луна, и Моррель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступеням и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Моррель узнал доктора д'Авриньи.

Видя, что они направляются в его сторону, Моррель невольно стал пятиться назад, пока не натолкнулся на ствол дикого клена, росшего посередине кустарника, здесь он принужден был остановиться.

Вскоре песок перестал хрустеть под ногами Вильфора и доктора.

– Да, дорогой доктор, – сказал королевский прокурор, – положительно, господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой неожиданный удар! Не пытайтесь утешать меня, рана слишком свежа и слишком глубока. Умерла, умерла!

Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым?

– Дорогой господин де Вильфор, – отвечал доктор таким голосом, от которого ужас Морреля еще усилился, – я привел вас сюда не для того, чтобы утешать, совсем напротив.

– Что вы хотите этим сказать? – испуганно спросил королевский прокурор.

– Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем, быть может, кроется еще большее.

– О боже! – прошептал Вильфор, сжимая руки. – Что еще вы мне скажете?

– Мы здесь совсем одни, мой друг?

– Да, конечно. Но зачем такие предосторожности?

– Затем, что я должен сообщить вам ужасную вещь, – сказал доктор, – давайте сядем.

Вильфор не сел, а скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо.

Моррель, похолодев от ужаса, прижал одну руку ко лбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется.

«Умерла, умерла!» – отдавался в его мозгу голос его сердца.

И ему казалось, что он сам умирает.

– Говорите, доктор, я слушаю, – сказал Вильфор, – наносите удар, я готов ко всему.

– Разумеется, госпожа де Сен-Меран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем.

В первый раз за десять минут Моррель вздохнул свободно.

– Горе убило ее, – сказал Вильфор, – да, горе, доктор. Она прожила с маркизом сорок лет...

– Дело не в горе, дорогой друг, – отвечал доктор. – Бывает, хоть и редко, что горе убивает, но оно убивает не в день, не в час, не в десять минут.

Вильфор ничего не ответил; он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора.

– Вы присутствовали при агонии? – спросил д'Авриньи.

– Конечно, – отвечал королевский прокурор, – ведь вы же мне шепнули, чтобы я не уходил.

– Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа де Сен-Меран?

– Разумеется; у маркизы было три припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться; затем с ней сделался припадок, который я счел просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться, когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи. Тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс, и уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее; те же произвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что это столбняк, вы подтвердили это.

– Да, при посторонних, – возразил доктор, – но теперь мы одни.

– Что же вы собираетесь мне сказать?

– Что симптомы столбняка и отравления растительными ядами совершенно тождественны.

Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью.

– Господи, доктор, – сказал он, – вы понимаете, то вы говорите?

Моррель не знал, сон ли все это или явь.

– Послушайте, – сказал доктор, – я знаю, насколько серьезно мое заявление и кому я его делаю.

– С кем вы сейчас говорите с должностным лицом или с другом? – спросил Вильфор.

– С другом, сейчас только с другом Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отравления растительными веществами, что если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что, повторяю вам, я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот, другу я говорю: я три четверти часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за Кончиной госпожи де Сен-Меран, и я не только убежден, что она умерла от отравления, но могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена.

– Доктор, доктор!

– Всё налицо: сонливость попеременно с нервными припадками, чрезмерное мозговое возбуждение, онемение центров. Госпожа де бен-Мерай умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке.

Вильфор схватил доктора за руку.

– О, это невысказано! – сказал он – Это сон, боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!

– Конечно, это может быть, но...

– Но?

– Но я не думаю.

– Доктор, пожалейте меня; за последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума.

– Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу де Сен-Меран?

– Никто.

– Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта?

– Нет.

– У госпожи де Сен-Меран были враги?

– Я таких не знаю.

– Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти?

– Да нет же, господа, нет. Моя дочь – ее единственная наследница; Валентина одна...

О, если бы я мог подумать такую вещь, я вонзил бы себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль.

– Что вы, мой друг! – в свою очередь воскликнул д'Авриньи. – Боже меня упаси обвинять кого-нибудь. Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но, случайность или нет – факт налицо, он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки.

– У кого? Каким образом? О чем?

– Скажем, не ошибся ли Барруа, старый лакей, и не дал ли он маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина?

– Для моего отца?

– Да.

– Но каким образом могла бы госпожа де Сен-Меран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нуартье?

– Очень просто: вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды; к числу таких заболеваний относится паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нуартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит шесть центigramмов бруцина; это количество безвредно для парализованных органов господина Нуартье, который к тому же дошел до него последовательными дозами, но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека.

– Да, но комнаты госпожи де Сен-Меран и господина Нуартье совершенно между собой не сообщаются, и Барруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное – самым добросовестным человеком на свете, и во всех случаях жизни ваши слова для меня – светоч, который, как солнце, освещает мне

путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме: «Ergare humanum est»¹⁸.

– Послушайте, Вильфор, – сказал доктор, – кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне?

– Почему вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?

– Позовите его, я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие.

– И найдете следы яда?

– Нет, не яда, я этого не говорю; но мы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушение, и мы вам скажем: дорогой господин Вильфор, если это была небрежность, следите за вашими слугами; если ненависть – следите за вашими врагами.

– Подумайте, что вы говорите, д'Авриньи! – отвечал подавленный Вильфор. – Как только тайна станет известна кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие, а следствие у меня – разве это мыслимо! Однако, – продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством глядя на доктора, – если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, быть может, я должен дать этому ход; мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит: навлечь на мой дом такой скандал после такого горя! Моя жена и дочь этого не перенесут. Что касается меня, доктор, то, знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое, занимать двадцать пять лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. Огласка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать; но вы человек, вы знаете людей; доктор, доктор, вы мне ничего не говорили, да?

– Дорогой господин де Вильфор, – отвечал с волнением доктор, – мой первый долг – человеколюбие. Если здесь наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу де Сен-Меран; но она умерла; я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества, я согласен. Но вы ищите, ищите неустанно, деятельно, ведь дело может не кончиться одним этим случаем... И когда вы найдете виновного, если только найдете, я скажу вам: вы судья, поступайте так, как вы считаете нужным!

– Благодарю вас, доктор, благодарю! – сказал Вильфор с невыразимой радостью. – У меня никогда не было лучшего друга, чем вы.

И, словно опасаясь, как бы доктор д'Авриньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому.

Они ушли.

Моррель, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и луна осветила его лицо, бледное, как у привидения.

– Небеса явно благосклонны ко мне, но как это страшно! – сказал он. – Но Валентина, бедная! Как она вынесет столько горя?

И, говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесями.

В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, г-жа де Вильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника.

Зато в другом конце дома открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал тусклый свет стоящей на камине свечи, и какая-то тень появилась на балконе. Моррель вздрогнул: ему послышалось, что кто-то рыдает.

Не удивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями – любовью и страхом, – настолько ослабел, что поддался суеверным галлюцинациям.

Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его; это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность, и, повинувшись необузданному юношескому порыву, он выскочил из своего тайника. Не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, невольно вскрикнуть, и тогда поднимется тревога, он в два прыжка миновал цветник, казавшийся в лунном свете белым и

¹⁸ Человеку свойственно ошибаться (лат.).

широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми деревьями, расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь.

Валентина его не видела; ее поднятые к небу глаза следили за серебряным облаком, плывущим в лазури; своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо, и взволнованной девушке казалось, что это душа ее бабушки.

Между тем Моррель пересек прихожую и нащупал перила лестницы; ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги; впрочем, Моррель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора. Если бы перед ним предстал Вильфор, он знал, что делать: он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной; словом, Моррель совершенно обезумел.

К счастью, он никого не встретил.

Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома; он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и, когда он остановился, осматриваясь, рыдание, которое он сразу узнал, указало ему, куда идти. Он обернулся: из-за полуоткрытой двери пробивался луч света и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел.

В глубине алькова, покрытая простыней, под которой угадывались очертания тела, лежала покойница; она показалась Моррелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось узнать.

Около кровати, зарывшись головой в подушки широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий и заломив над головой стиснутые, окаменевшие руки.

Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце; слова слетали с ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные, – такая жгучая боль сжимала ей горло.

Лунный свет, пробиваясь сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевою эту горестную картину.

Моррель не выдержал; он не отличался особой набожностью, не легко поддавался впечатлениям, но видеть Валентину страдающей, плачущей, ломающей руки – это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами, с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины Кореджо обратилось к нему.

Валентина не удивилась, увидев его. Для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений.

Моррель протянул возлюбленной руку.

Валентина вместо всякого объяснения, почему она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала.

Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвно, словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам.

Валентина решила первая.

– Как вы сюда вошли, мой друг? – сказала она. – Увы! я бы сказала вам: добро пожаловать! – если бы не смерть отворила вам двери этого дома.

– Валентина, – сказал Моррель дрожащим голосом, сжимая руки, – я ждал с половины девятого; вас все не было, я встревожился, перелез через ограду, проник в сад; и вот разговор об этом несчастье...

– Какой разговор?

Моррель вздрогнул; он вспомнил все, о чем говорили доктор и Вильфор, и ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы.

– Разговор ваших слуг, – сказал он, – объяснил мне все.

– Но ведь прийти сюда – значило погубить нас, мой друг, – сказала Валентина без ужаса и без гнева.

– Простите меня, – сказал тем же тоном Моррель, – я сейчас уйду.

– Пет, – сказала Валентина, – вас могут встретить, останьтесь здесь.

– По если сюда придут?

Валентина покачала головой.

– Никто по придет, – сказала она, – будьте спокойны, вот паша защита.

И она указала на очертания тола под простыней.

– А что д'Эпине? Скажите, умоляю вас, – продолжал Моррель.

– Он явился, чтобы подписать договор, в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох.

– Ужасно! – сказал Моррель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он был тотчас же наказан за свое себялюбие.

– И что вдвойне тяжело, – продолжала Валентина, – моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее; господа, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня!

– Слышите? – вдруг проговорил Моррель.

Они замолчали.

Слышно было, как открылась дверь, и паркет коридора и ступени лестницы закрипели под чьими-то шагами.

– Это мой отец вышел из кабинета, – сказала Валентина.

– И провожает доктора, – прибавил Моррель.

– Откуда вы знаете, что это доктор? – спросила с удивлением Валентина.

– Просто догадываюсь, – сказал Моррель.

Валентина взглянула на него.

Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице.

Дойдя до передней, он на секунду остановился, по-видимому, не зная, идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен-Меран. Моррель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась, словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов.

Вильфор прошел к себе.

– Теперь, – сказала Валентина, – вам уже не выйти ни через парадную дверь, не через ту, которая ведет в сад.

Моррель растерянно посмотрел на нее.

– Теперь есть только одна возможность и верный выход, – продолжала она, – через комнаты дедушки.

Она поднялась.

– Идем, – сказала она.

– Куда? – спросил Максимилиан.

– К дедушке.

– Мне идти к господину Нуартье?

– Да.

– Подумайте, Валентина!

– Я думала об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем... Идем же.

– Будьте осторожны, Валентина, – сказал Моррель, не решаясь повиноваться, – будьте осторожны; теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво?

– Вполне, – сказала Валентина, – мне совестно только оставить бедную бабушку, я обещала охранять ее.

– Смерть для каждого священна, Валентина, – сказал Моррель.

– Да, – ответила молодая девушка, – к тому же это не надолго. Пойдем.

Валентина прошла коридор и спустилась по маленькой лестнице, ведущей к Нуартье, Моррель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу.

– Барруа, – сказала Валентина, – закройте за нами дверь и никого не впускайте.

И она вошла первая.

Нуартье все еще сидел в кресле, прислушиваясь к малейшему шуму; от Барруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь; он увидел Валентину, и глаза его блеснули.

В походке девушки и в ее манере держаться было что-то серьезное и торжественное. Это поразило старика. В его глазах появилось вопросительное выражение.

– Милый дедушка, – заговорила она отрывисто, – выслушай меня внимательно. Ты знаешь, бабушка Сен-Меран час назад скончалась. Теперь, кроме тебя, нет никого на свете, кто любил бы меня.

Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика.

– Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды?

Паралитик сделал знак, что да.

Валентина взяла Максимилиана за руку.

– В таком случае, – сказала она, – посмотри хорошенько на этого человека.

Старик испытующе и слегка удивленно посмотрел на Морреля.

– Это Максимилиан Моррель, сын почтенного марсельского негоцианта, о котором ты, наверно, слышал.

– Да, – показал старик.

– Это незапятнанное имя, и Максимилиан украсит его славой, потому что в тридцать лет он уже капитан спаги, кавалер Почетного легиона.

Старик показал, что помнит это.

– Так вот, дедушка, – сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана, – я люблю его и буду принадлежать только ему! Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру или убью себя.

В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей.

– Тебе нравится Максимилиан Моррель, правда, дедушка? – спросила Валентина.

– Да, – показал неподвижный старик.

– И ты можешь нас защитить, нас, твоих детей, от моего отца?

Нуартье устремил свой вдумчивый взгляд на Морреля, как бы говоря: «Это смотря по обстоятельствам».

Максимилиан понял.

– Мадемуазель, – сказал он, – в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг; разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нуартье?

– Да, да, именно этою я и хочу, – сказали глаза старика.

Потом он с беспокойством взглянул на Валентину.

– Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка?

– Да.

– Не беспокойся; мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю. – И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глубокой печалью, она добавила: – Он знает все, что я знаю.

С этими словами Валентина поднялась с колец, придвинула Моррелю стул и велела Барруа никого не впускать; затем нежно поцеловав деда и грустно простившись с Моррелем, она ушла.

Тогда Моррель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол, подле лампы.

– Прежде всего, – сказал он, – разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения.

– Я слушаю, – показал Нуартье.

Внушительное зрелище представлял этот старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший таинственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь.

Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Морреля, и он начал говорить с дрожью в голосе.

Он рассказал, как познакомился с Валентиной, как полюбил ее и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии; и не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему:

– Хорошо, продолжайте.

– Вот, сударь, – сказал Моррель, окончив первую часть своего рассказа, – я поведал вам о своей любви и о своих надеждах. Рассказывать ли теперь о наших планах?

– Да, – показал старик.

– Итак, вот на чем мы порешили.

И он рассказал Нуартье: как ждал в огороде кабриолет, как он собирался увезти Валентину, отвезти ее к своей сестре, обвенчаться с ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение господина де Вильфор.

– Нет, – показал Нуартье.

– Нет? – спросил Моррель. – Значит, так поступать не следует?

– Нет.

– Вы не одобряете этот план?

– Нет.

– Тогда есть другой способ, – сказал Моррель.

Взгляд старика спросил: какой?

– Я отправлюсь к Францу д'Эпине, – продолжал Максимилиан, – я рад, что могу вам это сказать в отсутствие мадемуазель де Вильфор, – и буду вести себя так, что ему придется поступить, как порядочному человеку.

Взгляд Нуартье продолжал спрашивать.

– Вам угодно знать, что я сделаю?

– Да.

– Вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об узах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и с этого часа я до самой своей смерти буду ему проданным и верным другом. Если же он не согласится на это из соображений выгоды или из гордости, нелепой после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине; если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет.

Нуартье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо; оно отражало все чувства, о которых говорил Моррель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка.

Однако, когда Моррель кончил, Нуартье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание.

– Нет? – сказал Моррель. – Значит, вы не одобряете этот план, как и первый?

– Да, не одобряю, – показал старик.

– Но что же тогда делать, сударь? – спросил Моррель. – Последними словами госпожи де Сен-Меран было приказание не откладывать свадьбу ее внучки; неужели я должен дать этому свершиться?

Нуартье остался недвижим.

– Понимаю, – сказал Моррель, – я должен ждать.

– Да.

– Но всякая отсрочка погубит пас, сударь. Валентина одна по в силах бороться, и ее принудят, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит; я чудом оказался у вас, но могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможен только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил, – простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, который из них вы предпочитаете? Разрешаете ли вы мадемуазель Валентине довериться моей чести?

– Нет.

– Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину д'Эпине?

– Нет.

– Но, господа, кто же тогда окажет нам помощь, которой мы просим у неба?

В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о небе. Старый якобинец все еще был атеистом.

– Счастливый случай? – продолжал Моррель.

– Нет.

– Вы?

– Да.

– Вы?

– Да, – повторил старик.

– Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь? Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь: наше спасение придет от вас?

– Да.

– Вы в этом уверены?

– Да.

– Вы ручаетесь?

– Да.

И во взгляде, утверждавшем это, было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле, если не во власти.

– О, благодарю вас, тысячу раз благодарю! Но, сударь, если только бог чудом не вернет вам речь и движение, каким образом сможете вы, прикованный к этому креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку?

Улыбка осветила лицо старика, странная улыбка глаз на этом неподвижном лице.

– Так, значит, я должен ждать? – спросил Моррель.

– Да.

– А договор?

Глаза снова улыбнулись.

– Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан?

– Да, – показал Нуартье.

– Так, значит, договор даже не будет подписан! – воскликнул Моррель. – О, простите меня! Ведь можно сомневаться, когда тебе объявляют об огромном счастье: договор не будет подписан?

– Нет, – ответил паралитик.

Несмотря на это, Моррель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи: разве не естественно, что безумный, не ведающий своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы? Слабый толкует о невероятных тяжестях, которые он поднимает, робкий – о великанах, которых он побеждает, бедняк – о сокровищах, которыми он владеет, самый ничтожный поселянин, в своей гордыне, мнит себя Юпитером.

Понял ли Нуартье колебания Морреля, или не совсем поверил высказанной им покорности, по только он пристально посмотрел на него.

– Что вы хотите, сударь? – спросил Моррель. – Чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать?

Взор Нуартье оставался твердым и неподвижным, как бы говоря, что этого ему недостаточно; потом этот взгляд скользнул с лица на руку.

– Вы хотите, чтобы я поклялся? – спросил Максимилиан.

– Да, – так же торжественно показал паралитик, – я этого хочу.

Моррель понял, что старик придает большое значение этой клятве.

Он протянул руку.

– Клянусь честью, – сказал он, – что прежде, чем предпринять что-либо против господина д'Эпине, я подожду вашего решения.

– Хорошо, – показал глазами старик.

– А теперь, сударь, – спросил Моррель, – вы желаете, чтобы я удалился?

– Да.

– Не повидавшись с мадемуазель Валентиной?

– Да.

Моррель поклонился в знак послушания.

– А теперь, – сказал он, – разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь?

Нельзя было ошибиться в выражении глаз Нуартье.

Моррель прикоснулся губами ко лбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем коснулись губы Валентины.

Потом он еще раз поклонился старику и вышел.

На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной; тот ждал Морреля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад.

Очутившись в саду, Моррель добрался до ворот; хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет.

Он сел в него и, совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем, вернулся около полуночи на улицу Меле, бросился на постель и уснул мертвым сном.

XVII. Склеп семьи Вильфор

Через два дня, около десяти часов утра, у дверей г-па де Вильфор теснилась внушительная толпа, а вдоль предместья Сент-Оноро и улицы де-ла-Пепиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей.

Среди этих экипажей выделялся своей формой один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет; он прибыл к месту сбора одним из первых.

Оказалось, что, по странному совпадению, в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Снп-Меран и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух.

Провожающих было немало: маркиз де Сен-Меран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много друзей, и они вместо с тем, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составили многолюдное сборище.

Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли с почтового фургона на траурную колесницу.

Оба тела должны были быть преданы земле на кладбище Пер-Лашез, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Рене, с которой теперь, после десятилетней разлуки, соединились ее отец и мать.

Париж, всегда любопытный, всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упокоения двух представителей старой аристократии, прославленных своей приверженностью к традициям, верностью своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам.

Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Шато-Рено обсуждали эту внезапную смерть.

– Я видел госпожу де Сен-Меран еще в прошлом году в Марселе, – говорил Шато-Рено, – я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить сто лет: удивительно деятельная, с таким цветущим здоровьем и ясным умом. Сколько ей было лет?

– Шестьдесят шесть, – отвечал Альбер, – по крайней мере так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе, ее глубоко потрясла смерть маркиза; говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке.

– Но отчего она в сущности умерла? – спросил Бошан.

– От кровоизлияния в мозг как будто или от апоплексического удара. Или это одно и то же?

– Приблизительно.

– От удара? – повторил Бошан. – Даже трудно поверить. Я два раза видел госпожу де Сен-Меран, она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь не полнокровная женщина. Апоплексический удар от горя – редкость для людей такого сложения.

– Во всяком случае, – сказал Альбер, – какова бы ни была болезнь, которая ее убила, или доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или, вернее, мадемуазель Валентина, или, еще вернее, мой друг Франц теперь – обладатель великолепного наследства: восемьдесят тысяч ливров годового дохода, по-моему.

– Это наследство чуть ли не удвоится после смерти этого старого якобинца Нуартье.

– Вот упорный дедушка! – сказал Бошан. – *Tenacet propositi virum*¹⁹. Он, наверно, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И, право же, он этого добьется. Видно, что он тот самый член Конвента девяносто третьего года, который сказал в тысяча восемьсот четырнадцатом году Наполеону:

«Вы опускаетесь, потому что ваша империя – молодой стебель, утомленный своим ростом; обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражений, – и я обещаю вам пятьсот тысяч солдат, второе Маренго и второй Аустерлиц. Идеи не умирают, ваше величество, они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна».

– По-видимому, – сказал Альбер, – для него люди то же, что идеи. Я только хотел бы знать, как Франц д'Эпине уживется со стариком, который не может обойтись без его жены. Но где же Франц?

– Да он в первой карете, с Вильфором; тот уже смотрит на него как на члена семьи.

¹⁹ Муж, упорный в своих намерениях (лат.).

В каждом из экипажей, следовавших с процессией, шел примерно такой же разговор: удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки д'Авриньи поведал Вильфору.

После часа пути достигли кладбища; день был тихий, но пасмурный, что очень подходило к предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шато-Рено узнал Морреля, приехавшего отдельно в своем кабриолете; он шел один, бледный и молчаливый, по тропинке, обсаженной тисом.

– Каким образом вы здесь? – сказал Шато-Рено, беря молодого капитана под руку. – Разве вы знакомы с Вильфором? Как же я вас никогда не встречал у него в доме?

– Я знаком не с господином де Вильфор, – отвечал Моррель, – я был знаком с госпожой де Сен-Меран.

В эту минуту их догнали Альбер и Франц.

– Не очень подходящее место для знакомства, – сказал Альбер, – но все равно, мы люди не суеверные. Господин Моррель, разрешите представить вам господина Франца д'Эпине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии. Дорогой Франц, это господин Максимилиан Моррель, в лице которого я за твое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности.

Секунду Моррель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве и о торжественности минуты; он постарался ничего не выразить на своем лице и, сдержав себя, поклонился Францу.

– Мадемуазель де Вильфор очень горюет? – спросил Франца Дебрэ.

– Бесконечно, – отвечал Франц, – сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее.

Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Морреля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней?

В эту минуту молодому пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву.

Он взял Шато-Рено под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба.

– Чудесное жилище, – сказал Бошан, взглянув на мавзолей, – это и летний дворец и зимний. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой Франц д'Эпине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же, в качестве философа, предпочел бы скромную дачку, маленький коттедж – вон там, под деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бедным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Пирону. Eoqus²⁰ и все будет кончено... Эх, черт возьми, мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все.

– Право, Бошан, – сказал Франц, – вы несносны. Вы – политический деятель, и политика приучила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных и имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу, которую вы всегда оставляете в вестибюле Палаты депутатов или Палаты пэров.

– Ах, господа, – сказал Бошан, – что такое в сущности жизнь? Ожидание в прихожей у смерти.

– Я начинаю ненавидеть Бошана, – сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Бошану продолжать свои философские рассуждения с Дебрэ.

Семейный склеп Вильфоров представлял собою белый каменный четырехугольник вышиною около двадцати футов; внутренняя перегородка отделяла место Сен-Меранов от места Вильфоров, и у каждой половины была своя входная дверь.

В отличие от других склепов, в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки; за бронзовой дверью глазам открывалось нечто вроде строгого и мрачного преддверья, отделенного стеной от самой могилы.

²⁰ Еду в деревню (лат.).

В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сен-Меранов.

Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика, избравшая Пер-Лашез местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливое созерцание или полную слез молитву посетителей склепа.

Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежащий семье Сен-Меран; они были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз; Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище.

Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись: Шато-Рено, Альбер и Моррель отправились в одну сторону, а Дебрэ и Бошан в другую.

Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища Моррель под каким-то предлогом остановился; он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете, и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город, и хотя сидел в одной карете с Шато-Рено и Альбером, не слышал ни слова из того, что они говорили.

И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал:

– Когда я опять вас увижу, барон?

– Когда вам будет угодно, сударь, – ответил Франц.

– Как можно скорее.

– Я к вашим услугам; хотите, поедем вместе?

– Если это вас не стеснит.

– Нисколько.

Вот почему будущий тесть и будущий зять сели в одну карету, и Моррель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился.

Вильфор и Франц вернулись в предместье Сент-Оноре.

Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть.

– Господин д'Эпипе, – сказал он, – я должен вам нечто напомнить, и это, быть может, не так уж неуместно, как могло бы показаться с первого взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Сен-Меран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась. Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке; по ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Меранов; вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус – Дешан, площадь Бове, предместье Сент-Оноре.

– Сударь, – отвечал д'Эпине, – мадемуазель Валентина теперь в таком горе, – быть может, она не пожелает думать сейчас о замужестве? Право, я опасуюсь...

– Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки, – прервал Вильфор, – так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить.

– В таком случае, – отвечал Франц, – поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным; я дал слово и сдержу его не только с удовольствием, но и с глубокой радостью.

– Тогда не к чему и откладывать, – сказал Вильфор. – Договор должен был быть подписан третьего дня, он совершенно готов; его можно подписать сегодня же.

– Но как же траур? – нерешительно сказал Франц.

– Будьте спокойны, – возразил Вильфор, – у меня в доме не будут нарушены приличия. Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные три месяца в свое поместье Сен-Меран; я говорю в свое поместье, потому что оно принадлежит ей. Там, через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности, тихо и скромно, заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Меран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой.

– Как вам угодно, сударь, – сказал Франц.

– В таком случае, – продолжал Вильфор, – я попрошу вас подождать полчаса; к тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дешаном, мы тут же огласим и подпишем

брачный договор, и сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю.

– Сударь, – сказал Франц, – у меня к вам только одна просьба.

– Какая?

– Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шато-Рено; вы ведь знаете, это мои свидетели.

– Их можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними или мы пошлем кого-нибудь?

– Я предпочитаю съездить сам.

– Так я вас буду ждать через полчаса, барон, и к этому времени Валентина будет готова.

Франц поклонился Вильфору и вышел.

Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явятся нотариус и свидетели барона д'Эпине.

Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Г-жа де Вильфор не хотела ему верить, а Валентину оно сразило, как удар грома.

Она окинула взглядом комнату, как бы ища защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора; он взял ее за руку и отвел в гостиную.

В прихожей Валентина встретила Барруа и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд.

Через минуту после Валентины в гостиную вошла г-жа де Вильфор с маленьким Эдуардом. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе; она была очень бледна и казалась бесконечно усталой.

Она села, взяла Эдуарда к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь.

Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжающих во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом Франц и его друзья.

Через минуту все были в сборе.

Валентина была так бледна, что стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз.

Франц был сильно взволнован.

Шато-Рено и Альбер с недоумением переглянулись; только что окончившаяся церемония, казалось им, была не более печальна, чем предстоявшая.

Госпожа де Вильфор села в тени, у бархатной драпировки, и, так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее на душе.

Вильфор был бесстрастен, как всегда.

Нотариус со свойственной служителям закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу:

– Вы и есть господин Франц де Кенель барон д'Эпине? – спросил он, хотя очень хорошо знал его.

– Да, сударь, – ответил Франц.

Нотариус поклонился.

– Я должен вас предупредить, сударь, – сказал он, – и делаю это от имени господина де Вильфор, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти. Спешу добавить, – продолжал нотариус, – что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным.

– Да, – сказал Вильфор, – но я заранее предупреждаю господина д'Эпине, что, пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал.

– Сударь, – сказал Франц, – я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья, желая породниться с господином де Вильфор, считалась единственно с соображениями чести; я же искал только счастья.

Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности, между тем как две молчаливые слезы скатились по ее щекам.

– Впрочем, сударь, – сказал Вильфор, обращаясь к своему будущему зятю, – если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего лично для вас оскорбительного; оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье. Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж; он был бы так же огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь, а мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса д'Эпипе уже не сможет делать. Прискорбное состояние, в котором находится мой отец, не позволяет говорить с ним о серьезных делах, которых он по слабоумию не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком.

Едва Вильфор договорил и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась и появился Барруа.

– Господа, – сказал он голосом необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам в столь торжественную минуту, – господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем де Кенель бароном д'Эпипе.

Он так же, как и нотариус, во избежание недоразумений, называл жениха полным титулом.

Вильфор вздрогнул, г-жа де Вильфор спустила сына с колен, Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя.

Альбер и Шато-Рено обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз.

Нотариус взглянул на Вильфора.

– Это невозможно, – сказал королевский прокурор, – к тому же господин д'Эпипе сейчас не может уйти из гостиной.

– Господин Нуартье, мой хозяин, желает именно сейчас говорить с господином Францем д'Эпипе по очень важному делу, – с той же твердостью возразил Барруа.

– Значит, дедушка Нуартье заговорил? – спросил Эдуард со своей обычной дерзостью.

Но эта выходка не вызвала улыбки даже у г-жи де Вильфор, настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута.

– Передайте господину Нуартье, что его желание не может быть исполнено, – заявил Вильфор.

– В таком случае господин Нуартье предупреждает, – возразил Барруа, – что он прикажет перенести себя в гостиную.

Изумлению по было границ.

На лице г-жи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки.

Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря небо.

– Валентина, – сказал Вильфор, – подите, пожалуйста, узнайте, что это за новая прихоть вашего дедушки.

Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал.

– Подождите, – сказал он, – я пойду с вами.

– Простите, сударь, – вмешался Франц, – мне кажется, что раз господин Нуартье посылает за мной, то мне и следует исполнить его желание; кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести.

– Ах, боже мой! – сказал Вильфор, видимо встревоженный. – Вам, право, незачем беспокоиться.

– Извините меня, сударь, – сказал Франц тоном человека, решение которого неизменно. – Я не хочу упустить этого случая доказать господину Нуартье, насколько он неправ в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью.

И, не давая Вильфору себя удержать, Франц в свою очередь встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице с радостью утопающего, в последнюю минуту ухватившегося рукой за утес.

Вильфор пошел следом за ними.

Шато-Рено и Морсер обменялись третьим взглядом, еще более недоуменным, чем первые два.

XVIII. Протокол

Нуартье ждал, одетый во все черное, сидя в своем кресле.

Когда все трое, кого он рассчитывал увидеть, вошли, он взглянул на дверь, и камердинер тотчас же запер ее.

– Имейте в виду, – тихо сказал Вильфор Валентине, которая не могла скрыть своей радости, – если господин Нуартье собирается сообщить вам что-нибудь такое, что может воспрепятствовать вашему замужеству, я запрещаю вам понимать его.

Валентина покраснела, по ничего не ответила.

Вильфор подошел к Нуартье.

– Вот господин Франц д'Эпино, – сказал он ему, – вы послали за ним, и он явился по вашему зову. Разумеется, мы уже давно желали этой встречи, и я буду очень счастлив, если она вам докажет, насколько было необоснованно ваше противодействие замужеству Валентины.

Нуартье ответил только взглядом, от которого по телу Вильфора пробежала дрожь.

Потом он глазами подозвал Валентину.

В один миг, благодаря тем способам, которыми она всегда пользовалась при разговоре с дедом, она нашла слово «ключ».

Затем она проследила за взглядом паралитика; взгляд остановился на ящике шкафчика, который стоял между окнами.

Она открыла этот ящик, и действительно там оказался ключ.

Она достала его оттуда, и глаза старика подтвердили, что он требовал именно этого; затем взгляд паралитика указал на старинный письменный стол, уже давно заброшенный, где, казалось, могли храниться разве только старые ненужные бумажки.

– Я должна открыть бюро? – спросила Валентина.

– Да, – показал старик.

– Открыть ящики?

– Да.

– Боковые?

– Нет.

– Средний?

– Да.

Валентина открыла его и вынула оттуда связку бумаг.

– Вам это нужно, дедушка? – сказала она.

– Нет.

Валентина стала вынимать все бумаги подряд; наконец, в ящике ничего не осталось.

– Но ящик уже совсем пустой, – сказала она.

Глазами Нуартье показал на словарь.

– Да, дедушка, понимаю, – сказала Валентина.

И она снова начала называть одну за другой буквы алфавита; на «С» Нуартье остановил ее.

Она стала перелистывать словарь, пока не дошла до слова «секрет».

– Так ящик с секретом? – спросила она.

– Да.

– А кто знает этот секрет?

Нуартье перевел взгляд на дверь, в которую вышел слуга.

– Барруа? – сказала она.

– Да, – показал Нуартье.

– Надо его позвать?

– Да.

Валентина подошла к двери и позвала Барруа.

Между тем на лбу у Вильфора от нетерпения выступил пот, а Франц стоял, остолбенев от изумления.

Старый слуга вошел в комнату.

– Барруа, – сказала Валентина, – дедушка велел мне взять из этого шкафчика ключ, открыть стол и выдвинуть вот этот ящик; оказывается, ящик с секретом; вы его, очевидно, знаете; откройте его.

Барруа взглянул на старика.

– Сделайте это, – сказал выразительный взгляд Нуартье.

Барруа повиновался; двойное дно открылось, и показалась пачка бумаг, перевязанная черной лентой.

- Вы это и требуете, сударь? – спросил Барруа.
- Да, – показал Нуартье.
- Кому я должен передать эти бумаги? Господину де Вильфор?
- Нет.
- Мадемуазель Валентине?
- Нет.
- Господину Францу д'Эпине?
- Да.

Удивленный Франц подошел ближе.

- Мне, сударь? – сказал он.
- Да.

Франц взял у Барруа бумаги и, взглянув на обертку, прочел:

«После моей смерти передать моему другу, генералу Дюрану, который, со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему сыну, с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги».

- Что же я должен делать с этими бумагами, сударь? – спросил Франц.
- Очевидно, чтобы вы хранили в таком же запечатанном виде, – сказал королевский

прокурор.

- Нет, нет, – быстро сказали глаза Нуартье.
- Может быть, вы хотите, чтобы господин д'Эпипо прочитал их? – сказала

Валентина.

- Да, – сказали глаза старика.
- Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги, – сказала Валентина.
- В таком случае сядем, – с досадой сказал Вильфор, – что займет некоторое время.
- Садитесь, – показал глазами старик.

Вильфор сел, по Валентина только оперлась на кресло деда, и Франц остался стоять перед ними.

Он держал таинственный пакет в руке.

- Читайте, – сказали глаза старика.

Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел:

– «Выдержка из протоколов заседания клуба бонапартистов на улице Сен-Жак, состоявшегося пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года».

Франц остановился.

– Пятое февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года! В этот день был убит мой отец!

Валентина и Вильфор молчали; только глаза старика ясно сказали: читайте дальше.

- Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба, – продолжал

Франц.

Взгляд Нуартье по-прежнему говорил: читайте.

Франц продолжал:

– «Мы, нижеподписавшиеся, Луп-Жак Борепэр, подполковник артиллерии, Этьец Дюшамнн, бригадный генерал, и Клод Лешарпаль, директор управления земельными угодьями, заявляем, что четвертого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года с острова Эльба было получено письмо, поручавшее вниманию и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кенель, состоявшего на императорской службе с тысяча восемьсот четвертого года по тысяча восемьсот пятнадцатый год и потому, несомненно, преданного наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком Восемнадцатым титул барона д'Эпине, по названию его поместья.

Вследствие сего генералу де Кенель была послана записка с приглашением на заседание, которое должно было состояться на следующий день пятого февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание; она была без подписи, по в пой сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явятся в девять часов вечера.

Заседания обычно продолжались от девяти часов вечера до полуночи.

В девять часов президент клуба явился к генералу; генерал был готов; президент заявил ему, что он может быть введен в клуб лишь с тем условием, что ему навсегда останется неизвестным место собраний и что он позволит завязать себе глаза и даст клятву не пытаться приподнять повязку.

Генерал де Кенель принял это условие и поклялся честью, что не будет пытаться увидеть, куда его ведут.

Генерал уже заранее распорядился подать свой экипаж; но президент объяснил, что воспользоваться им не представляется возможным, потому что нет смысла завязывать глаза хозяину, раз у кучера они останутся открыты и он будет знать улицы, по которым едет.

«Как же тогда быть?» – спросил генерал.

«Я приехал в карете», – сказал президент.

«Разве вы так уверены в своем кучере, что доверяете ему секрет, который считаете неосторожным сказать моему?»

«Наш кучер – член клуба, – сказал президент, – нас повезет статс-секретарь».

«В таком случае, – сказал, смеясь, генерал, – нам грозит другое, – что он нас опрокинет».

Мы отмечаем эту шутку, как доказательство того, что генерал никоим образом не был насильно приведен на заседание и присутствовал там по доброй воле.

Как только они сели в карету, президент напомнил генералу его обещание позволить завязать себе глаза. Генерал никак не возражал против этой формальности; для этой цели послужил футляр, заранее приготовленный в карете.

Во время пути президенту показалось, что генерал пытается взглянуть из-под повязки; он напомнил ему о клятве.

«Да, да, вы правы», – сказал генерал.

Карета остановилась у одной из аллей улицы Сен-Жак. Генерал вышел из кареты, опираясь на руку президента, звание которого оставалось ему неизвестно и которого он принимал за простого члена клуба; они пересекли аллею, поднялись во второй этаж и вошли в комнату совещаний.

Заседание уже началось. Члены клуба, предупрежденные о том, что в этот вечер состоится нечто вроде представления по воле члена, были в полном сборе. Когда генерала довели до середины залы, ему предложил снять повязку. Он немедленно воспользовался предложением и был, по-видимому, очень удивлен, увидав так много знакомых лиц на заседании общества, о существовании которого он даже и по подозревал.

Его спросили о его взглядах, но он ограничился ответом, что они должны быть уже известны из писем с Эльбы...

Франц прервал чтение.

– Мой отец был роялистом, – сказал он, – его незачем было спрашивать об его взглядах, они всем были известны.

– Отсюда и возникла моя связь с вашим отцом, дорогой барон, – сказал Вильфор, – легко сходишься с человеком, если разделяешь его взгляды.

– Читайте дальше, – говорили глаза старика.

Франц продолжал:

– «Тогда взял слово президент и пригласил генерала высказаться обстоятельнее, но господин де Кенель ответил, что сначала желает узнать, чего от него ждут.

Тогда генералу огласили то самое письмо с острова Эльба, которое рекомендовало его клубу как человека, на чье содействие можно рассчитывать. Целый параграф этого письма был посвящен возможному возвращению с острова Эльба и обещал новое более подробное письмо по прибытии «Фараона» – судна, принадлежащего марсельскому арматору Моррелю, с капитаном, всецело преданным императору.

Во время чтения этого письма генерал, на которого рассчитывали как на собрата, выказывал, наоборот, все признаки недовольства и явного отвращения.

Когда чтение было окончено, он продолжал безмолвствовать, нахмутив брови.

«Ну что же, генерал, – спросил президент, – что вы скажете об этом письме?»

«Я скажу, – ответил он, – что слишком еще недавно приносил присягу королю Людовику Восемнадцатому, чтобы уже нарушать ее в пользу экс-императора».

На этот раз ответ был настолько ясен, что убеждения генерала уже не оставляли сомнений.

«Генерал, – сказал президент, – для нас не существует короля Людовика Восемнадцатого, как не существует экс-императора. Есть только его величество император и король, насилием и изменой удаленный десять месяцев тому назад из Франции, своей державы».

«Извините, господа, – сказал генерал, – возможно, что для вас и не существует короля Людовика Восемнадцатого, но для меня он существует: он возвел меня в баронское достоинство и назначил фельдмаршалом, и я никогда не забуду, что обоими этими званиями я обязан его счастливому возвращению во Францию».

«Сударь, – очень серьезно сказал, вставая, президент, – обдумывайте то, что вы говорите; ваши слова ясно показывают нам, что на острове Эльба на ваш счет ошиблись и ввели нас в заблуждение. Сообщение, сделанное вам, вызвано тем доверием, которое к вам питали, то есть чувством, для вас лестным. Оказывается, что мы ошибались; титул и высокий чин заставили вас примкнуть к новому правительству, которое мы намерены свергнуть. Мы не будем принуждать вас оказать нам содействие; мы никого не зовем в свои ряды против его совести и воли, но мы принудим вас поступить, как подобает благородному человеку, даже если это и не соответствует вашим намерениям».

«Вы считаете это благородным – знать о вашем заговоре и не раскрыть его! А я считаю это сообщничеством. Как видите, я еще откровеннее вас...»

– Отец, отец, – сказал Франц, прерывая чтение, – теперь я понимаю, почему они тебя убили!

Валентина невольно посмотрела на Франца: молодой человек был поистине прекрасен в своем сыновнем порыве.

Вильфор ходил взад и вперед по комнате.

Нуартье следил глазами за выражением лица каждого и сохранял свой строгий и полный достоинства вид.

Франц снова взялся за рукопись и продолжал:

– «Сударь, – сказал президент, – вас пригласили явиться на заседание, вас не силой сюда притащили; вам предложили завязать глаза, вы на это согласились. Изъявляя согласие на оба эти предложения, вы отлично знали, что мы занимаемся не укреплением трона Людовика Восемнадцатого, иначе нам незачем было бы так заботливо скрываться от полиции. Знаете, это было бы слишком просто – надеть маску, позволяющую проникнуть в чужие тайны, а затем снять эту маску и погубить тех, кто вам доверился. Нет, нет, вы сначала откровенно скажите нам, за кого вы стоите: за случайного короля, который в настоящее время царствует, или за его величество императора».

«Я роялист, – отвечал генерал, – я присягал Людовику Восемнадцатому, и я останусь верен своей присяге».

Эти слова вызвали общий ропот, и по лицам большинства членов клуба было видно, что они хотели бы заставить господина д'Эпине раскаяться в его необдуманном заявлении. Президент снова встал и водворил тишину.

«Сударь, – сказал он ему, – вы слишком серьезный и слишком рассудительный человек, чтобы не давать себе отчета в последствиях того положения, в котором мы с вами очутились, и самая ваша откровенность подсказывает нам те условия, которые мы должны вам поставить: вы поклянетесь честью никому ничего не сообщать из того, что вы здесь слышали».

Генерал схватился за эфес своей шпаги и воскликнул: «Если уж говорить о чести, то прежде всего не преступайте ее законов и ничего силой не навязывайте!»

«А вы, сударь, – продолжал президент со спокойствием, едва ли не более грозным, чем гнев генерала, – советую вам, оставьте в покое вашу шпагу».

Генерал обвел присутствующих взглядом, в котором выразилось некоторое беспокойство. Все же он не сдавался; напротив, он собрал все свое мужество.

«Я не дам вам такой клятвы», – сказал он.

«В таком случае, сударь, – спокойно ответил президент, – вам придется умереть».

Господин д'Эпине сильно побледнел; он еще раз окинул взглядом окружающих; некоторые члены клуба перешептывались и искали под своими плащами оружие.

«Генерал, – сказал президент, – не беспокойтесь; вы находитесь среди людей чести, которые испробуют все средства убедить вас, прежде чем прибегнуть к крайности; но с другой стороны, вы сами это сказали, вы находитесь среди заговорщиков; у вас в руках наша тайна, и вы должны нам ее возвратить».

Многочисленное молчание последовало за этими словами; генерал ничего не ответил.

«Заприте двери», – сказал тогда президент.

Мертвое молчание продолжалось и после этих слов.

Тогда генерал выступил вперед и, делая над собой страшное усилие, сказал:

«У меня есть сын. Находясь среди убийц, я обязан подумать о нем».

«Генерал, – ответил с достоинством председатель собрания, – один человек всегда может безнаказанно оскорбить пятьдесят; это привилегия слабости. Но он напрасно пользуется этим правом. Советую вам, генерал, поклянитесь и не оскорбляйте нас».

Генерал, снова укрошенный превосходством председателя собрания, минуту колебался, наконец, подойдя к столу президента, он спросил:

«Какова формула клятвы?»

«Вот она:

«Клянусь честью некогда не открывать кому бы то ни было то, что я видел и слышал пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, между девятью и десятью часами вечера, и заявляю, что заслуживаю смерти, если нарушу эту клятву».

Генерала, видимо, охватила нервная дрожь, которая в течение нескольких секунд мешала ему что-либо ответить; наконец, преодолевая явное отвращение, он произнес требуемую клятву, по так тихо, что его с трудом можно было расслышать; поэтому некоторые из членов потребовали, чтобы он повторил ее, более громко и отчетливо, что и было исполнено.

«Теперь я хотел бы удалиться, – сказал генерал, – свободен ли я наконец?»

Президент встал, выбрал трех членов собрания, которые должны были ему сопутствовать, и сел с генералом в карету, предварительно завязав ему глаза. В числе этих трех членов находился и тот, который исполнял роль кучера.

Остальные члены клуба молча разошлись.

«Куда вам угодно, чтобы мы отвезли вас?» – спросил президент.

«Куда хотите, лишь бы я был избавлен от вашего присутствия», – ответил господин д'Эпине.

«Сударь, – сказал на это президент, – берегитесь, вы больше не в собрании, вы теперь имеете дело с отдельными людьми; не оскорбляйте их, если по желаете, чтобы вас заставили отвечать за оскорбление».

Но вместо того чтобы попятить эти слова, господин д'Эпине ответил:

«В своей карете вы так же храбры, как и у себя в клубе, по той причине, сударь, что четверо всегда сильнее одного».

Президент приказал остановить карету.

Они находились как раз в том месте набережной Орм, где есть лестница, ведущая вниз к реке.

«Почему вы здесь остановились?» – спросил господин д'Эпине.

«Потому, сударь, – сказал президент, – что вы оскорбили человека, и этот человек не желает сделать ни шагу дальше, не потребовав у вас законного удовлетворения».

«Еще один способ убийства», – сказал, пожимая плечами, генерал.

«Потише, сударь, – отвечал президент, – если вы не желаете, чтобы я счел вас самого одним из тех людей, о которых вы только что говорили, то остей трусом, делающим себе щит из собственной слабости. Вы один, и один будет биться с вами; вы при шпаге, у меня в трости тоже есть шпага; у вас нет секунданта, – один из этих господ будет вашим секундантом. Теперь, если вам угодно, вы можете спать повязку».

Генерал немедленно сорвал платок с глаз.

«Наконец-то я узнаю, с кем имею дело», – сказал он.

Дверца кареты открылась; все четверо вышли...»

Франц снова прервал чтение. Он вытер холодный пот, выступивший у него на лбу; страшно было видеть, как бледный и дрожащий сын читает вслух неизвестные донные подробности смерти своего отца.

Валентина сложила руки, словно молясь.

Нуартье смотрел на Вильфора с непередаваемым выражением гордости и презрения.

Франц продолжал:

– «Это было, как уже сказано, пятого февраля. В последние дни стоял мороз градусов в пять-шесть, лестница вся обледенела; генерал был высок и тучен, и президент, спускаясь к реке, предоставил ему ту сторону лестницы, где были перила.

Оба секунданта следовали за ним.

Было совсем темно, пространство между лестницей и рекой было мокрое от снега и инея, и перед ними текла река, черная, глубокая, кое-где покрытая плывущими льдинами.

Один из секундентов сходил за фонарем на угольную барку, и при свете этого фонаря осмотрели оружие.

Шпага президента, обыкновенный клинок, какие носят в тросточке, была на пять дюймов короче шпаги его противника и без чашки.

Генерал д'Эпине предложил раздать шпаги по жребию; но президент ответил, что это он вызвал его и, делая вызов, имел в виду, что каждый будет действовать своим оружием.

Секунданты не хотели с этим соглашаться; президент заставил их замолчать.

Фонарь поставили на землю; противники стали по обе его стороны; поединок начался.

В свете фонаря шпаги казались двумя молниями. Люди же были едва видны, настолько было темно.

Генерал считался одним из лучших фехтовальщиков во всей армии. Но он сразу же встретил такой натиск, что отступил; отступая, он упал.

Секунданты думали, что он убит; но его противник, зная, что не ранил его, подал ему руку, чтобы помочь подняться. Это обстоятельство, вместо того чтобы успокоить генерала, еще больше раздражило его, и он в свою очередь бросился на противника.

Но его противник не отступал ни на шаг и парировал его выпады. Трижды генерал отступал и трижды снова пытался атаковать.

На третий раз он снова упал.

Все думали, что он опять поскользнулся; однако, видя, что он не встает, секунданы подошли к нему и пытались поставить его на ноги; но тот, кто подхватил его, почувствовал под рукой что-то теплое и мокрое.

Это была кровь.

Генерал, павший в полуобморочное состояние, пришел в себя.

«А, – сказал он, – против меня выпустили наемного убийцу, какого-нибудь полкового учителя фехтования?»

Президент, ничего ему не ответив, подошел к тому из секундентов, который держал фонарь, и, засучив рукав, показал на своей руке две сквозных раны; затем, распахнув фрак и расстегнув жилет, обнажил бок, в котором также зияла рана.

А между тем он не испустил даже вдоха.

У генерала д'Эпине началась агония, и через пять минут он умер...»

Франц прочел эти последние слова таким глухим голосом, что их едва можно было расслышать; потом он умолк и провел рукой по глазам, точно сгоняя с них туман.

Но после минутного молчания он продолжал:

– «Президент вложил шпагу в тросточку и вновь поднялся по лестнице; кровавый след на снегу отмечал его путь. Не успел он еще дойти до верха лестницы, как услышал глухой всплеск воды: это секунданы бросили в реку тело генерала, удостоверившись в его смерти.

Таким образом, генерал пал в честном поединке, а не в западне, как могли бы уверять.

В удостоверение чего мы подписали настоящий протокол, дабы установить истину, из опасения, что может наступить минута, когда кто-либо из участников этого ужасного события будет обвинен в преднамеренном убийстве или в нарушении законов чести.

Подписано: Борепэр, Дюшампи, Лешарпаль».

Когда Франц окончил это столь тягостное для сына чтение, Валентина, бледнея от волнения, вытерла слезы, а Вильфор, дрожащий и забившийся в угол, пытаясь отвлечь бурю, умоляюще посмотрел на безжалостного старца.

– Сударь, – сказал д'Эпине, обращаясь к Нуартье, – вам известны все подробности этого ужасного происшествия, вы заверили его подписями уважаемых лиц; и раз вы, по-видимому, интересуетесь мною, хотя этот интерес и проявился пока только в том, что вы причинили мне страдание, не откажите мне в последнем одолжении: назовите имя президента клуба, чтобы я знал, наконец, кто убил моего отца.

Вильфор, совершенно растерянный, искал ручку двери. Валентина, раньше всех угадавшая, каков будет ответ старика, и не раз видевшая на его предплечье следы двух ударов шпагой, отступила на шаг.

– Во имя неба, мадемуазель, – сказал Франц, обращаясь к своей невесте, – поддержите мою просьбу, чтобы я мог узнать имя человека, который сделал меня сиротой в двухлетнем возрасте!

Валентина стояла молча и не шевелясь.

– Послушайте, – сказал Вильфор, – верьте мне, не будем продолжать этой тяжелой сцены; к тому же имена скрыты умышленно. Мой отец и сам не знает, кто был этот президент, а если и знает, то не сможет вам этого передать; в словаре нет собственных имен.

– Какое несчастье! – воскликнул Франц. – Только одна надежда, которая поддерживала меня, пока я читал, и дала мне силы дочитать до конца, я надеялся по крайней мере узнать имя того, кто убил моего отца! Сударь, сударь, – воскликнул он, обращаясь к Нуартье, – ради бога, сделайте все, что можете... умоляю вас, попытайтесь указать мне, дать мне понять...

– Да! – ответили глаза Нуартье.

– Мадемуазель! – воскликнул Франц. – Ваш дедушка показал, что он может назвать... этого человека... Помогите мне... вы понимаете его...

Нуартье посмотрел на словарь.

Франц с нервной дрожью взял его в руки и назвал одну за другой вес буквы алфавита вплоть до Я.

На этой будто старик сделал утвердительный знак.

– Я? – повторил Франц.

Палец молодой человека скользил по словам, но на каждом слове Нуартье делал отрицательный знак.

Валентина закрыла лицо руками.

Тогда Франц вернулся к местоимению «я».

– Да, – показал старик.

– Вы! – воскликнул Франц, и волосы его стали дыбом. – Вы, господин Нуартье? Это вы убили моего отца?

– Да, – отвечал старик, величественно глядя ему в лицо.

Франц без слов упал в кресло.

Вильфор открыл дверь и выбежал из комнаты, потому что ему страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.

XIX. Успехи Кавальканти сына

Тем временем г-н Кавальканти-отец отбыл из Парижа, чтобы вернуться на свой пост, но не в войсках его величества императора австрийского, а у рулетки лукских минеральных вод; он был одним из ее самых ревностных почитателей.

Само собой разумеется, что он с самой добросовестной точностью увез с собой до последнего гроша всю сумму, назначенную ему в награду за его путешествие и за ту величавость и торжественность, с которыми он играл роль отца.

После его отъезда Андреа получил все документы, удостоверяющие, что он действительно имеет честь быть сыном маркиза Бартоломео и маркизы Оливы Корспнари.

Таким образом, он уже более или менее твердо стоял на якоре в парижском обществе, которое так легко принимает иностранцев и относится к ним не сообразно с тем, что они есть, а сообразно с тем, чем они желают быть.

Да и что требуется в Париже от молодого человека? Уметь кое-как говорить, прилично одеваться, смело играть и расплачиваться золотом.

Разумеется, к иностранцу предъявляют еще меньше требований, чем к парижанину.

Итак, недели через две Андреа занимал уже недурное положение; его именовали графом, считали, что у него пятьдесят тысяч ливров годового дохода, и говорили о несметных богатствах его отца, зарытых будто бы в каменоломнях Саравеццы.

Некий ученый, при котором упомянули о последнем обстоятельстве как о непреложном факте, заявил, что видел названные каменоломни, и это придавало огромный вес не вполне еще обоснованным утверждениям; отныне они приобрели осязательную достоверность.

Так обстояли дела в том кругу парижского общества, куда мы ввели наших читателей, когда однажды вечером Монте-Кристо заехал с визитом к господину Данглару. Самого Данглара не было дома, но баронесса принимала, и графа спросили, доложить ли о нем; он изъявил согласие.

Со времени обеда в Отейло и последовавших за ним событий г-жа Данглар не могла без нервной дрожи слышать имя графа Монте-Кристо. Если вслед за звуком этого имени не появлялся сам граф, тягостное ощущение усиливалось; напротив, когда граф появлялся, его открытое лицо, его блестящие глаза, его изысканная любезность, даже галантность по отношению к г-же

Данглар быстро рассеивали последнюю тень тревоги. Баронессе казалось невозможным, что человек, внешне столь очаровательный, мог питать относительно нее какие-либо дурные намерения; впрочем, даже самые испорченные души не допускают, что возможно зло, не обоснованное какой-нибудь выгодой; бесцельное и беспричинное зло претит, как уродство.

Монте-Кристо вошел в тот будуар, куда мы уже однажды приводили наших читателей и где сейчас баронесса беспокойным взглядом скользила по рисункам, которые ей передала дочь, предварительно посмотрев их вместе с Кавальканти-сыном. Его появление произвело свое обычное действие, и, встревоженная сначала звуком его имени, баронесса встретила его улыбкой.

Он, со своей стороны, одним взглядом охватил всю эту сцену.

Рядом с баронессой, полулежавшей на козетке, сидела Эжени, а перед ней стоял Кавальканти.

Кавальканти, весь в черном, как гетевский герой, в лакированных башмаках и белых шелковых носках со стрелкой, проводил довольно белой и выхоленной рукой по своим светлым волосам, сверкая бриллиантом, который, не устояв перед искушением и невзирая на советы Монте-Кристо, тщеславный молодой человек надел на мизинец.

Это движение сопровождалось убийственными взглядами в сторону мадемуазель Данглар и вздохами, летевшими по тому же адресу, что и взгляды.

Мадемуазель Данглар была верна себе – то есть прекрасна, холодна и насмешлива. Ни один из взглядов, ни один из вздохов Андреа не ускользал от нее; казалось, они ударялись о панцирь Миневры, панцирь, который, по утверждению некоторых философов, порою облекает грудь Сафо.

Эжени холодно поклонилась графу и воспользовалась завязавшимся разговором, чтобы удалиться в гостиную, предназначенную для ее занятий; оттуда вскоре послышались два громких и веселых голоса, вперемежку со звуками рояля, из чего Монте-Кристо мог заключить, что мадемуазель Данглар обществу его и г-на Кавальканти предпочла общество мадемуазель Луизы д'Армильи, своей учительницы пения.

Между тем граф, который разговаривал с г-жой Данглар и казался очарованным беседой с ней, сразу заметил озабоченность Андреа Кавальканти: тот время от времени подходил к двери послушать музыку и, не решаясь переступить порог, жестами выражал свое восхищение.

Вскоре вернулся домой банкир. Правда, его первый взгляд принадлежал Монте-Кристо, но второй он бросил на Андреа.

Что касается супруги, то он поздоровался с нею точно так, как иные мужья обычно здороваются со своими женами, о чем холостяки смогут составить себе представление лишь тогда, когда будет издано очень пространное описание брачных отношений.

– Разве наши барышни не пригласили вас заняться музыкой вместе с ними? – спросил Данглар Андреа.

– Увы, нет, сударь, – отвечал Андреа с еще более проникновенным вздохом, чем прежние.

Данглар немедленно подошел к двери и распахнул ее.

Присутствующие увидели двух девушек, сидящих за роялем вдвоем на одной табуретке. Они сопровождали себе каждая одной рукой, – собственная их выдумка, в которой они достигли замечательного искусства.

Мадемуазель д'Армильи, представлявшая в эту минуту вместе с Эжени в рамке открытой двери одну из тех живых картин, которые так любят в Германии, была очень хороша собой, или, вернее, очаровательно мила. Она была маленькая, тоненькая и золотоволосая, как фея, с длинными локонами, падавшими ей на шею, немного слишком длинную, как у мадонн Перуджино, и с подернутыми дымкой усталости глазами. Говорили, что у нее слабые легкие и что, подобно Антонию из «Кремонской скрипки», она в один прекрасный день умрет во время пения.

Монте-Кристо бросил быстрый любопытный взор в этот гинекей; он в первый раз видел мадемуазель д'Армильи, о которой он так часто слышал в этом доме.

– А что же мы? – спросил банкир свою дочь. – Нас отвергают?

Затем он провел Андреа в гостиную и, случайно или с умыслом, притворил за ним дверь таким образом, что с того места, где сидели Монте-Кристо и баронесса, ничего не было видно; но так как барон прошел туда следом за Андреа, то г-жа Данглар, по-видимому, не обратила на это обстоятельство никакого внимания.

Вскоре граф услышал голос Андреа, поющего под аккомпанемент рояля какую-то корсиканскую песню.

В то время как граф с улыбкой слушал эту песню, забывая Андреа и вспоминая Бенедетто, г-жа Данглар восхищенно рассказывала ему о самообладании ее мужа, который в это утро потерял из-за банкротства какой-то миланской фирмы триста или четыреста тысяч франков.

И в самом деле, барон заслуживал восхищения; если бы граф не услышал этого от баронессы или не узнал одним из тех способов, которыми он узнавал все, то по лицу барона он ни о чем бы не догадался.

«Вот как! – подумал Монте-Кристо. – Ему уже приходится скрывать свои потери; еще месяц назад он ими хвастался».

Вслух он сказал:

– Но, сударыня, господин Данглар такой знаток биржи, он всегда сумеет возместить на ней все, что потеряет в другом месте.

– Я вижу, вы разделяете всеобщее заблуждение, – сказала г-жа Данглар.

– Какое заблуждение? – спросил Монте-Кристо.

– Все думают, что господин Данглар играет на бирже, но это неправда.

– Ах, в самом деле, сударыня, я вспоминаю, что господин Дебрэ говорил мне... Кстати, куда это девался господин Дебрэ? Я его не видел уже дня три-четыре.

– Я тоже, – сказала г-жа Данглар с изумительным апломбом. – Но вы начали что-то говорить и не докончили.

– О чем же я говорил?

– Что Дебрэ сказал вам...

– Да, верно; Дебрэ сказал, что это вы поклоняетесь демону азарта.

– Да, признаюсь, одно время так и было, – сказала г-жа Данглар, – но теперь меня это больше не занимает.

– И напрасно, сударыня. Знаете, ведь судьба изменчива, а в спекуляциях все зависит от удачи и неудачи. Будь я женщиной, да еще женой банкира, как бы я ни верил в счастье своего мужа, я бы непременно составил себе независимое состояние, даже если бы мне для этого пришлось доверить свои интересы незнакомым ему рукам.

Госпожа Данглар невольно вспыхнула.

– Да вот, например, – сказал Монте-Кристо, делая вид, что ничего не заметил, – вы слышали об удачной комбинации, которую вчера проделали с неаполитанскими бонами?

– У меня их нет, – быстро ответила баронесса, – и даже никогда не было; но, право, мы уже достаточно поговорили о бирже, граф; словно мы с вами два маклера. Поговорим лучше об этих несчастных Вильфорах, которых так преследует судьба.

– А что с ними случилось? – спросил Монте-Кристо с полнейшей наивностью.

– Да вы же знаете, господин де Сен-Меран умер через три или четыре дня после своего отъезда, а теперь умерла маркиза, через три или четыре дня после своего приезда.

– Ах, да, я слышал об этом, – сказал Монте-Кристо. – Но, как говорит Клавдий Гамлету, это закон природы: отцы их умерли раньше их, и им пришлось их оплакивать; они умрут раньше своих сыновей, и их будут оплакивать их сыновья.

– Но это еще не все.

– Как, не все?

– Нет. Вы знаете, они собирались выдать замуж свою дочь...

– Да, за господина Франца д'Эпипе... Разве свадьба расстроилась?

– Говорят, вчера утром Франц вернул им слово.

– Да неужели?... А какая причина разрыва?

– Неизвестно.

– Что вы говорите, боже милостивый! А как переносит все эти несчастья господин де Вильфор?

– По своему обыкновению – как философ.

В эту минуту возвратился Данглар.

– Что это, – сказала баронесса, – вы оставляете господина Кавальканти одного с вашей дочерью?

– А мадемуазель д'Армилли, – сказал барон, – за кого вы ее считаете?

Затем он обернулся к Монте-Кристо:

– Милейший молодой человек этот князь Кавальканти, правда, граф?.. Только князь ли он?

– За это я не поручусь, – сказал Монте-Кристо. – Мне представили его отца как маркиза, так что он, по-видимому, граф; но мне кажется, он и сам не особенно претендует на княжеский титул.

– Почему же? – сказал банкир. – Если он князь, то ему нечего это скрывать. У каждого свои права. Не люблю, когда отрицают свое происхождение.

– Ну, вы известный демократ, – сказал с улыбкой Монте-Кристо.

– Но послушайте, – сказала баронесса, – в какое положение вы себя ставите, если бы вдруг приехал де Морсер, он застал бы господина Кавальканти в комнате, куда ему, жениху Эжени, никогда не разрешалось входить.

– Вы совершенно верно сказали «вдруг», – возразил банкир. – По совести говоря, мы его так редко видим, что он, можно сказать, действительно появляется у нас только вдруг.

– Словом, если бы он явился и увидел этого молодого человека подле вашей дочери, он мог бы остаться недоволен.

– Недоволен, он? Вы сильно ошибаетесь! Господин виконт не оказывает нам чести ревновать свою невесту, он ее не так сильно любит. Да и что мне за дело, будет он недоволен или нет?

– Однако наши отношения...

– Ах, наши отношения; угодно вам знать, какие у нас с ним отношения? На балу, который давала его мать, он только один раз танцевал с моей дочерью, а господин Кавальканти три раза танцевал с ней, и он этого даже не заметил.

– Господин виконт Альбер де Морсер! – доложил камердинер.

Баронесса поспешно встала. Она хотела пройти в маленькую гостиную, чтобы предупредить дочь, но Данглар удержал ее за руку.

– Оставьте, – сказал он.

Она удивленно взглянула на него.

Монте-Кристо сделал вид, что не заметил этой сцены.

Вошел Альбер: он был очень красив и очень весел. Он непринужденно поклонился баронессе, фамильярно Данглару и дружелюбно Монте-Кристо; потом обернулся к баронессе:

– Позвольте спросить вас, сударыня, – сказал он, – как себя чувствует мадемуазель Данглар?

– Отлично, сударь, – быстро ответил Данглар, – она сейчас занимается музыкой в своей маленькой гостиной вместе с господином Кавальканти.

Альбер остался спокойным и равнодушным; быть может, в нем и шевельнулось что-то вроде досады, но он чувствовал, что Монте-Кристо смотрит на него.

– У господина Кавальканти прекрасный тенор, а у мадемуазель Эжени великолепное сопрано, не говоря уже о том, что она играет на рояле, как Тальборг. Это, должно быть, очаровательный концерт.

– Во всяком случае они прекрасно спелись, – сказал Данглар.

Альбер, казалось, не заметил этой двусмысленности, настолько грубой, что г-жа Данглар покраснела.

– Я тоже музыкант, – продолжал он, – так по крайней мере утверждали мои учителя; но вот странно, я никогда не мог ни с кем спеться, с сопрано даже меньше, чем с какими-нибудь другими голосами.

Данглар кисло улыбнулся, как бы говоря: «Да рассердись же!»

– Так что вчера, – сказал он, видимо, все-таки надеясь добиться своего, – князь и моя дочь вызвали общее восхищение. Разве вы вчера не были у нас, сударь?

– Какой князь? – спросил Альбер.

– Князь Кавальканти, – отвечал Данглар, упорно величавший Андреа этим титулом.

– Ах, простите, – сказал Альбер, – я не знал, что он князь. Так вчера князь Кавальканти пел вместе с мадемуазель Эжени? Поистине это должно было быть восхитительно, я страшно жалею, что не слышал их. Но я не мог воспользоваться вашим приглашением, мне пришлось сопровождать мою мать к старой баронессе Шато-Рено, где поли немцы.

Затем, после небольшого молчания, он спросил, как ни в чем не бывало:

– Могу ли я засвидетельствовать свое почтение мадемуазель Данглар?

– Нет, подождите, умоляю вас, – сказал банкир, останавливая его, – послушайте, эта каватина прелестна – та, та, та, ти, та, ти, та, та; это восхитительно, сейчас конец... еще секунда; прекрасно! браво, браво, браво!

И банкир принялся неистово аплодировать.

– В самом деле, – сказал Альбер, – это превосходно, нельзя лучше понимать музыку своей родной страны, чем понимает князь Кавальканти. Ведь вы сказали «князь», если не ошибаюсь? Впрочем, если он и не князь, его сделают князем, в Италии это не трудно. Но вернемся к нашим восхитительным певцам Вам следовало бы доставить нам всем удовольствие, господин Данглар: не предупреждая о том, что здесь есть посторонний, попросите мадемуазель Данглар и господина Кавальканти спеть что-нибудь еще. Так приятно наслаждаться музыкой немного издали, в тени, когда тебя никто не видит и ты сам ничего не видишь, не стесняешь исполнителя; тогда он может свободно отдаться влечению своего таланта и порывам своего сердца.

На этот раз Данглар был сбит с толку хладнокровием Альбера.

Он отвел Монте-Кристо в сторону.

– Ну, что вы скажете о нашем влюбленном? – спросил он.

– По-моему, он довольно холоден, это бесспорно. Но что поделаешь? Вы дали слово!

– Да, конечно, я дал слово; но в чем? Отдать свою дочь человеку, который ее любит, а не человеку, который ее не любит. Посмотрите на него: холоден, как мрамор, надменен, как его отец; будь он хоть богат, будь у него состояние Кавальканти, можно было бы не обращать на это внимания. Говоря откровенно, я еще не спросил мнения дочери; но если бы у нее был хороший вкус...

– Не знаю, – сказал Монте-Кристо, – быть может, симпатия к нему ослепляет меня, но уверяю вас, что виконт до Морсер очень милый молодой человек, который сделает вашу дочь счастливой и который рано или поздно чего-нибудь достигнет; ведь отец его занимает прекрасное положение.

– Гм! – промычал Данглар.

– Вы сомневаетесь?

– Да вот, прошлое... темное прошлое.

– Но прошлое отца не касается сына.

– Совсем напротив!

– Послушайте, не убеждайте себя в этом. Еще месяц назад вы считали Морсера превосходной партией. Поймите, я в отчаянии: ведь это у меня вы познакомились с этим молодым Кавальканти, я его совершенно не знаю, повторяю вам.

– Но я его знаю, – сказал Данглар, – этого вполне достаточно.

– Вы его знаете? Разве вы наводили о нем справки? – спросил Монте-Кристо.

– А разве это так необходимо? Разве с первого взгляда не видно, с кем имеешь дело?

Прежде всего он богат.

– Я в этом не уверен.

– Но ведь вы отвечаете за него?

– Это пустяки, пятьдесят тысяч франков.

– Он прекрасно образован.

– Гм! – в свою очередь промычал Монте-Кристо.

– Он музыкант.

– Все итальянцы музыканты.

– Знаете, граф, вы несправедливы к нему.

– Да, признаюсь, меня огорчает, что, зная ваши обязательства по отношению к Морсерам, он становится поперек дороги, пользуясь тем, что богат.

Данглар засмеялся.

– Вы слишком строги, – сказал он. – На свете всегда так бывает.

– Однако ведь вы не можете идти на такой разрыв, дорогой господин Данглар; Морсеры рассчитывают на этот брак.

– Разве?

– Безусловно.

– Тогда пусть они объяснятся. Вам бы следовало намекнуть об этом отцу, дорогой граф, ведь вы у них так хорошо приняты.

– Я? Где вы это видели?

– Да хотя бы у них на балу. Помилуйте, графиня, гордая Мерседес, надменная испанка, которая едва достаивает разговором самых старых знакомых, берет вас под руку, выходит с вами в сад, выбирает самые темные закоулки и возвращается только через полчаса.

– Ах, барон, барон, – сказал Альбер, – вы мешаете нам слушать; со стороны такого меломана это просто варварство!

– Ничего, ничего, господин насмешник, – сказал Данглар.

Потом он снова обернулся к Монте-Кристо.

– Вы беретесь сказать это отцу?

– Извольте, если вам так хочется.

– Но на этот раз все должно быть ясно и определенно. Прежде всего он должен у меня просить руки моей дочери, назначить срок, объявить свои денежные условия; словом, либо мы окончательно сговоримся, либо разойдемся совсем; но, понимаете, никаких отсрочек!

– Ну что ж! Он вступит в переговоры.

– Я бы не сказал, что жду этого с особым удовольствием, но все-таки жду; банкир, знаете, должен быть рабом своего слова.

И Данглар вздохнул так же тяжело, как за полчаса перед тем вздыхал Кавальканти-сын.

– Bravo, bravo, bravo! – крикнул Альбер, подражая банкиру и аплодируя только что кончившемуся романсу.

Данглар начал косо поглядывать на Альбера, когда ему что-то тихо доложили.

– Я сейчас вернусь, – сказал банкир, обращаясь к Монте-Кристо, – подождите меня; быть может, мне еще придется вам кое-что сообщить.

И он вышел.

Баронесса воспользовалась отсутствием мужа, чтобы открыть дверь в гостиную дочери, и Андреа, сидевший у рояля вместе с мадемуазель Эжени, вскочил, как на пружинах.

Альбер с улыбкой поклонился мадемуазель Данглар, которая, ничуть, видимо, не смутившись, ответила ему обычным холодным поклоном.

Кавальканти явно чувствовал себя неловко; он поклонился Морсеру, и тот ответил на его поклон с самым дерзким видом.

Затем Альбер рассыпался в похвалах голосу мадемуазель Данглар и выразил сожаление, что ему не удалось присутствовать на вчерашнем вечере, по всеобщему мнению столь удачном...

Кавальканти, предоставленный самому себе, отвел в сторону Монте-Кристо.

– Вот что, – сказала г-жа Данглар, – хватит с нас музыки и комплиментов, пойдете пить чай.

– Идем, Луиза, – сказала мадемуазель Данглар своей подруге.

Все перешли в соседнюю гостиную, где был приготовлен чай.

В ту минуту, когда, следуя английской моде, гости уже оставляли ложки в своих чашках, дверь снова отворилась, и вошел Данглар, видимо очень взволнованный. Монте-Кристо прежде всех заметил это волнение и вопросительно посмотрел на банкира.

– Я сейчас получил письмо из Греции, – сказал Данглар.

– Поэтому вас и вызывали? – спросил граф.

– Да.

– Как поживает король Оттон? – спросил самым веселым тоном Альбер.

Данглар косо взглянул на него и ничего не ответил, а Монте-Кристо отвернулся, чтобы скрыть мелькнувшее на его лице и тотчас же исчезнувшее выражение жалости.

– Мы выйдем вместе, хорошо? – сказал Альбер графу.

– Да, если хотите, – ответил тот.

Альбер не мог понять, чем был вызван взгляд банкира, поэтому он спросил Монте-Кристо, который это отлично понял:

– Вы заметили, как он на меня посмотрел?

– Да, – отвечал граф, – но разве в его взгляде было что-нибудь необычное?

– Еще бы, но что он хотел сказать, упомянув это письмо из Греции?

– Откуда же я могу знать?

– Да мне казалось, что вы имеете некоторое отношение к этой стране.

Монте-Кристо улыбнулся, как улыбаются, когда хотят уклониться от ответа.

– Смотрите, – сказал Альбер, – он направляется к вам; я пойду к мадемуазель Данглар, похвалю ее камею; за это время папаша успеет поговорить с вами.

– Уж если вы хотите хвалить, так по крайней мере похвалите ее голос, – сказал Монте-Кристо.

– Ну нет, это бы всякий сделал.

– Дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, – вы щеголяете своей дерзостью.

Альбер с улыбкой на устах направился к Эжени.

Тем временем Данглар наклонился к уху графа.

– Вы дали мне превосходный совет, – сказал он, – в этих двух словах: «Фернан» и «Янина» заключена ужасная история.

– Да что вы! – сказал Монте-Кристо.

– Да, я вам все расскажу. Но уведите отсюда этого юношу; его общество очень стеснительно для меня сейчас.

– Я так и собирался сделать, мы выйдем вместе; вы по-прежнему хотите, чтобы я направил к вам его отца?

– Более, чем когда-либо.

– Хорошо.

Граф кивнул Альберу.

Они оба откланялись дамам и вышли: Альбер с видом полнейшего равнодушия к высокомерию мадемуазель Данглар, а Монте-Кристо повторив г-же Данглар свой совет, что жене банкира следует быть предусмотрительной и обеспечить свое будущее.

Поле битвы осталось за господином Кавальканти.

XX. Гайде

Едва лошади графа завернули за угол бульвара, Альбер разразился таким громким смехом, что его нельзя было не заподозрить в искусственности.

– Ну, вот, – сказал он графу, – теперь я хочу спросить вас, как спросил король Карл Девятый Екатерину Медичи после Варфоломеевской ночи: хорошо ли я, по-вашему, сыграл свою маленькую роль?

– В каком смысле? – спросил Монте-Кристо.

– Да в смысле водворения моего соперника в доме господина Данглара...

– Какого соперника?

– Как какого? Да Андреа Кавальканти, которому вы покровительствуете!

– Оставьте глупые шутки, виконт; я несколько не покровительствую Андреа, во всяком случае не у господина Данглара.

– И я упрекнул бы вас за это, если бы молодой человек нуждался в покровительстве. Но, к счастью для меня, он в этом не нуждается.

– Как, вам разве кажется, что он ухаживает?

– Ручаюсь вам: он закатывает глаза, как воздыхатель, и распевает, как влюбленный; он грезит о руке надменной Эжени. Смотрите, я заговорил стихами! Честное слово, я в этом неповинен. Но все равно, я повторяю: он грезит о руке надменной Эжени.

– Не все ли это равно, если думают только о вас?

– Не скажите, дорогой граф; обе были со мной суровы.

– Как так обе?

– Очень просто: мадемуазель Эжени едва достаивала меня ответом, а мадемуазель д'Армилли, ее наперсница, мне вовсе не отвечала.

– Да, но отец обожает вас, – сказал Монте-Кристо.

– Он? Наоборот, он всадил мне в сердце тысячу кинжалов; правда, кинжалов с лезвием, уходящим в рукоятку, какие употребляют на сцене, но сам он их считает настоящими.

– Ревность – признак любви.

– Да, но я не ревную.

– Зато он ревнует.

– К кому? К Дебрэ?

– Нет, к вам.

– Ко мне? Держу пари, что не пройдет недели, как он велит меня не принимать.

– Ошибаетесь, дорогой виконт.

– Чем вы докажете?

– Вам нужны доказательства?

– Да.

– Я уполномочен просить графа де Морсер явиться с окончательным предложением к барону.

– Кем уполномочены?

– Самим бароном.

– Но, дорогой граф, – сказал Альбер так вкрадчиво, как только мог, – ведь вы этого не сделаете, правда?

– Ошибаетесь, Альбер, я это сделаю, я обещал.

– Ну вот, – со вздохом сказал Альбер, – похоже, что вы непременно хотите меня женить.

– Я хочу быть со всеми в хороших отношениях. Но, кстати о Дебрэ; я его больше не встречаю у баронессы.

– Они поссорились.

– С баронессой?

– Нет, с бароном.

– Так он что-нибудь заметил?

– Вот это мило!

– А вы думаете, он подозревал? – спросил Монте-Кристо с очаровательной наивностью.

– Ну и ну! Да откуда вы явились, дорогой граф?

– Из Конго, скажем.

– Это еще не так далеко.

– Откуда мне знать нравы парижских мужей?

– Ах, дорогой граф, мужья везде одинаковы; раз вы изучили эту человеческую разновидность в какой-нибудь одной стране, вы знаете всю их породу.

– Но тогда из-за чего Данглар и Дебрэ могли рассориться? Они как будто так хорошо ладили, – сказал Монте-Кристо, снова изображая наивность.

– В том-то и дело, здесь уже начинаются тайны Изиды, а в них я не посвящен. Когда Кавальканти-сын станет членом их семьи, вы его спросите.

Экипаж остановился.

– Вот мы и приехали, – сказал Монте-Кристо, – сейчас только половина одиннадцатого, найдите ко мне.

– С большим удовольствием.

– Мой экипаж отвезет вас потом домой.

– Нет, спасибо, моя карета должна была ехать следом.

– Да, вот она, – сказал Монте-Кристо, выходя из экипажа.

Они вошли в дом; гостиная была освещена, и они прошли туда.

– Подайте нам чаю, Батистен, – приказал Монте-Кристо.

Батистен молча вышел из комнаты. Через две секунды он вернулся, неся уставленный всем необходимым поднос, который, как это бывает в волшебных сказках, словно явился из-под земли.

– Знаете, – сказал Альбер, – меня восхищает не ваше богатство, – быть может, найдутся люди и богаче вас; не ваш ум, – если Бомарше был и не умнее вас, то во всяком случае столь же умен; но меня восхищает ваше умение заставить служить себе – безмолвно, в ту же минуту, в ту же секунду, как будто по вашему звонку угадывают, чего вы хотите, и как будто то, чего вы захотите, всегда наготове.

– В этом есть доля правды. Мои привычки хорошо изучены. Вот сейчас увидите; не угодно ли вам чего-нибудь за чаем?

– Признаться, я не прочь покурить.

Монте-Кристо подошел к звонку и ударил один раз.

Через секунду открылась боковая дверь, и появился Али, неся две длинные трубки, набитые превосходным латакиэ.

– Это прямо чудо, – сказал Альбер.

– Вовсе нет, это очень просто, – возразил Монте-Кристо. – Али знает, что за чаем или кофе я имею привычку курить; он знает, что я просил чаю, знает, что я вернулся вместе с вами, слышит, что я зову его, догадывается – зачем, и так как на его родине трубка – первый знак гостеприимства, то он вместо одного чубука и приносит два.

– Да, конечно, всему можно дать объяснение, и все же только вы один... Но что это?

И Морсер кивнул на дверь, из-за которой раздавались звуки, напоминающие звуки гитары.

– Я вижу, дорогой виконт, вы сегодня обречены слушать музыку; не успели вы избавиться от рояля мадемуазель Данглар, как попадаете на лютню Гайде.

– Гайде! Чудесное имя! Неужели не только в поэмах лорда Байрона есть женщины, которых зовут Гайде?

– Разумеется; во Франции это имя встречается очень редко; но в Албании и Эпире оно довольно обычно; оно означает целомудрие, стыдливость, невинность; такое же имя, как те, которые у вас дают при крещении.

– Что за прелесть! – сказал Альбер. – Хотел бы я, чтобы паши французенки назывались мадемуазель Доброта, мадемуазель Тишина, мадемуазель Христианское Милосердие! Вы только подумайте, если бы мадемуазель Данглар звали не Клэр-Мари-Эжени, а мадемуазель Целомудрие-Скромность-Невинность Данглар! Вот был бы эффект во время оглашения!

– Сумасшедший! – сказал граф. – Не говорите такие вещи так громко, Гайде может услышать.

– Она рассердилась бы на это?

– Нет, конечно, – сказал граф надменным тоном.

– Она добрая? – спросил Альбер.

– Это не доброта, а долг; невольница не может сердиться на своего господина.

– Ну, теперь вы сами шутите! Разве еще существуют невольницы?

– Конечно, раз Гайде моя невольница.

– Нет, правда, вы все делаете не так, как другие люди, и все, что у вас есть, не такое, как у всех! Невольница графа Монте-Кристо! Во Франции – это положение. При том, как вы сорите золотом, такое место должно приносить сто тысяч экю в год.

– Сто тысяч экю! Бедная девочка имела больше. Она родилась среди сокровищ, перед которыми сокровища «Тысячи и одной ночи» – просто пустяки.

– Так она в самом деле княжна?

– Вот именно, и одна из самых знатных в своей стране.

– Я так и думал. Но как же случилось, что знатная княжна стала невольницей?

– А как случилось, что тиран Дионисий стал школьным учителем? Жребий войны, дорогой виконт, прихоть судьбы.

– А ее происхождение – тайна?

– Для всех – да; но не для вас, дорогой виконт, потому что вы мой друг и будете молчать, если пообещаете, правда?

– Даю вам честное слово!

– Вы слышали историю янинского паши?

– Али-Тебелина? Конечно, ведь мой отец приобрел свое состояние у него на службе.

– Да, правда, я забыл.

– А какое отношение имеет Гайде к Али-Тебелину?

– Она всего-навсего его дочь.

– Как, она дочь Али-паша?

– И прекрасной Василики.

– И она ваша невольница?

– Да.

– Как же так?

– Да так. Однажды я проходил по константинопольскому базару и купил ее.

– Это великолепно! С вами, дорогой граф, не живешь, а грезишь. Скажите, можно попросить вас, хоть это и очень нескромно...

– Я слушаю вас.

– Но раз вы показываетесь с ней, вывозите ее в Оперу...

– Что же дальше?

– Так я могу попросить вас об этом?

– Можете просить меня о чем угодно.

– Тогда, дорогой граф, представьте меня вашей княжне.

– Охотно. Но только при двух условиях.

– Заранее принимаю их.

– Во-первых, вы никогда никому не расскажете об этом знакомстве.

– Отлично. (Альбер поднял руку). Клянусь в этом!

- Во-вторых, вы ей не скажете ни слова о том, что ваш отец был на службе у ее отца.
- Клянусь и в этом.
- Превосходно, виконт; вы будете помнить обе свои клятвы, не правда ли?
- О граф! – воскликнул Альбер.
- Отлично. Я знаю, что вы человек чести.

Граф снова ударил по звонку; вошел Али.

– Предупреди Гайде, – сказал ему граф, – что я приду к ней пить кофе, и дай ей понять, что я прошу у нее разрешения представить ей одного из моих друзей.

Али поклонился и вышел.

– Итак, условимся: никаких прямых вопросов, дорогой виконт. Если вы хотите что-либо узнать, спрашивайте у меня, а я спрошу у нее.

– Условились.

Али появился в третий раз и приподнял драпировку в знак того, что его господин и Альбер могут войти.

– Идемте, – сказал Монте-Кристо.

Альбер провел рукой по волосам и подкрутил усы, а граф снова взял в руки шляпу, надел перчатки и прошел с Альбером в покои, которые, как верный часовой, охранял Али и немного дальше, как пикет, три французских горничных под командой Мирто.

Гайде ждала их в первой комнате, гостиной, широко открыв от удивления глаза: в первый раз к ней являлся какой-то мужчина, кроме Монте-Кристо; она сидела на диване, в углу, поджав под себя ноги и устроив себе как бы гнездышко из великолепных полосатых, покрытых вышивкой восточных шелков. Около нее лежал инструмент, звуки которого выдали ее присутствие. Она была прелестна.

Увидев Монте-Кристо, она приподнялась со своей особенной улыбкой – с улыбкой дочери и возлюбленной; Монте-Кристо подошел и протянул ей руку, которой она, как всегда, коснулась губами.

Альбер остался стоять у двери, захваченный этой странной красотой, которую он видел впервые и о которой во Франции не имели никакого представления.

– Кого ты привел ко мне? – по-гречески спросила девушка у Монте-Кристо. – Брата, друга, просто знакомого или врага?

– Друга, – ответил на том же языке Монте-Кристо.

– Как его зовут?

– Граф Альбер; это тот самый, которого я в Риме вызволил из рук разбойников.

– На каком языке ты желаешь, чтобы я говорила с ним?

Монте-Кристо обернулся к Альберу.

– Вы знаете современный греческий язык? – спросил он его.

– Увы, даже и древнегреческого не знаю, дорогой граф, – сказал Альбер. – Никогда еще у Гомера и Платона не было такого неудачного и, осмелюсь даже сказать, такого равнодушного ученика, как я.

– В таком случае, – заговорила Гайде, доказывая этим, что она поняла вопрос Монте-Кристо и ответ Альбера, – я буду говорить по-французски или по-итальянски, если только мой господин желает, чтобы я говорила.

Монте-Кристо секунду подумал.

– Ты будешь говорить по-итальянски, – сказал он.

Затем обратился к Альберу:

– Досадно, что вы по знаете ни новогреческого, ни древнегреческого языка, ими Гайде владеет в совершенстве. Бедной девочке придется говорить с вами по-итальянски, из-за этого вы, быть может, получите ложное представление о ней.

Он сделал знак Гайде.

– Добро пожаловать, друг, пришедший вместе с моим господином и повелителем, – сказала девушка на прекрасном тосканском наречии, с тем нежным римским акцентом, который делает язык Данте столь же звучным, как язык Гомера. – Али, кофе и трубки!

И Гайде жестом пригласила Альбера подойти ближе, тогда как Али удалился, чтобы исполнить приказание своей госпожи. Монте-Кристо указал Альберу на складной стул, сам взял второй такой же, и они подсади к низкому столику, на котором вокруг кальяна лежали живые цветы, рисунки и музыкальные альбомы.

Али вернулся, неся кофе и чубуки; Батистену был запрещен вход в эту часть дома. Альбер отодвинул трубку, которую ему предложил нубиец.

– Берите, берите, – сказал Монте-Кристо, – Гайде почти так же цивилизована, как парижанка; сигара была бы ей неприятна, потому что она не выносит дурного запаха; но восточный табак – это благовоние, вы же знаете.

Али удалился.

Кофе был уже налит в чашки; но только для Альбера была все же поставлена сахарница: Монте-Кристо и Гайде пили этот арабский напиток по-арабски, то есть без сахара. Гайде протянула руку, взяла кончиками своих тонких розовых пальцев чашку из японского фарфора и поднесла ее к губам с простодушным удовольствием ребенка, который пьет или ест что-нибудь, что очень любит.

В это время две служанки внесли подносы с мороженым и шербетом и поставили их на два предназначенных для этого маленьких столика.

– Мой дорогой хозяин, и вы, синьора, – сказал по-итальянски Альбер, – простите мне мое изумление. Я совершенно ошеломлен, и есть отчего; передо мной открывается Восток, подлинный Восток, какого я, к сожалению, никогда не видал, по о котором я грезил. И это в самом сердце Парижа! Только что я слышал, как проезжали omnibusы и звенели колокольчики торговцев лимонадом... Ах, синьора, почему я не умою говорить по-гречески!

Ваша беседа вместе с этой волшебной обстановкой, – это был бы такой вечер, что я сохранил бы его в памяти на всю жизнь.

– Я достаточно хорошо говорю по-итальянски и могу с вами разговаривать, – спокойно отвечала Гайде. – И я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя на Востоке, раз он вам нравится.

– О чем мне можно говорить? – шепотом спросил Альбер графа.

– Да о чем угодно: о ее родине, о ее юности, о ее воспоминаниях; или, если вы предпочитаете, о Риме, о Неаполе или о Флоренции.

– Ну, не стоило бы искать общества гречанки, чтобы говорить с ней о том, о чем можно говорить с парижанкой, – сказал Альбер. – Разрешите мне поговорить с ней о Востоке.

– Пожалуйста, дорогой Альбер, это будет ей всего приятнее.

Альбер обратился к Гайде:

– В каком возрасте вы покинули Грецию, синьора?

– Мне было тогда пять лет, – ответила Гайде.

– И вы помните свою родину?

– Когда я закрываю глаза, передо мной встает все, что я когда-то видела. У человека два зрения: взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, по духовное помнит всегда.

– А с какого времени вы себя помните?

– Я едва умела ходить; моя мать Василики – имя Василики означает царственная, – прибавила девушка, подымая голову, – моя мать брала меня за руку, и мы обе, закутанные в покрывала, положив в кошелек все золотые монеты, какие у нас были, шли просить милостыню для заключенных; мы говорили: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу...»²¹ Когда кошелек наполнялся доверху, мы возвращались во дворец и, не говоря отцу, все эти деньги, которые нам подавали, принимая нас за бедных, отсылали монастырскому игумену, а он распределял их между заключенными.

– А сколько вам было тогда лет?

– Три года, – сказала Гайде.

– И вы помните всё, что делалось вокруг вас, начиная с трехлетнего возраста?

– Всё.

– Граф, – сказал шепотом Альбер, – разрешите синьоре рассказать нам что-нибудь из своей жизни. Вы запретили мне говорить с ней о моем отце, но, может быть, она сама что-нибудь о нем расскажет, а вы не можете себе представить, как мне было бы приятно услышать его имя из таких прекрасных уст.

Монте-Кристо обернулся к Гайде и, подняв бровь, чтобы обратить ее особое внимание на то, что он ей скажет, произнес по-гречески:

– Отца судьбу, но не имя предателя и не предательство, поведай нам.

Гайде тяжело вздохнула, и темное облако легло на ее ясное чело.

²¹ Притчи, XIX. В.Э.: Книга Притчей Соломоновых, 19:17 {[BIBLE3](#)}.

– Что вы ей сказали? – шепотом спросил Морсер.

– Я снова предупредил ее, что вы наш друг и что ей незачем таиться от вас.

– Итак, – сказал Альбер, – ваше первое воспоминание – о том, как вы собирали милостыню для заключенных; какое же следующее?

– Следующее? Я вижу себя под сенью сикомор, на берегу озера; его дрожащее зеркало я как сейчас различаю сквозь листву. Прислонившись к самому старому и ветвистому дереву, сидит на подушках мой отец; моя мать лежит у его ног, а я, маленькая, играю белой бородой, спадающей ему на грудь, и заткнутым за пояс кинжалом, рукоять которого осыпана алмазами. Время от времени к нему подходит албанец и говорит ему несколько слов; я не обращаю на них никакого внимания, а отец отвечает, никогда не меняя голоса: «Убейте его» или «Я его прощаю!»

– Как странно, – сказал Альбер, – слышать такие вещи из уст молодой девушки не на подмостках театра и говорить себе: это не вымысел. Но как же вам после такого поэтического прошлого, после таких волшебных далей нравится Франция?

– Я нахожу, что это прекрасная страна, – сказала Гайде, – но я вижу Францию такой, как она есть, потому что смотрю на нее глазами взрослой женщины; а моя родина, на которую я глядела глазами ребенка, кажется мне всегда окутанной то лучезарным, то мрачным облаком в зависимости от того, видят ли ее мои глаза милой родиной или местом горьких страданий.

– Вы так молоды, синьора, – сказал Альбер, невольно отдавая дань пошлости, – когда же вы успели страдать?

Гайде обратила свой взор на Монте-Кристо, который, подавая ей неуловимый знак, шепнул по-гречески:

– Расскажи.

– Ничто не накладывает такой отпечаток на душу, как первые воспоминания, а кроме тех двух, о которых я вам сейчас рассказала, все остальные воспоминания моей юности полны печали.

– Говорите, говорите, синьора! – сказал Альбер. – Поверьте, для меня невыразимое счастье слушать вас.

Гайде печально улыбнулась.

– Так вы хотите, чтобы я рассказала и о других своих воспоминаниях? – спросила она.

– Умоляю вас об этом.

– Что ж, хорошо. Мне было четыре года, когда однажды вечером меня разбудила мать. Мы жили тогда во дворце в Янине; она подняла меня с подушек, на которых я спала, и, когда я открыла глаза, я увидела, что она плачет.

Она не сказала мне ни слова, взяла меня на руки и понесла.

Видя ее слезы, я тоже хотела заплакать.

«Молчи, дитя», – сказала она.

Часто бывало, что, несмотря на материнские ласки или угрозы, я, капризная, как все дети, продолжала плакать; но на этот раз в голосе моей бедной матери звучал такой ужас, что я в ту же секунду замолчала.

Она быстро несла меня.

Тут я увидела, что мы спускаемся по широкой лестнице; впереди нас шли, вернее, бежали служанки моей матери, неся сундуки, мешочки, украшения, драгоценности, кошельки с золотом.

Вслед за женщинами шли десятка два телохранителей с длинными ружьями и пистолетами, одетых в тот костюм, который вы во Франции знаете с тех пор, как Греция снова стала независимой страной.

– Поверьте мне, – продолжала Гайде, качая головой и бледнея при одном воспоминании, – было что-то зловещее в этой длинной веренице рабов и служанок, которые еще не вполне очнулись от сна, – по крайней мере мне они казались сонными, быть может, потому, что я сама не совсем проснулась.

По лестнице пробегали гигантские тени, их отбрасывало колтыхающееся пламя смоляных факелов.

«Поспешите!» – сказал чей-то голос из глубины галереи.

Все склонились перед этим голосом, как клонятся колосья, когда над полями проносится ветер.

Я вздрогнула, услышав этот голос.

Это был голос моего отца.

Он шел последним, в своих роскошных одеждах, держа в руке карабин, подарок вашего императора; опираясь на своего любимца Селима, он гнал нас перед собой, как гонит пастух перепуганное стадо.

– Мой отец, – сказала Гайде, высоко подняв голову, – был великий человек, паша Янины; Европа знала его под именем Али-Тебелина, и Турция трепетала перед ним.

Альбер невольно вздрогнул, услышав эти слова, произнесенные с невыразимой гордостью и достоинством.

В глазах девушки сверкнуло что-то мрачное, пугающее, когда она, подобно пифии, вызывающей призрак, воскресила кровавую тень человека, которого ужасная смерть так возвеличила в глазах современной Европы.

– Вскоре, – продолжала Гайде, – шествие остановилось; мы были внизу лестницы, на берегу озера. Мать, тяжело дыша, прижимала меня к груди; за нею я увидела отца, он бросал по сторонам тревожные взгляды.

Перед нами спускались четыре мраморные ступени, у нижней покачивалась лодка.

С того места, где мы стояли, видна была темная громада, подымающаяся из озера; это был замок, куда мы направлялись.

Мне казалось, может быть, из-за темноты, что до него довольно далеко.

Мы сели в лодку. Я помню, что весла совершенно бесшумно касались воды; я наклонилась, чтобы посмотреть на них; они были обернуты поясами наших паликаров.

Кроме гребцов, в лодке находились только женщины, мой отец, мать, Селим и я.

Паликары остались на берегу и стали на колени в самом низу лестницы, чтобы в случае погони воспользоваться тремя верхними ступенями как прикрытием.

Наша лодка неслась как стрела.

«Почему лодка плывет так быстро? – спросила я у матери.

«Тише, дитя, – сказала она, – это потому, что мы бежим».

Я ничего не понимала. Зачем бежать моему отцу, такому всемогущему? Перед ним всегда бежали другие, и его девизом было:

Они ненавидят меня, значит, боятся.

Но теперь мой отец действительно спасался бегством. После он сказал мне, что гарнизон янинского замка устал от продолжительной службы...

Тут Гайде выразительно взглянула на Монте-Кристо, глаза которого с этой минуты не отрывались от ее лица. И она продолжала медленно, как это делают, когда что-нибудь сочиняют или пропускаяют.

– Вы сказали, синьора, – подхватил Альбер, который с величайшим вниманием слушал ее рассказ, – что янинский гарнизон устал от продолжительной службы...

– И сговорился с сераскиром Куршидом, которого султан послал, чтобы захватить моего отца. Тогда мой отец, предварительно отправив к султану французского офицера, которому он всецело доверял, решил скрыться в заранее построенной маленькой крепости, которую он называл катафюгион, что означает убежище.

– А вы помните имя этого офицера, синьора? – спросил Альбер.

Монте-Кристо обменялся с Гайде быстрым, как молния, взглядом; Альбер не заметил этого.

– Нет, – сказала она, – я забыла имя; но, может быть, я потом вспомню и тогда скажу вам.

Альбер уже собирался назвать имя своего отца, но Монте-Кристо предостерегающе поднял палец; Альбер вспомнил свою клятву и ничего не сказал.

– Вот к этому убежищу мы и плыли, – продолжала Гайде.

– Украшенный арабесками нижний этаж, террасы которого поднимались над самой водой, и второй этаж, выходящий окнами на озеро, вот и все, что видно было, когда подплывали к этому маленькому дворцу.

Но под нижним этажом, уходя в глубь острова, тянулось подземелье, огромная пещера. Туда и провели мою мать, меня и наших служанок; там лежали в одной огромной куче шестьдесят тысяч кошельков и двести бочонков; в кошельках было на двадцать пять миллионов золотых монет, а в бочонках тридцать тысяч фунтов пороха.

Около этих бочонков встал Селим, о котором я вам уже говорила, любимец моего отца; день и ночь он стоял на страже, держа в руке копье с зажженным фитилем на конце; ему был дан

приказ все взорвать – убежище, телохранителей, пашу, женщин и золото – по первому знаку моего отца.

Я помню, что наши невольницы, зная об этом ужасном соседстве, молились, стонали и плакали дни и ночи напролет.

У меня перед глазами всегда стоит этот молодой воин, бледный, с черными глазами; и, когда ко мне прилетит ангел смерти, я, наверно, узнаю в нем Селима.

Не знаю, сколько времени мы провели так; в те дни я еще не имела представления о времени; иногда, очень редко, мой отец звал нас, мать и меня, на террасу дворца; это были радостные часы для меня: в подземелье я видела только стонущие тени и пылающее копье Селима. Мой отец, сидя у большого отверстия, мрачно вглядывался в далекий горизонт, следя за каждой черной точкой, появлявшейся на глади озера; мать, полулежа возле него, клала голову на его плечо, а я играла у его ног и с детским удивлением, от которого все вокруг кажется больше, чем на самом деле, любовалась отрогами Пинда на горизонте, замками Янины, белыми и стройными, встающими из голубых вод озера, массивами темной зелени, которая издали кажется мхом, лишаями на горных утесах, а вблизи оказывается гигантскими пиниями и огромными миртами.

Однажды утром мой отец послал за нами; он был довольно спокоен, по бледнее, чем обыкновенно.

«Потерпи еще, Василики, сегодня всему наступит конец; сегодня должен прибыть фирман повелителя, и моя судьба будет решена. Если я получу полное прощение, мы с торжеством вернемся в Янину; если вести будут дурные, мы бежим сегодня же ночью».

«Но если они не дадут нам бежать?» – сказала моя мать.

«Не беспокойся, – сказал, улыбаясь, Али, – Селим со своим пылающим копьем отвечает мне за них. Они очень хотели бы, чтобы я умер, но не с тем, чтобы умереть вместе со мной».

Моя мать отвечала лишь вздохами на эти слова утешения, которые отец говорил не от сердца.

Она приготовила ему воды со льдом, которую он пил не переставая, потому что со времени бегства его снедала жгучая лихорадка; она надушила его седую бороду и зажгла ему трубку, за выходящим дымом которой он иногда рассеянно следил целыми часами.

Вдруг он сделал такое резкое движение, что я испугалась.

Затем, не отводя взгляда от точки, привлекавшей его внимание, он велел подать подзорную трубу.

Моя мать передала ему трубу; лицо ее стало белее гипсовой колонны, к которой она прислонилась.

Я видела, как рука отца задрожала.

«Лодка!.. две!.. три!.. – прошептал он, – четыре!..»

Я помню, как он встал, схватил ружье и насыпал порох на полку своих пистолетов.

«Василики, – сказал он моей матери, и видно было, как он дрожит, – наступила минута, которая решит нашу участь; через полчаса мы узнаем ответ великого властелина. Спустись с Гайде в подземелье».

«Я не хочу покидать вас, – сказала Василики, – если вам суждена смерть, господин мой, я хочу умереть вместе с вами».

«Идите туда, где Селим!» – крикнул мой отец.

«Прощайте, мой повелитель!» – покорно прошептала моя мать и склонилась, как бы уже встречая смерть.

«Уведите Василики», – сказал мой отец своим паликарам.

Но я, на минуту забытая, подбежала и протянула к нему руки; он увидел меня, нагнулся и прикоснулся губами к моему лбу.

Этот поцелуй был последний, и он поныне горит на моем челе!

Спускаясь, мы видели, сквозь виноград террасы, лодки: они все росли и, еще недавно похожие на черные точки, казались уже птицами, несущимися по воде.

Тем временем двадцать паликаров, сидя у ног моего отца, скрытые перилами, следили налитыми кровью глазами за приближением этих судов и держали наготове свои длинные ружья, выложенные перламутром и серебром; по полу было разбросано множество патронов; мой отец то и дело смотрел на часы и тревожно шагал взад и вперед.

Вот что осталось в моей памяти, когда я уходила от отца, получив от него последний поцелуй.

Мы с матерью спустились в подземелье. Селим по-прежнему стоял на своем посту; он печально улыбнулся нам. Мы принесли с другого конца пещеры подушки и сели около Селима; когда грозит большая опасность, стремишься быть ближе к преданному сердцу, а я, хоть была совсем маленькая, я чувствовала, что над нами нависло большое несчастье...

Альбер часто слышал, – не от своего отца, который никогда об этом не говорил, но от посторонних, – о последних минутах янинского визиря, читал много рассказов о его смерти. Но эта повесть, ожившая во взоре и голосе Гайде, эта взволнованная и скорбная элегия потрясла его невыразимым очарованием и ужасом.

Гайде, вся во власти ужасных воспоминаний, на миг замолкла; голова ее, как цветок, склоняющийся пред бурей, поникла на руку, а затуманенные глаза, казалось, еще видели на горизонте зеленеющий Пипд и голубые воды янинского озера, волшебное зеркало, в котором отражалась нарисованная ею мрачная картина.

Монте-Кристо смотрел на нее с выражением бесконечного участия и жалости.

– Продолжай, дитя мое, – сказал он по-гречески.

Гайде подняла голову, словно голос Монте-Кристо пробудил ее от сна, и продолжала:

– Было четыре часа; но, хотя снаружи был ясный, сияющий день, в подземелье стоял густой мрак.

В пещере была только одна светящаяся точка, подобная одинокой звездочке, дрожащей в глубине черного неба: факел Селима.

Моя мать молилась: она была христианка.

Селим время от времени повторял священные слова:

«Велик аллах!»

Все же мать еще сохраняла некоторую надежду. Спускаясь в подземелье, она, как ей показалось, узнала того француза, который был послан в Константинополь и которому мой отец всецело доверял, так как знал, что воины французского султана обычно благородные и великодушные люди. Она подошла поближе к лестнице и прислушалась.

«Они приближаются, – сказала она, – ах, только бы они несли мир и жизнь!»

«Чего ты боишься, Василики? – ответил Селим мягко, ласково и в то же время гордо. – Если они не принесут мира, мы подарим им смерть».

Он оправлял пламя на своем копье, и это движение делало его похожим на Диониса древнего Крита.

Но я, маленькая и глупая, боялась этого мужества, которое мне казалось жестоким и безумным, страшилась этой ужасной смерти в воздухе и пламени.

Моя мать испытывала то же самое, и я чувствовала, как она дрожит.

«Боже мой, мамочка, – воскликнула я, – неужели мы сейчас умрем?»

И, услышав мои слова, невольницы начали еще громче стонать и молиться.

«Сохрани тебя бог, дитя, – сказала мне Василики, – дожить до такого дня, когда ты сама пожелаешь смерти, которой страшишься сегодня».

Потом она едва слышно спросила Селима:

«Какой приказ дал тебе господин?»

«Если он пошлет мне свой кинжал, – значит, султан отказывает ему в прощении, и я все взрываю, если он пришлет свое кольцо – значит, султан прощает его, и я сдаю пороховой погреб».

«Друг, – сказала моя мать, – если господин пришлет кинжал, не дай нам умереть такой ужасной смертью; мы подставим тебе горло, убей нас этим самым кинжалом».

«Да, Василики», – спокойно ответил Селим.

Вдруг до нас долетели громкие голоса; мы прислушались; это были крики радости. Наши паликары выкрикивали имя француза, посланного в Константинополь; было ясно, что он привез ответ великого властелина и что этот ответ благоприятен.

– И вы все-таки не помните этого имени? – сказал Морсер, готовый оживить его в памяти рассказчицы.

Монте-Кристо сделал ему знак.

– Я не помню, – отвечала Гайде. – Шум все усиливался; раздался приближающиеся шаги: кто-то спускался в подземелье.

Селим держал копье наготове.

Вскоре какая-то тень появилась в голубоватом сумраке, который создавали у входа в подземелье слабые отблески дневного света.

«Кто ты? – крикнул Селим. – Но кто бы ты ни был, ни шагу дальше!»

«Слава султану! – ответила тень. – Визирь Али получил полное помилование: ему не только дарована жизнь, но возвращены все его сокровища и все имущество».

Моя мать радостно вскрикнула и прижала меня к своему сердцу.

«Постой! – сказал ей Селим, видя, что она уже бросилась к выходу. – Ты же знаешь, я должен получить кольцо».

«Это правда», – сказала моя мать; и она упала на колени и подняла меня к небу, словно моля бога за меня, она хотела, чтобы я была ближе к нему.

И снова Гайде умолкла, охваченная таким волнением, что на ее бледном лбу выступили капли пота, а задыхающийся голос, казалось, не мог вырваться из пересохшего горла.

Монте-Кристо налил в стакан немного ледяной воды и, подавая ей, сказал ласково, но все же с повелительной ноткой в голосе:

– Будь мужественна, дитя мое!

Гайде вытерла глаза и лоб и продолжала:

– Тем временем наши глаза, привыкшие к темноте, узнали посланца паши; это был наш друг.

Селим тоже узнал его, но храбрый юноша не забыл приказ: повинаться.

«От чьего имени пришел ты?» – спросил он.

«Я пришел от имени нашего господина, Али-Тобелина».

«Если ты пришел от имени Али, тебе должно быть известно, что ты должен передать мне».

«Да, – отвечал посланец, – и я принес тебе его кольцо».

И он поднял руку над головой; но он стоял слишком далеко, и было недостаточно светло, чтобы Селим с того места, где мы стояли, мог различить и узнать предмет, который тот ему показывал.

«Я не вижу, что у тебя в руке», – сказал Селим.

«Подойди, – сказал посланный, – или я подойду к тебе».

«Ни то, ни другое, – отвечал молодой воин, – положи то, что ты мне показываешь, там, где ты стоишь, чтобы на него упал луч света, и отойди подальше, пока я не посмотрю на него».

«Хорошо», – сказал посланный.

И он отошел, положив на указанное ему место то, что держал в руке.

Наши сердца трепетали; нам казалось, что это действительно кольцо. Но было ли это кольцо моего отца?

Селим, не выпуская из рук зажженный факел, подошел, наклонился, озаренный лучом света, и поднял кольцо с земли.

«Кольцо господина, – сказал он, целуя его, – хорошо!»

И повернув факел к земле, он наступил на него ногой и погасил.

Посланец испустил крик радости и хлопнул в ладоши. По этому сигналу вбежали четыре воина сераскира Куршида, и Селим упал, пронзенный пятью кинжалами.

Тогда, опьяненные своим преступлением, хотя еще бледные от страха, они ринулись в подземелье, разыскивая, нет ли где огня, и хватаясь за мешки с золотом.

Тем временем мать схватила меня на руки и, легкая и проворная, побежала по известным только нам переходам к потайной лестнице, ведущей в верхнюю часть убежища, где царила страшная суматоха.

Залы были полны чодоарами Куршида – нашими врагами.

В ту секунду, когда моя мать уже собиралась распахнуть дверь, прогремел грозный голос паши.

Моя мать припала лицом к щели между досками; перед моими глазами случайно оказалось отверстие, и я заглянула в него.

«Что нужно вам?» – говорил мой отец людям, которые держали бумагу с золотыми буквами.

«Мы хотим сообщить тебе волю его величества, – сказал один из них. – Ты видишь этот фирман?»

«Да, вижу», – сказал мой отец.

«Так почти; он требует твоей головы».

Мой отец ответил раскатом хохота, более страшным, чем всякая угроза. Он все еще смеялся, спуская курки двух своих пистолетов. Грянули два выстрела, и два человека упали мертвыми.

Паликары, лежавшие ничком вокруг моего отца, вскочили и открыли огонь; комната наполнилась грохотом, пламенем и дымом.

В тот же миг и с другой стороны началась пальба, и пули начали пробивать доски рядом с нами.

О, как прекрасен, как величествен был визирь Али-Тебелин, мой отец, среди пуль, с кривой саблей в руке, с лицом, почерневшим от пороха! Как перед ним бежали враги!

«Селим! Селим! – кричал он. – Хранитель огня, исполни свой долг!»

«Селим мертв, – ответил чей-то голос, как будто исходивший со дна убежища, – а ты, господин мой Али, ты погиб!»

В тот же миг раздался глухой залп, и пол вокруг моего отца разлетелся на куски.

Чодоары стреляли сквозь пол. Три или четыре паликара упали, сраженные выстрелами снизу, и тела их были изрешечены пулями.

Мой отец зарычал, вцепился пальцами в пробоины от пуль и вырвал из пола целую доску.

Но тут из этого отверстия грянуло двадцать выстрелов, и огонь, вырываясь, словно из кратера вулкана, охватил обивку стен и пожрал ее.

Среди этого ужасающего шума, среди этих страшных криков два самых громких выстрела, два самых раздражающих крика заставили меня похолодеть от ужаса. Эти два выстрела смертельно ранили моего отца, и это он дважды закричал так страшно.

И все же он остался стоять, схватившись за окно. Моя мать изо всех сил дергала дверь, чтобы вбежать и умереть вместе с ним, но дверь была заперта изнутри.

Вокруг него корчились в предсмертных судорогах паликары; двое или трое из них, не раненные или раненные легко, выскочили в окна.

И в это время треснул весь пол, разбиваемый ударами снизу. Мой отец упал на одно колено; в тот же миг протянулось двадцать рук, вооруженных саблями, пистолетами, кинжалами, двадцать ударов обрушились зараз на одного человека, и мой отец исчез в огненном вихре, зажженном этими рычащими дьяволами, словно ад разверзся у него под ногами.

Я почувствовала, что падаю на землю: моя мать потеряла сознание.

Гайде со стоном уронила руки на колонн и взглянула на графа, словно спрашивая, доволен ли он ее послушанием.

Граф встал, подошел к ней, взял ее за руку и сказал по-гречески:

– Отдохни, милая, и воспрянь духом. Помни, что есть бог, карающий предателей.

– Какая ужасная история, граф, – сказал Альбер, сильно напуганный бледностью Гайде, – я очень упрекаю себя за свое жестокое любопытство.

– Ничего, – ответил Монте-Кристо и, положив руку на опущенную голову девушки, добавил: – У Гайде мужественное сердце, и, рассказывая о своих несчастьях, она иногда находила в этом облегчение.

– Это оттого, повелитель, что мои несчастья напоминают мне о твоих благодеяниях, – живо сказала Гайде.

Альбер взглянул на нее с любопытством; она еще ничего не сказала о том, что ему больше всего хотелось узнать: каким образом она стала невольницей графа.

В глазах графа и в глазах Альбера Гайде прочла одно и то же желание.

Она продолжала:

– Когда мать моя пришла в себя, мы очутились перед сераскиром.

«Убейте меня, – сказала она, – но пощадите честь вдовы Али».

«Обращайся не ко мне», – сказал Куршид.

«А к кому же?»

«К твоему новому господину».

«Кто же это?»

«Вот он».

– И Куршид указал нам на одного из тех, кто более всего способствовал гибели моего отца, – продолжала Гайде, гневно сверкнув глазами.

– Таким образом, – спросил Альбер, – вы стали собственностью этого человека?

– Нет, – отвечала Гайде, – он не посмел оставить нас у себя, он продал нас работорговцам, направлявшимся в Константинополь. Мы прошли всю Грецию и прибыли полумертвые к воротам императорского дворца. Перед дворцом собралась толпа любопытных; она расступилась, давая нам дорогу. Моя мать посмотрела в том направлении, куда были устремлены все

взгляды, и вдруг вскрикнула и упала, указывая мне рукой на голову, торчавшую на копье над воротами.

Под этой головой были написаны следующие слова: «Вот голова Али-Тебелина, янинского паши».

Плача, пыталась я поднять мою мать; она была мертва!

Меня отвели на базар; меня купил богатый армянин. Он воспитал меня, дал мне учителей, а когда мне минуло тринадцать лет, продал меня султану Махмуду.

– У которого, – сказал Монте-Кристо, – я откупил ее, как уже говорил вам, Альбер, за такой же изумруд, как тот, в котором я держу лепешки гашиша.

– О, ты добр, ты велик, мой господин, – сказала Гайде, целуя руки Монте-Кристо, – и я счастлива, что принадлежу тебе!

Альбер был ошеломлен всем, что он услышал.

– Допивайте же свой кофе, – сказал ему граф, – рассказ окончен.

Векордия (VEcordia) представляет собой электронный литературный дневник Валдиса Эгле, в котором он цитировал также множество текстов других авторов. Векордия основана 30 июля 2006 года и первоначально состояла из линейно пронумерованных томов, каждый объемом приблизительно 250 страниц в формате А4, но позже главной формой существования издания стали «извлечения». «Извлечение Векордии» – это файл, в котором повторяется текст одного или нескольких участков Векордии без линейной нумерации и без заранее заданного объема. Извлечение обычно воспроизводит какую-нибудь книгу или брошюру Валдиса Эгле или другого автора. В названии файла извлечения первая буква «L» означает, что основной текст книги дан на латышском языке, буква «E», что на английском, буква «R», что на русском, а буква «M», что текст смешанный. Буква «S» означает, что файл является заготовкой, подлежащей еще существенному изменению, а буква «X» обозначает факсимилы. Файлы оригинала дневника Векордия и файлы извлечений из нее Вы **имеете право** копировать, пересылать по электронной почте, помещать на серверы WWW, распечатывать и передавать другим лицам бесплатно в информативных, эстетических или дискуссионных целях. Но, основываясь на латвийские и международные авторские права, **запрещено** любое коммерческое использование их без письменного разрешения автора Дневника, и **запрещена** любая модификация этих файлов. Если в отношении данного текста кроме авторских прав автора настоящего Дневника действуют еще и другие авторские права, то Вы должны соблюдать также и их.

В момент выпуска настоящего тома (обозначенный словом «Версия:» на титульном листе) главными представительствами Векордии в Интернете были сайты: для русских книг – <http://vecordija.blogspot.com/>; для латышских книг – <http://vekordija.blogspot.com/>.

Оглавление

VEcordia	1
Извлечение R-MONTE2	1
Александр Дюма	1
Граф Монте-Кристо	1
Граф Монте-Кристо II	2
Часть третья	2
I. Гости Альбера	2
II. Завтрак	12
III. Первая встреча	18
IV. Господин Бергуччо	24
V. Дом в Отейле	27
VI. Вендетта	31
VII. Кровавый дождь	42
VIII. Неограниченный кредит	48
IX. Серая в яблоках пара	54
X. Философия	60
XI. Гайде	65
XII. Семья Моррель	68
XIII. Пирам и Фисба	72
XIV. Токсикология	77
XV. Роберт-Дьявол	85
XVI. Биржевая игра	93
XVII. Майор Кавальканти	99
XVIII. Андреа Кавальканти	105
XIX. Огород, засеянный люцерной	112
Часть четвертая	117
I. Господин Нуартье де Вильфор	117
II. Завещание	122
III. Телеграф	126
IV. Способ избавить садовода от сонь, поедающих его персики	131
V. Призраки	137
VI. Обед	141
VII. Нищий	147
VIII. Семейная сцена	151
IX. Брачные планы	156
X. Кабинет королевского прокурора	162
XI. Приглашение	167
XII. Розыски	172
XIII. Летний бал	177
XIV. Хлеб и соль	182
XV. Маркиза де Сен-Меран	184
XVI. Обещание	191
XVII. Склеп семьи Вильфор	206
XVIII. Протокол	211
XIX. Успехи Кавальканти сына	217
XX. Гайде	223
Оглавление	235